

ГРАНИ

GRANY

50

1961

Postverlagsort: Frankfurt (Main), Juli-Dezember 1961

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XVI

№ 50

Июль-Декабрь 1961 г.

СОДЕРЖАНИЕ

К пятидесятилетию журнала ГРАНИ 3

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АЛЛА ОРВИНСКАЯ — Хождение по мукам. Отрывок из «Героической поэмы»	5
ВЛАДИМИР КОСТЕЦКИЙ — Повесть без названия. Повесть	9
АГЛАИДА ШИМАНСКАЯ — Звонок тревожил — «Слушаю, алло!» Стихи	59
В. БОНДАРЕНКО — Гражданский долг. Телепьеса	60
АННА ЗАПОЛЬНАЯ — «Вхожу с пустыми руками...» Стихи	74
РОМАН РЕДЛИХ — Решение. Рассказ	75
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ — «По лесу туман и тление...» Стихи	89
ВЛАДИМИР САМАРИН — Красная каша. Миниатюры	90

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

БОРИС ФИЛИПШОВ — Богдан. (Памяти Богдана Ивановича Саганова — Леонида Богдана)	95
---	----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО — Осип Мандельштам	102
ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Свет в ночи. (Опыт медленного чтения)	123
ЭММАНУИЛ РАЙС — Сорокалетие русской поэзии в СССР. (Продолжение)	144

НАУКА И ТЕХНИКА

БОРИС НАРЦИССОВ — Сила и материя	165
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

КАРЛ ЯСПЕРС — Философская автобиография	190
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ — Современность и будущее	211

БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Шипкин. Литературное завещание. — А. Марков. «Еврейская повесть». — Н. Тарасова. «По самой грани»	233
--	-----

Политическая хроника	239
----------------------	-----

К пятидесятилетию журнала «Грани»

Одновременно мы отмечаем и пятидесятилетие нашего журнала и выход пятидесятого номера его. Если в пятнадцати годах жизни издания легко усмотреть молодость и его будущее, то в пятидесяти книгах «толстого» журнала, да еще изданных в трудных условиях российской эмиграции, ощущается некий духовный путь к зрелости и жизненному опыту, обрисовываются традиции и профиль издания.

Но, хоть и оглядываемся мы назад, на пройденный ГРАНЯМИ путь, наши взгляды устремлены в будущее: каково призвание и цель журнала? Какова дальнейшая дорога его? Какова связь с новой российской литературой?

В ответ на эти вопросы о вехах на будущем пути вспоминаются нам слова апостола Павла, обращенные к коринфянам:

«Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (Гл. XIV, I).

Никакая, может быть, другая эпоха, как наша, не понимает и не тянется так к этому апостольскому завету.

Насильно прервана традиция нашего прошлого — пророческой литературы Пушкина, Гоголя, Достоевского. Большая часть мира настолько ослепла, что для нее оказались достаточными лишь две краски — черная и белая, да еще в своей обратной значимости. Исчезает из мира целая иерархическая пирамида духовных ценностей, переливающихся в сложной своей взаимосвязи всем богатством оттенков и красок...

Но именно благодаря этой ущербности мира, благодаря тому, что коммунистическая эпоха наотрез отказалась от даров духовных и их умножения, стихийно растет новое, противоположное стремление, и наше время начинает окрашиваться в иные тона: оно страстно заостряется именно в направлении свободы и творчества. И если нас насильно «освободили» от творческой родной традиции, то означает ли это снятие с нас ответственности за наше настоящее и, особенно, будущее?

Новое поколение России выходит в жизнь, имея в запасе лишь полное осознание пропасти духовного опустошения настоящего.

Но

«Правда конца — это тоже возможность начала...

Кто осознал поражение — того не разбили...»,
пишет молодой русский поэт Н. Коржавин («Новый мир», 7/61).

Да. Не только для нас ясна «*возможность начала*» нового пророческого слова, пророческой новой литературы, рождающейся из творческой свободы и питающейся источниками духовного света.

Это начало реально и ощутимо воплотилось уже в Борисе Пастернаке, который, с подлинной ответственностью за творчество писателя, сказал: писать «бледнее», чем наши классики, «низко и бессовестно». И он же занес в свой «Автобиографический очерк»: писать в нашу эпоху надо так, «чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы».

Какая благодатная почва — наше время — для творческого раскрытия человека, для *п а л я щ е г о* творчества, которое будет в состоянии расплавлять окаменевшие грани наших душ!

Новая российская литература видится нами упорной, волевой, бескомпромиссной, могущей проходить все преграды — физические и духовные — и достигать тех душ, которые готовы расцвести в творчестве, достигать народной стихии, освобождая ее изнутри и устремляя на создание духовных ценностей.

Г Р А Н И ставят цель своего существования и развития в будущем в прямую связь с рождением и развитием этой новой российской литературы.

Г Р А Н И отдавали и отдают свои страницы в первую очередь тем авторам, волевое усилие которых не смогла сдержать преграда «железного занавеса», прямая угроза их жизни (вспомним переданную из СССР повесть М. Нарымова «Неспетая песня» «Грани» 48).

За примером таких одиночек следуют другие. Следуют потому, что е с т ь среда, воспринимающая дело одиночек как с в о е дело, ощущающая их предвозвестниками своего духовного освобождения.

И никакая стена, воздвигнутая властью между двумя насильно разобщенными российскими литературами — зарубежной и подсоветской, — не спасет власть от неуклонного и стремительно ускоряющегося процесса слияния их в единый поток свободной российской культуры.

Хождение по мукам

Отрывок из «Героической поэмы»

Много в России
Троп,
Что ни тропа,
То проб,
Что ни верста,
То крест.
До Енисейских мест
6001 супроб.

С. Есенин

Ночь
Кричала
На перекрестках,
На улицах, в переулках.
Гулко...
Ночь
Вздымала
Черные волосы.
Цепenea от страха,
Тьмы рубаха
Намокла росой
Предсмертного пота...
От фонарей полосы
Дрожали в ознобе,
Двери домов
Коробя...
Куда уползти?
Врыгься под землю?
В крысиные норы?
Кто мы?
Убийцы? Предатели? Воры?
Сердце в груди кусок острой кости...

Постой!
 Страшные гости
 В ночи пустой!
 Нет! Да! Да!..
 Это фар потухла звезда,
 Глухо рычит мотор,
 Фыркая, как пантера...
 Не звон ли шпор
 В молчании сером?..
 Шаги...
 Один... Много... Много...
 Нашли дорогу!
 Ударил звонок в висок...
 В крови вой урагана...
 В шаткие двери
 Уже стучит
 Черный ворон
 Клювом нагана...

 Увели.

 Жалобно стонут
 Створки дверей
 И ставень.
 Кого?

 Слово, как камень...
 Все мы, все мы пойдём
 Тем же путем.
 Всю ночь
 Где-то рычат моторы,
 Всю ночь где-то
 Звякают шпоры...
 Всю ночь в крови вой урагана...
 Кого из нас клонет еще сегодня
 Черный ворон клювом нагана?!

Год от Р. Х. 1937
 От горя седой,
 Планета Земля,
 На кресте плачет Мессия...
 Россия...

Башни Кремля,
Сталин...
Ежов...
Кровь...
Террор!..

Конвой.
Конвой! Конвой! Стой!

Куда идем, неведомо,
До смерти страшный срок...
Идем туманом бредовым,
Сердца — пустой мешок...

Конвой! Конвой!

Неезжено, нехожено,
Далекий темный путь...
Не встретить там прохожего,
И нигде отдохнуть...

Конвой! Конвой!

По суткам ветры вьюжные
Поют за упокой,
Припевом к ним простуженный,
Охрипший волчий вой.

Конвой! Конвой!

Душа дрожит от холода,
Густеют облака,
Отдали б горы золота
За четверть табака.

Конвой! Конвой!

Живые или мертвые —
Возврата нет назад.
Идем дорогой чёртовой
Куда-то в снежный ад.

Конвой! Конвой!

Нас бьют в лицо прикладами,
Крестом ложится плеть,
Встаем и снова падаем,
Не смеем умереть!..

Конвой! Конвой! Стой!

Лагеря

Где-то там города
Зажигают огни...
Никогда никуда
Не уйти!..
Солнце падает
В хвою таежной норы.
Сердце в груди — кусочек коры...
Свободной собаки вой!
Во мраке
Наши стоят бараки...
Холод пустой.
Нет слез!..
Мороз.
Снегом легли
Пряди
Наших седых волос...

Повесть без названия

1

Раньше весь мир живой был. Живое извивающееся солнце, неспросившись, недовольное, красное выходило из белесого утреннего леса. А навстречу этому солнцу по снегу, по таежной звериной тропинке, то вприпрыжку, то ползком, кривляясь, крался упрямый человек. У него были волосатые длинные руки, волосатая голая прудь, волосатые кривые ноги.

По-звериному зорко блестели маленькие близкие глаза. Под покатым волосатым лбом волосатая, покатая поблескивала мудрая мысль:

«Как бы пожрать!..»

и — еще:

«Хорошо бы на заре незаметно подобраться к тропинке, по которой всегда ходит это толстое красное солнце, выждать его и пронзить его дротиком».

От тяжких и мудрых мыслей упруго набухали жилы на лбу и ходуном двигались волосатые скулы.

Вероятно, это была первая — утренняя — мысль первого человека.

Весь мир живой был раньше. Как боги: охотился, ел, пил, спал, любил, рождался и умирал.

И от жизни — как жизнь — просторный был раньше, немерянный: капризный — глупой человеческой капризою, весельем — веселый, мудрым знанием человеческих истин — мудрый, и печальный и радостный человеческими печальями и радостями.

И был бы он, может быть, всегда таким: прозрачным и уютным утренним, если бы не волосатая покатая мысль:

«Подползти к тропинке солнца и пронзить его копьем!..»

Поползли — Протагор, Зенон, Анаксимандр, Анаксагор, Эвклид, Архимед.

И — уже заворачался. Качаться чуть стал.

А совсем закрутили позже: Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон.

И вот, к нашим дням, уже не утренним объявился: по спиральям, по эллипсам, по параболам и гиперболом...

Равномерно и точно крутится. И — никакого мира нет. Есть формула. Есть безостановочное и мерное движение.

Машина.

Старший лейтенант, то есть бывший старший лейтенант Кикин сказал интеллигенту:

— Давно, очень давно — до пророков и Моисея, выведшего народ от фараона из земли Египетской, до фараона, до Египта и до земли, на которой стоял Египет, до гор и океанов, до Луны и до Солнца, — великая творческая заповедь дана миру:

— Убей!..

Великая потому, что от крайних, страшных, чуть мерцающих звездочек, от которых свет долетает через ненаписуемое число тысячелетий, до близких молекул, ненаписуемыми тысячами мятущихся в капле воды, всем одинаково властно правит, разрушая и созидая, великая заповедь:

— Убей!..

Убей, потому что только так можно вложиться в тулкий круговорот мироздания, где пылинка цепляется за пылинку, а солнце — за солнце. Убей, потому что только так можно изменить что-то в чужой ничемной секунде, называемой чужой жизнью, и сделать то дело, которое предусмотрено своей.

...Потому что, только из тысячи, из многих тысяч смертей рождается новое: побег, лепесток. Тот лепесток, без которого мир умрет, неподвижно повиснет в пространстве слепыми, глухими, мертвыми каменными промадами...

Старший лейтенант Кикин был склонен к резонерству, к возвышенному исчислению причин и следствий, к некоторому циническому скептицизму в мировоззрении и в суждениях и к бесконечным философским разговорам при всякой обстановке.

Было так. Вертелись какие-то миры, цеплялись солнца за солнца, соперничая, пересекая пути и силы в притяжениях и излучениях, менялись, как все: вспыхивали, потухали, загорались вновь; сталкивались и вновь расходились; и вот, в гуще вечного

и мерного круговорота, соперничая, пересекая с другими пути и силы, сталкиваясь и расходясь, менялся, оставаясь в глубине самим собой, Гавриил Кравчук.

Сначала был он нижним чином: за неведомое ему безрадостное счастье, за какую-то победу мерз, утопал в грязи по осенним расклябаным дорогам; бессонными ночами, под прузным бутром, паялил в черноту до боли, до плывущих крутов глаза, карауля невидимого врага и напряженно думая: «Не ушли, не забыли бы наши...»; рассыпался по команде в атаку на страшном опромном поле, под хриплым серым небом и лязгающим потоком стали; стрелял, бежал, колол, рыл и прятался за закрытием, гнил, чесался от вшей, а на отдыхе неистово врал у вечернего костра. Все это потому, что надо было быть:

— Слугой Царю и Отечеству и защитником...

Потом, по первым революционным приказам, перестал быть нижним чином, стал солдатом. Поэтому, когда к нему, носившему по революционной моде пояс не на талии (подпоясывать гимнастерку), а через плечо, непонятно для чего подошел взводный и сказал, не сердясь:

— Ну на кого ты похож, Кравчук?.. Какой ты есть нижний чин?..

Кравчук не без злорадства ответил:

— Нижний чин был, да весь вышел... — хотя, в сущности, знал, что остался тем же Кравчуком и защитником.

Прошла какая-то солнечная секундочка, отодвинула какую-то альфу от какой-то омеги. Она была ничтожна и почти ничего не изменила в небе, но на земле она была длительнее и важнее всех тысячелетий до нее и всех — после.

Потому что солдата и защитника Кравчука она превратила в свободного гражданина Социалистической Республики и товарища...

И теперь, когда к нему обращались только:

— Солдат!..

он оборачивался хмуро:

— Ну — солдат... А тебе что?..

Винтовка, по уставу, должна носиться на плече, есть ремень для ношения в походе.

Выдается она нижним чинам, чтобы выучились ее носить, как указано, и стрелять из нее во внешних и внутренних врагов.

Нижний чин должен беречь свою винтовку и твердо помнить ее номер.

Ружейные приемы тоже в уставе точно обозначены: куда какая рука, какой палец, как надо «стоя», как «с колена».

Одного случая устав никак не коснулся: как винтовка перед неприятелем втыкается штыком в землю?.. Какими приемами нижний чин, — «по разделениям» и «сразу», — должен производить это действие?

На сколько вершков должен погружаться штык?

Как высоко поверх земли должен выдаваться приклад?

Какой угол должен быть между воображаемой прицельной линией и поверхностью земли, в которую втыкают — «полюм втыкания»?

Но русский народ сумел до всего дойти самоучкой:

— На кой пес мне тая винтовка!.. Мы и без ей справимся...

Однако попозже, кто похитрей, спохватились:

— Она, конечно, — имуществва казенная была, а нынче — наша, народная... Чего ее зря кидать?.. Много с ей не разживешь-ся, но, между прочим, даже и для самообороны штука нужная.

И вот, значит, одни огородили праницы Государства Российского винтовочным частоколом, а другие взяли винтовки с собою в теплушку.

Кравчук потядел, да и подобрал одну:

— Так сурьезней будет...

Так, с винтовкой, он залез в первую попавшуюся теплушку, на самую верхнюю полку:

— Чтобы зря не тревожили...

Решил пока что спать. А что теплушки без паровоза не ходят, — так ему не к спеху. Раздобудут.

Спал.

Россия широкая была: без конца и без края — леса, леса, поля, поля, худые темные деревни под буграми, и везде, кажется, железные дороги проложены. Катайся, сколько хошь. Потому что солдаты, рабочие и крестьяне есть народ, а нынче — всё народное.

Нехолодно было: топили там, внизу, докрасна печурку. А если жарко — лежа можно открыть железную заслонку в окошечке, и смотри, сколько влезет. Да только незанимательно вовсе.

...Леса, леса, поля, поля, худые темные деревни под буграми, и тянутся одинаковые телеграфные столбы.., а конца никакого нет... — вовсе не занимательно.

Стучали по железным рельсам колеса, а иное время — по-долгу и не стучали.

На каких-то станциях, а то и без станций, часто без станций,

останавливались и подолгу стояли, — вываливала толпа серых развевающихся шинелей.

Вылезал, расправляя онемевшие ноги, — за кипятком и до ветру.

И опять спать.

По железным рельсам то останавливаясь, то чаще, то реже, опустошали неясные секунды, минуты и часы, а, может быть, дни, недели, годы... Разве легко измерить скорость мыслей даже у убежавшего с фронта солдата?..

И вот, в какое-то другое тысячелетие, на какой-то другой планете, по-особенному звякнули колеса, гулко прогнули буфера, по очереди передавая по длинному красному червяку от головы к хвосту резкий толчок.

— Не спится, чивой-то!.. — протирая глаза, показал Кравчук новому соседу, незнакомому пожилому ополченцу с широкой мужицкой седоватой бородой.

— Тебе-то не спится?.. Да ты, милой, почитай двое суток, как я здесь, без просыпу отхватаю...

По-кацапски окал ухмыляющийся сосед. И верно, Кравчук вспомнил, что прежний сосед был выхлястый молодой парнишка, а этот — степенный бородач.

Стояли. Дверь была распахнута, и в нее ложился через вагон давно не виданный золотистый яркий солнечный квадрат.

— Посторонись, борода, сойти-то хочу...

И выскочил, жмурясь от солнца.

Во время войны в несколько часов убывали десятки тысяч жизней. На Западе трупы убирали и прятали либо в общую братскую могилу, над которой на доске перечисляли имена погибших, либо в отдельные могилы.

Тогда ставился крест, имя, фамилия, чин и полк. Так что на тот свет попадал не просто человек, а определенный, точно обозначенный и взвешенный винтик человеческой военной машины.

От этих людей на Западе остались целые города: улицы и переулки выравненных по ленточке перенумерованных белых крестиков.

Но были и другие, — не перенумерованные: посланные и не вернувшиеся, разорванные на клочки, от которых находили только руку или ногу, засыпанные, исчезнувшие, выпавшие вдруг из списка, не отзывавшиеся на переключке.

Общественная совесть, чтобы не предать их забвению, запад-

ная общественная совесть считает несчастьем и несправедливостью, если достойного покойника забывают раньше десяти-пятнадцати лет. Западная общественная совесть изобрела Могилу Неизвестного Солдата.

В Париже, на площади Этуаль, где как лучи звезды пересекаются многие шумные улицы, стоит серая, испещренная чересчур пышными фигурами и чересчур пышными надписями промада.

Это — памятник чересчур пышной «Великой Армии» Наполеона: Триумфальная Арка.

Общественная совесть решила, что будет целесообразнее подвиги и славу современные соединить с подвигами и славой прошлой, вошедшей уже в историю и уже увенчанной лавровым венком из рук пышнотелой женщины в тунике.

Это было бы целесообразно также и с точки зрения экономической:

— Зачем трагиться на постройку нового достойного памятника, когда есть старый, до того огромный и замечательный, что даже американцы приезжают специально, чтобы около него пройтись.

И вот кости какого-то неведомого счастливица перенесли и похоронили здесь, под Наполеоновскими сводами. А на его могиле зажгли неугасимый (за исключением неожиданных и непредвиденных случайностей), — почти — неугасимый огонь.

Так появился на свет французский Неизвестный Солдат Первой Мировой Войны.

Одновременно или почти одновременно, приблизительно одновременно, приблизительно таким же способом были обнаружены Неизвестные Солдаты других наций из всего множества кражавшихся: португальский, монакский, аргентинский, бразильский.

Ввиду того, что в России после переворотов война была признана империалистической и не стоящей внимания, русский Неизвестный Солдат предпочел в империалистической войне не погибать за отечество.

Погибшие раньше были совсем не героями, а жалким оружием в руках мировой буржуазии.

Позже и слово «отечество» было признано не стоящим внимания; согласно последним требованиям революционного пролетариата в социалистической республике мог быть только:

Неизвестный Солдат Русской Революции.

В яркий солнечный осенний день праздничная паутина носилась в воздухе; опутывала румяные лица обмотанных в платки баб у ларька, цеплялась за низенькие карнизы одноэтажных станционных убогих построек. Зацепилась и за расколотый козырек красной фуражки начальника станции, долго и нудно жестикулировавшего перед наседавшей на него группой серых шинелей; заскользила дальше, качаясь над веселой платформой, вдоль красных кубиков притихшего без паровоза состава, понеслась, на ходу приклеиваясь к зеленому железнодорожному палисаднику, к веткам голый сирени за палисадником и — еще дальше — в бледное осеннее, не сияющее сегодня небо.

Высокий небритый солдат со впалыми щеками, в расстегнутой, без хлястика, шинели, походившей на халат, стоял, опираясь сзади локтем на палисадник, и прыз семечки.

Когда шелуха чересчур нависала у рта, он сдувал ее со звуком, подобным быстрому взлету воробья. Когда пригоршня кончалась, он засовывал руку в глубокий болтающийся карман шинели и вынимал новую, полную.

Кравчуку было скучно. Как — сколько раз — унылая станция, спящая знакомая толпа, паровоз у водокачки берет воду, значит, — ехать не скоро.

Постояв рядом с солдатом, он сказал:

— Дай семечек полужгать, что ль...

Солдат, равнодушно глядевший на прохожих, так же равнодушно поглядел и на него.

— На. Для хорошего человека дерьма не жалко... — и опять стал равнодушно смотреть на прохожих.

Кравчуку стало досадно: не ладится разговор. Немного погодя он сделал такое же равнодушное лицо:

— А ты откеда?..

— Откеда... — презрительно передразнил солдат, — с города... — При этом он мотнул головой направо назад, туда, где должен был находиться город.

На реплику Кравчука:

— А я думал, ты — с наших... С эшалона... — солдат ничего не ответил, продолжая задумчиво прызть.

Мелькали расстегнутые шинели. Начальник станции жестикулировал и вытирал с лысины пот. У ларей почему-то промко смеялись и визжали бабы. Отцепленный паровоз скучно стоял у водокачки.

— Слушай!.. — прокашлялся Кравчук, — а зовут тебя как?..

Солдат нехотя поднял ленивые бесцветные глаза, внимательно на Кравчука посмотрел и сказал:

— Зовут меня Ермил, да не ты крестил; зовут меня Василий, а еще как — вас не спросили...

Из подобного ответа, с явным желанием что-то скрыть, опустить концы в воду, стало ясно, что это есть русский Неизвестный Солдат. О принадлежности его к русской революции говорил весь его революционный облик: расстегнутый хлястик шинели, нечищенные со времени царского отречения сапоги и сдвинутая на затылок прязная папаха.

Он опять долго стоял, смотря на проходящую толпу, потом вдруг сказал Кравчуку с видом глубочайшего сочувствия, слегка разбавленного презрением:

— Смотрю я на вас... — темный вы народ!..

Кравчук обиделся:

— Почему — темные?.. Мы — с фронту!.. — и это звучало гордо, а в голове закопошились готовые выскочить, слипшиеся слова, те самые, которые так хорошо и так вместе выскакивали раньше, — у костров на отдыхе.

— Потому и говорю — темные, что — с фронту... — сказал, сплюнув, солдат и разом погасил начинавший разгораться в душе Кравчука огонек личной и национальной гордости.

— Мы кровь проливали... — пробовал отбиться Кравчук испытанным и давно отточенным оружием.

— Вот и дураки, что кровь проливали...

— А ты кто такой есть, что лаешься?..

— Какую фамилию носим — вас не спросим... А вот ты, ежели ты кровь проливал, скажи — за что?..

— Как — за что?.. — опешил Кравчук. — С немцем бились...

— А что тебе немец?.. Может, он такой же трудящийся, как ты есть?..

— Отечество, то есть русскую землю защищали...

— А ты много ей, той земли видел?.. Куренка, небось, выпустить некуда было...

Кравчук подумал и согласился, что, может быть, и некуда было. После этого он, правда, не в первый раз, услышал, что нужно было бить не немцев, а буржуев, помещиков, офицеров и попов, которые триста лет пьют нашу кровь.

— Наша власть теперь... — говорил Неизвестный Солдат. — Куды повернем, туды и выйдет... А уж повернем так, чтобы растуды им, стервам...

Солдат объяснил еще, что дураки на фронте так и сидели бы, если бы не они, — из запасных частей, — которые грудью разрушили твердыни старого режима.

После этого Кравчук понял, что такого костровыми рассказами не перешибешь, и преисполнился великим уважением к Неизвестному Солдату.

— Идем к нам сегодня... — сказал Солдат, — антиресное заседание... Депутаты из центра... Митинги любишь?..

— Сказать по правде, ораторей слушать я не особенно интересовался, но, между прочим, — митинги обожаю...

В теплушке было пусто: все были на платформе. Один давешний бородач, сняв сапог и размотав портянку, рассматривал свою прызную заскорузлую ногу.

На полку, на сундучки, мешки, хлебы и чайники, сквозь окно, падал яркий солнечный квадрат.

— Отец, — исунь мне сундучок оттеда... А хлеб пушай лежит. Может, кому пригодится, а нам — без надобности... — сказал Кравчук.

— Да ты что?.. Слазишь, что ль?.. Ай приехал?.. — удивился бородач.

— Приехал ли, нет, а друга, вот, встрел... Давай сюда!..

Бородач дал сундучок и почесался:

— Друга так друга... А мне, милой, — всё одно... Мне еще лучше, у самого окошка будет...

2

В провинциальном кафе, у Винера, в нижнем этаже двухэтажного дома, под провинциальным небом разговаривали два провинциальных интеллигента.

Говорили о многом: о модных физических гипотезах, о звездах, о войне, о дороговизне, о новых книгах, об истории и счастье человечества.

Знали, что не может провинциальный интеллигент думать и говорить о войне, революции, истории человечества и о законах, которые управляют историей и счастьем человечества, и о физических законах, потому что о физических законах могут говорить только ученые в Париже, Берлине и Лондоне, и — о звездах, потому что только на столичном небе можно как следует рассмот-

реть движения бег и дельт, а небо над ними было только провинциальное.

Поэтому, разговаривая, они подсмеивались над своими мыслями, над своей историей и своим счастьем человечества, над кафе Винера и над своим провинциальным городом, с прилипснутыми домишками, над провинциальными своими звездами и над своей революцией.

— Я не могу от нее отказаться... — говорил один. — Ведь это не акт мщения. Это — акт высшей справедливости. И ведь нужно же платить по векселям... Разве вы так, в глубине, искренне уверены, что человеку можно дать больше того, что он имеет?.. Каждому человеку?..

— Да тут дело не в том, чтобы, вот, дать и взять, а — принцип: вот — мелочи всякие. Ну, вот, сегодня сидел он в кинематографе на третьем месте, а завтра будет на первом... Сознание нужно, что, вот; прожил не зря день, прожил день забот и лишений, а, мол, этот день, хоть и тяжкий, на какую-то ступеньку поднял, отразился на уровне жизни.

— Это, милый мой, вы не о революции говорите... Революция — не две ступеньки в кинематографе, а — все. Не за труд. Труд — в стороне. А за то, что я, мол, раньше не имел ничего. За это теперь — всё. За сирость. За ничего.

— Сирость любят. Унижение любят, не спрашивая, отчего сирость и унижение... Может, сам виноват... Всё равно!.. А труд не любят и не уважают. Чтобы сразу — хотят. Чтобы Бот, который всё в сторонке сидел, взял, засучил рукава и сказал: — Вот, погодите, уж вас разберу сейчас!.. Чтобы земля, на пятнадцатом или на миллион пятнадцатом туре, вдруг бы свернула с предназначенной, просчитанной ложбинки, с Кеплеровской этой самой орбиты, и — пируэтом эдаким — пошла бы куда-нибудь в сторону, по какому-то другому пути... И даже не так важно, по какому другому — всё равно, — только бы не по-старому... Знаете, человек первого бога выдумал для чуда. Уж очень извела наперед рассчитанная равномерность.

— Может быть и так, как вы думаете, только знаю, что — пошли...

— И еще пойдут... Мы не знаем, куда и докуда. Все бросят и пойдут... Раз сказали, что прилетела Синяя Птица и, вот, по снежным полям летает... Только — поймать надо...

В кафе Винера, на углу, не о делах, а больше отвлеченно, — о принципах, о метафизических обоснованиях сущего разговаривали два интеллигента.

3

Кравчук был городом доволен. Дома были почти все каменные, двухэтажные, — отличные дома. Все — с зелеными железными крышами; улицы — почти все мощеные; тротуары проложены, фонари были на перекрестках. Вокзала, правда, еще не было, но он строился, а улицу, которая вела к брошенной так, в лесах, постройке, уже переименовали в Вокзальную.

По улицам народу всегда много. А трамвай шел не только по городу, но и к полустанку, где они встретились с Неизвестным Солдатом.

Со времени встречи они всегда были вместе. Вместе жили в четырехэтажной казарме запасного батальона, вместе ходили на митинги, пока не надоело; вместе катались на трамвае, пока он ходил; вместе гуляли вечером в городском саду, вместе обыскивали магазины и частные квартиры.

Знаменитый был друг у Кравчука; всё знал и все объяснить мог:

— Вот, смотри — винтилятор... той, что у фортку вставляет-ся, чтобы просвежать...

— Занятная штука... Да — ненужная. Господское баловство одно.

— Дурак ты, Кравчук, деревенский, как я на тебя посмотрю...

— Да я что?.. Я так, вобще, говорю...

На улице Кравчук дергал за рукав Неизвестного Солдата:

— Глянь, какая барышня... Тоненькая да беленькая...

— Видели мы и таких... А что — беленькая, так верно. У ей кость белая... Дворянская... А биография у ей, верно — полезная... Восхитительная дамочка прямо!..

— Вот бы нам такую...

— Будут и такие!..

Неизвестный Солдат прибавлял шаг и, догоняя, на ходу говорил в лицо:

— Извиняюсь, дамочка! Дамочка!.. Или — барышня вы есть?.. Нам ваше звание неизвестно... Тут вами один герой интересуется... Значительный бунет...

Его настойчивость слабела по мере того, как испуганная барышня, глядя прямо перед собою, прибавляла ходу: но как только она оказывалась в нескольких шагах впереди, ей вдогонку летели смачные трехэтажные слова и дружные взрывы смеха.

— Не хочет, стерва, нашего солдатского мяса покушать... Ничего... Погодите!.. До вас, до белотелых, доберемся!..

4

Зинючке выпало залутаться между солдатским сапогом Кравчука и старомодными остроносыми ботинками интеллигента. Было очень больно от тяжелой мужской поступи: по телу ведь ступали, но, впрочем, больно или нет — никто, кроме самой Зинючки, не знал.

До переворотов отец Зинючки был директором гимназии, но дочь отсылал в дальний город, в институт.

— Мальчик — другое дело, а дочка — пускай в институте будет. Все-таки спокойнее... А то теперь в гимназиях народ с бору, да с сосенки...

Зинючке оставался до окончания только один год. Но из-за событий она не поехала.

После своей отставки, — вынужденной, из-за революции, — отец Зинючки поседел, осунулся, сторбился, оброс бородой и перестал разговаривать. На вопросы отвечал «да» и «нет»; сам никого и ни о чем не спрашивал. Молча ел, молча пил, не читал ни газет, ни книг, а целые дни, сидя в кресле, смотрел перед собою выпуклыми злыми голубыми глазами.

Мать всегда была занята Гришей, двенадцатилетним гимназистом, Зининым братом.

В голодные дни, когда нужно было стоять в очередях, комбинировать обмен ношеных, но любимых блузок на картофель, обедать в сумерках без огня, а ночью прислушиваться, переворачиваясь на другой бок, — где стреляют, — появился интеллигент.

Он одевался в потрепанную гимнастерку, казавшуюся нижней рубашкой под широким, с протылешинами, барашковым воротником шубы, носил бахромчатые расплзающиеся зеленые обмотки и длинноносые, когда-то шевровые, облупившиеся ботинки, отчего ноги казались еще хуже.

Входя, он всегда улыбался и щурил близорукие глаза, протирая запотевшее пенсне.

— Вы не можете себе представить, что принес... Отгадайте!..

Не дожидаясь отгадки, он торжественно разворачивал пакет, — как в аптеках для порошков, только больше, и там, под многочисленными, одна на другой, бумажками находилась последняя, — липкая, с желтым размазанным медом.

— Представьте себе, Гриша до сих пор еще не пришел из гимназии... — жаловалась мать.

Так день за днем, интеллигент входил в жизнь, и часто в сумерках мать спрашивала:

— Что-то нет Николая Валентиновича?..

— Ничего... не маленький... явится!.. — спешила заявить Зиночка, чтобы лишний раз подтвердить, что ей совершенно всё равно — явится он или нет.

Гриша исчезал на большие и большие промежутки. Стал приходить только не надолго утром, с помятым похмельным лицом. К тому, что он курит, уже привыкли, а вот к уличным ругательствам, сквозь зубы, хрипловатым переходным срывающимся голосом, — привыкнуть было нельзя.

В незаметно катящихся незаметных днях, — случайных, только сегодняшних, потому что «это» не может же продолжаться долго, — Зиночка вдруг заметила, что мир переменялся бы, стал светлей и счастливей, если бы Николай Валентинович был всегда около нее, и если бы она могла гладить его волосы, целовать его и называть Колей. Поэтому, с тех пор как он сказал ей, что любит ее, в доме стали знать, что они — жених и невеста и ждут только, когда «это» кончится. «Это» должно было кончиться скоро, потому что по перекресткам, по базарам, по забытым церквям ползли слухи о том, что кто-то идет с Юга, что у «этих» паника, что в соседнем городе — восстание.

Только одной неудачной ночью всех пробудил осторожный, но настойчивый стук.

Николай Валентинович, мокрый от дождя, с каким-то сверточком подмышкой, пожал руку старику, поцеловался с Зиночкой и с ее матерью и ушел искать тех, кто идет с Юга, потому что здесь уже нельзя было ему оставаться ни часу.

По-видимому, Синяя Птица летала где-то там, и надо было только ее поймать.

И опять пошли только сегодняшние, только случайные дни. Но Зиночке стало неуютней, и она часто стала плакать — вот так, среди дня, ни с того, ни с сего.

Слухи ползли то настойчивей, то слабее, но перемен никаких не было: так же приходилось стоять в очередях, не зажигать вечером огня и ночью вздрагивать от неожиданных близких выстрелов.

А жить стало теснее — в двух, вместо семи, комнатах; впрочем — и то было, слава Богу, — у других хуже. Убирать непри-

вычными руками было легче, и топить нужно было только одну печку.

У Зиночки появилась подруга — Цеся. Кто она была, не знал никто; по манерам и по некоторым словам походила на бывшую торничную, как про нее говорили, но Зиночке теперь стало с кем разговаривать и делиться маленькими сегодняшними радостями и печальями.

Теперь часто приходилось голодать, потому что было распродано все, что можно, и начались разговоры о Зиночкиной службе. Цесе, собственно говоря, и дозволено было появляться только потому, что она могла «устроить».

Зиночка стала выходить из дому, с Цесей, — наверно устраиваться, и днем часто только одна мать оставалась с молчаливым отцом.

5

И вот, Кравчуку снился сон. Небо — серое, в клочьях. Обыкновенное, можно сказать, небо.

В пустом поле он один. И лежит винтовка, карабинчик легонький, артиллерийский, какой давно ему хотелось найти. Взял в руку, смотрит — не карабин, обыкновенная пехотная винтовка. И — тяжелая, стерва.

Ему жалко новенького хорошего карабинчика, и он оглядывается кругом — нет ли?.. А потом вспоминает презрительное лицо Неизвестного Солдата:

— «...Винтовку-то, дура, возьми... На что ты без ей годишься?..»

— Найшол!.. Сейчас иду!.. — кричит Кравчук, но голос слабенький, почти не слышно, и ветер порывами рвет, гонит тучи, небесные клочья.

И вдруг замечает, что винтовка длинная, длинная; штыком хватает до этих клочьев, путается в клочьях, рвет, делит, режет небо пополам: одна половина белая, другая — темная, красная.

«Чудно... Заход, что ли?», — думает Кравчук.

А от красного заката, верно, видит — земля тоже темная и красная, как запекшаяся кровь. И у Неизвестного Солдата во впадинах щек, в складках, тоже как бы темные красные мазки.

— Земляк, да где же ты так вымазался!.. — кричит. И вспоминает, что нет земляка теперь, а есть товарищ...

— Что ж ты с фронту убёг, когда тебе кровь проливать на-

значено?.. Какой же ты есть защитник?.. — издевается Неизвестный Солдат, хлопает Кравчука по плечу, и уже как бы не он, а бородатый сосед из теплушки, рассматривая прызную ногу, говорит:

— Ничего, милой... Найдём и тебе под бупром место: большая Россия-то: леса, леса, поля, поля, а конца и не видно... Только — незанимательно это вовсе...

Без конца тянутся темные бугры, поля и леса, и Кравчук знает, что незанимательно это вовсе.

6

Интеллигент пробирался к полустанку. Было темно, шел дождь, и видны были только две полоски блестящих рельс.

Он думал: спит ли часовой на полустанке, думал о бессмысленности и человеческой жизни, и жизни народов, думал о далекой небольшой станции, которую, по слухам, заняли те, что шли с Юга, думал о развязавшемся, хлопающем под ногами шнурке ботинка, думал о справедливости и, больше всего, думал об этом теплом еще, последнем, может быть, Зиновкином поцелуе.

Полчаса тому назад у него было невероятное счастье, какого ни у кого никогда еще не было; сейчас оно сразу ушло, как вода уходит в трещину котла. Всё стало пустым, и саднила эта самая трещина.

Из-за деревьев, из-за дождя, там, где рельсы сворачивали, виднелось темное пятно.

Было темно, и — ни одного огонька сквозь тоскливый дождь.

«Спят часовые...» — решил интеллигент и перескочил за борчик.

Между путями поблескивали лужи, и с обеих сторон тянулись лужие, застывшие без паровоза составы.

В станционном здании, в самом крайнем окне, мерцал тусклый огонек, но ни на путях, ни на платформе не было никого.

Интеллигент прошел первый состав, пролез под буферами:

— Никуда не пойдет... Пустой...

Пролез под вторым. Третий был короче. Двери теплушек задвинуты, некоторые заперты.

Он выбрал одну. Долго возился, чтобы открыть без шуму, пролился в щелку, закрыл изнутри, в темноте наклонился на какие-то керосиновые бочки и бидоны и в углу, за мешками, устроился.

После дождя, дороги и тревог неожиданного бегства казалось, что здесь уютно. На него вдруг спустился какой-то непонятный сладкий звериный покой. Тишина располагала ко сну.

Глядя в темноту перед собой, он старался составить из обрывков незабываемых радостных подробностей милое, испуганное и такое близкое последнее лицо Зиновки. Подробности он видел очень ясно: и спускающийся клочок волос, и бедное серое платье, кружком оголяющее шею, и серые глаза, и родинку около уха на шее, но вместе взятые они Зиновкиного лица не составляли.

На крышу сыпался дождь, и где-то, в другом конце вагона, мерная падала капля.

Совсем другая мысль пришла ему:

«С какого ражу эта обалдевшая Синяя Птица влетела в скучный край, где только леса, леса, поля, поля и — глухие темные деревни под буграми...»

7

Стоял этот дом одиноко, как одинокий пожелтевший старческий зуб. По бокам — маленькие домишки со ставнями снаружи, с крылечками из резных столбиков, с палисадниками, а у него — даже навеса над входом нет.

Видно его было издалека: вылезал этажами из зеленых крыш, из-за заборов, из-за приземистых фруктовых садов.

Зиновка постояла у входа. «Туда ли?.. Номер — верный»... И по скрипучей деревянной лестнице поднялась.

Зашаркали туфли, и в грязной неубранной комнате она увидела Пелагею Платоновну, гадалку.

Пелагея Платоновна куталась в черный гарусный самовязанный платок, потому что было холодно. Разбитые окна были заклеены бумагой.

— Здравствуйте, барышня... Садитесь... — Она сняла юбку, которую перешивала, и пододвинула стул к столу. — Вы простите. Уберу сейчас... — и сдвинула кучу обрезков к машине.

Зиновка оглядела неряшливую комнату и, не снимая шубки, присела на кончик стула, теребя в руках приготовленную кредитку.

— Вам на картах?.. — спросила Пелагея Платоновна.

Зиновке было всё равно; раз на картах, значит, на картах.

...Будущее всегда волнует, и потому несносно стучало сердце и рябили, качаясь перед глазами, всякие десятки и шестерки.

Как из строчащей машины ровная строчка — сухими столбиками, рядами и веерами ложились спокойные карты.

...И он, Николай Валентинович, близкий, улыбающийся близорукой улыбкой из-под пенсне, вышел из строчащей машины, из ровной колоды: тупым растопыренным королем безвольно лег у шестерки.

Зиночке захотелось своим человеческим разумением вмешаться в неживой безучастный распорядок карточной судьбы; розовыми живыми пальцами растрепать гадкую колоду, вынуть малеванную свою даму и ровненько положить рядом.

Может быть, тогда улыбнулись бы друг другу тупоносые, разбитые две карты.

Но сухие костлявые пальцы старой неряхи уверенно мелькали невычищенной каемкой ногтей, привычные владеть карточной стасованной судьбой, и привычно, ровно, как машинная строчка, раскладывали ряды, веера и сухие столбики.

...Впрочем, ведь и судьба всего мира, будущая и прошлая, может уместиться в грязную колоду гадалки.

— В вашем доме предстоит вам агромаднейший интерес; молодой блондин в состязании с неожиданным брюнетом... — словно по-писанному скрипел неприятный монотонный старушечий голос, предвеляя о тайнах будущих путей и столкновений.

— Но, между прочим, удар со стороны червей... С сердечной, то есть... — пояснила она.

— Может также выйти большая беда от пик... Остерегайся пикового короля, барышня...

Зиночка знала, и все знали, что Пелагея Платоновна — вдова прокурора, и что ей не сродни такие слова, как «выйти» и «агромаднейший», однако, очевидно в тайны ритуала было включено простонародное произношение.

Сменялись радости, ожидания, несчастья, червовые интересы, казенные дома, пиковые дороги, пожилые господа, с правой стороны благосклонно глядящие, общество, сплетни; всё сменялось, как всё сменяется в мире карт и в мире вещей.

Зиночка ушла удовлетворенной. Все кончалось благополучно, кроме одного пикового туза в головах, что означает близкий удар, — Зиночка это твердо знала.

Но гадалка почему-то об этом не упомянула...

— Не хочет говорить неприятного...

Всю длинную Кирпичную улицу до базара, базар и Садовую, где уже начинается трамвай, Зиночка проскриптела по снегу маленькими шажками, не замечая ни домов, ни прохожих.

Перед глазами мелькали шестерки, десятки, короли и, — страшный, в головах, — пиковый туз.

Роли и деяния королей и дам были давно распределены между знакомыми, но что означает туз пик в головах?..

8

Налево, в верстах четырех, горело в нескольких местах. Что горело — не было видно за будром: только стояли огненные столбы, и дымное зарево подбрасывало вверх низкие ночные тучи и съеживалось.

«Это, наверно, Верхний Кут, а Нижний — надо забирать верст на пять вправо...» — вспоминал интеллигент. И посмотрел вправо, где было темно и тихо.

Слева стрельба не прекращалась.

Комья пахоти были опущены отсветной огненной каемкой, и, — как зарево, как неопытный — по пахоти — одинокий ходок, как горящий Верхний Кут, как опромная взмятенная страна, как человечество, как весь мир, — медленно качались: то выступали ярко и отчетливо, то втягивались в большую черную, бесформенную и безразличную землю.

«Так и буду забирать вправо и вправо...» — решил интеллигент. Пересек дорожку. На дороге валялась, поблескивая, горсть стреляных гильз. Пожар стал теперь слева, сзади, а стрельба отодвинулась.

И вдруг оледенев, он услышал, что его окликают сзади:

— Эй, дядя!.. Как тебя?.. Стой!..

К нему ковыляла долгополая прихрамывающая шинель. Отовсюду растущая борода обозначилась на силуэте.

При вспышках зарева интеллигент рассмотрел еще голубые, навдыкате, глаза, напомнившие ему Зиночкиного отца.

— Куды спешишь, дядя?.. Насилу нагнал!.. — отдыхивался человек, а слова произносил каким-то распевным, неестественным голосом. — Третий день, друг, по канавам здесь не жрамши ползаю... Может, есть хлеба кусочек?.. Или — табачку?..

У интеллигента страх отошел, но вышел холодным потом, — по спине, под шершавым суконным воротником и на лбу. Машинально он стал шарить по карманам платок. Не нашел и вспомнил, что теперь надо вытираться рукавом шинели.

— Я солдат с фронту... К брату иду у Нижний Кут... Давно не видамши... — запинаясь, выговорил приготовленную реплику интеллигент, и ему стало стыдно: он знал, что вышло плохо и не-

естественно. — Опасно курить... Стреляют ведь там, — боязливо добавил он, передавая спички.

— А ну их к чёртовой матери... Далеко уже... Заняты... Им сейчас не до того...

Закуривая, человек строго уперся голубыми навыкате глазами в переносицу интеллигента и вдруг сказал совсем другим, простым голосом:

— Я сам в Нижний Кут... Да сейчас трудно пробраться... Вы что, с полустанка, что ли, идёте?

— Я — солдат... с хронту... не видамшись... — опять, спеша и обиваясь, начал интеллигент.

Человек деловито и строго его оборвал, говоря раздражённо:

— Ну да!.. Вы — солдат... и — с хронту... и я тоже — солдат... Только вот солдаты, которые «не видамшись», платка по карманам не ищут, пятен от пенсне на переносице не имеют... Говорю — нельзя туда, там ихние заставы; куда идёте?..

— Я и знал.., то есть догадывался... Я и забирал вправо...

— Вот куда надо идти!.. — решительно показал плоской ладонью человек, и они пошли в темноту.

Шли медленно, спотыкаясь о невидимые скользкие комья; потом взялись за руки.

— Позвольте представиться: остов старшего лейтенанта Кикина... — сказал человек.

— Как? — переспросил интеллигент.

— Остов старшего лейтенанта Кикина, — резко и отчетливо сказал голос. — Старший лейтенант погиб. И погиб за тройную комбинацию: веру, царя и отечество. Потому что, если бы старшие лейтенанты не были в сосуществовании с верой, царем и отечеством, а были бы сами по себе, то, вероятно, остались бы на свете и старшие лейтенанты, и корабли, на которых им быть полагалось. И, вероятно, остался бы среди них и старший лейтенант Кикин. Но их нет. Значит, и он погиб. Вот и бродит остов старшего лейтенанта, в виде вшивого бородача, по Киммерийскому побережью и смущает прохожих... Дайте прикурить... Потухла, стерва!..

«Что за чудак?.. Может — сумасшедший?» — подумал интеллигент. Они опять шли порознь, и он посмотрел на черную тень. Замолкшая черная тень качалась рядом.

Валкие ночные шаги по пахоти были утомительны. Интеллигент запыхался и вспотел.

— Автор так и запишет, что — встретились... — неожиданно сказал голос лейтенанта.

— Какой автор?..

— Который о нас напишет... — спокойно сказал темный голос. «Вот чудак! Кто же он такой?» — подумал интеллигент.

— А почему вы уверены, что о нас кто-нибудь напишет?

— Обо всем пишут, и о нас напишут... — уверенно сказал голос. — Вы подумайте: два незнакомца, бредущие в анвиронах Нижнего Кута. Может быть, фамилию мою переврут, а вашей совсем не упомянут, а всё-таки напишут... Напишут, например, что у вас есть любимая женщина... невеста, что ли, которую вы должны были оставить... И как, мол, вы отправились бороться за государственную честь, а она в это время изменяла вам со случайным солдатом, и как благословляла его, отъезжающего, на смертный бой с вами...

Интеллигент почувствовал холодок на спине и еще пристальней стал вглядываться в шагающее рядом темное пятно.

— Так принято, милостивый государь... — строго сказал голос. — Для обнажения человеческой души необходимы важные потрясения, главным образом, в области любовной. А ведь всякий автор старается хоть немножечко изобразить потрясения и хоть немножечко обнаженную, вследствие этих потрясений, человеческую душу.

...Автор обязан исходить из некоторой принципиальной отвлеченной добродетельной идеи. Например: оскорбленная справедливость. И вот, если допустить, что оскорбляемая справедливость будет показана в вашем лице, — вы должны будете немного пострадать: ваша любимая должна будет отдаваться кому-то другому, вам лично придется переживать существенные неприятности, вроде, например, этого сегодняшнего путешествия. Но, конечно, в общем, вы должны ощущать радостно-восторженное настроение от этих экспериментов.

Ведь вы находитесь не в руках бездушной слепой Судьбы, — нет, некий автор, которого вы, правда, не знаете, ведет вас, как и все остальное, для осуществления некой добродетельной цели.

Темные слепые шаги вязли в пахоте; ничего не было видно впереди. Только сзади багрово попыхивал догорающий пожар. Огонь вяз в пелене ленивого редкого последнего дыма и лишь изредка добирался до низких туч.

Тогда взмахом освещалось сырое плоское поле, где тряской походкой качались две одинокие неуклюжие фигуры.

— Автор еще многое проделает. Может быть, ему даже при-

дется вас расстрелять: далеко, ведь еще, несколько верст осталось... А, может, вы кого-нибудь расстреляете...

— Не собираюсь... — угрюмо буркнул интеллигент, которого начинала раздражать болтовня.

— Самое обидное то, что автор не спрашивает у персонажей их желания и не всегда с этими желаниями считается. К примеру — я. Я, конечно, предпочитал бы быть по-старому — у себя на корабле, а не выступать здесь ободранным беззубым резонером.

— Млм... — мычал интеллигент, но его спутавшиеся мысли были далеко. Они металлись от нетерпеливого начала какой-то жизни, которая будет в Нижнем Куте, к той старой, надорванной, концы которой еще беспомощно болтались в воздухе и, как веревка на ветру, нечаянно больно ударили.

Снова во внутренний привычный ход мысли врываются колючие и нелепые речи, но плохо слушающий интеллигент так и не понял, какой ход мыслей привел лейтенанта, от прежнего абзаца, несколько саркастического, к новому, героическому. Под негромкое бормотание он опять углубился в себя:

«А что если, действительно, не с солдатом, конечно, а так, с кем-нибудь... Кто-нибудь ей ближе, родней?..» — больно и настойчиво всплывало поверх поля, пахоти и лейтенантовых речей, поверх зарева и узловатых низких туч. — «Если, правда, кто-нибудь?..»

От этого становилось очень холодно, одиноко и бесприютно.

А рядом снова бубнил голос:

— Автору нужно изобразить, например, этот самый оплодотворяющий закон: «Убей!..», показать его отчетливо каким-то будущим поколениям. Не будет же он церемониться с какими-то нашими судьбами... Да и к тому же ведь теперь в жизни всего человечества настала ночь. Разве вам не ясно, что теперь все человечество, беспризорное, бредет ощупью, — вместе с беспризорными нами, — в этих ночных потемках, по этой сырой, ухабистой и безразличной земле?.. В ночном поле — все страшно. В ночном поле каждый — враг. И вот, напуганные до озверения люди, спотыкаясь при отсветах дальнего зарева, вцепляются от страха друг другу в горло: невидящий сосед в невидящего соседа; толкают друг друга, прызут, душат, топчут; вместе падают в звериной схватке, вскакивают, падают и опять вскакивают, стараясь уйти от темно-го надвигающегося древнего закона...

И снова тускнел, отходил ровный голос. И тогда поверх всего — спрашных лейтенантовых законов, поверх чужой и своей судь-

бы, поверх заблудившегося ночного человечества, — прежняя и примитивная пылгла острая мысль:

«А что если... с кем-нибудь?..»

Долго еще резонерствовал лейтенант. Они шли по сырому темному полю, пока не стало сереть небо и комья не стали совсем скользкими.

Что-то большое, темное показалось в холодных предраcсветных сумерках и стало надвигаться на них.

— А вот кладбище и дорога... — сказал замолкший, было, лейтенант, ежась. — Сейчас спустимся в овраг и будет Нижний Кут.

Все стало синим, и тяжелый липкий осенний туман начал подниматься с пахнущей земли.

Над ними пролетела испугнутая шагами ворона и тяжело села на дерево по другую сторону дороги.

Интеллигент подумал: «Не за этой ли синей — в синих предупренных сумерках — птицей гонится полуторастамиллионный святой народ?..»

9

Было время, когда человек вылез из костюмчика, любезно сшитого тем долгим, одинаковым для всего живущего, процессом, который в общем виде называется эволюцией, а в применении к людям — особо оптимистически: прогрессом, и остался голым, таким, каким, в сущности, ему заказала быть природа.

И вот: по пыльным улицам дети играли в «белых» и «красных»: стреляли из палок, рубили прутьями, устраивали лазарет, сажали в чека и ставили к стенке.

Жизнь стала гуще, приземистей, темней, как ступается сумрак в темноватых угловатых перегородках комнат. Настоялся, стал приземистей косматый, рожденный полями и лесами, широкий закон доисторического дикаря.

И видно было, что он не уступал: по полям и дорогам пухли зловонные лошадиные трупы. Давно не выдававшиеся люди при встречах остерегались задавать вопросы о близких, а краснели и запинаясь, стараясь наперед узнать: живы или, может, лучше не спрашивать.

Иногда интеллигенту казалось, что он делает правильно: правильно плотно вжимает приклад в плечо, правильно снизу подво-

дит мушку к прорези прицела так, чтобы руки не дрожали, правильно, не торопясь, нажимает собачку и правильно наносит потери противнику.

А иногда казалось, что руки дрожат, что неправильно подводится мушка и что совсем неправильно, по какой-то ужасной непонравимой ошибке, он стреляет в русских, таких же, как он, людей.

Однако там, сзади, всё было уже давно решено, волна несла, и не только не стрелять, уже и думать и не ошибаться было нельзя.

Тысячи людей с одной стороны и тысячи с другой не рассуждали и не могли рассуждать, правильно ли они делают, что стреляют; они спешили думать только о том, чтобы правильно стрелять: правильно подводить мушку снизу к прорези прицела, правильно прицеливаться и правильно, не торопясь, спускать собачку.

Все эти люди совсем не делали истории и не делали революции, они жили: либо нападали, либо защищались. И поэтому, в обоих случаях, думали, как бы лучше, верней врага убить.

Надо было крепче врасти в звериную судьбу: выйти из комнат в оснеженные поля, обрасти бородой и вшами, не мыться по неделям, питаться недоваренной крупой и по неделям мерзнуть под бугром, выслеживая врага.

И они врастали: выслеживали — обросшие, грязные, вшивые, голодные, по-звериному злые.

Но каждый знал, что делает это не просто для себя: вот, чтоб убить такого-то, отобрать себе шубу, гуся, пачку керенок и красивую женщину.

Каждый шел за общее.

И поэтому, хоть и сами собой, у одних отбирались, к другим попадали шубы, гуся, керенки и красивые женщины. Хоть и сами по себе, но совершались подвиги и преступления, революция и история. И люди с обеих сторон считали только свое дело святым и прекрасным; только за святое и прекрасное дело, за какое-то светлое будущее пили, чесались от вшей и вытягивались в судорогах от пуль и от рваных режущих осколков.

Синяя Птица была неутомима: она появлялась одновременно и у Дмитровска, и у Архангельска, и под Челябинском, и у Ставрополя, и, если только не обманывали сумерки великой страны, не одна птица, а целые кричащие темные стаи кружились над полями, над лесами и над глухими темными деревнями и — над трупами.

Неизвестный Солдат постучал кулаком. За дверью ничего не ответили, только, как будто, шептались.

Тогда он ударил два раза прикладом, так что дверь затрещала.

— Сейчас! Сейчас! Свет зажжем!.. — послышался дрожащий женский голос.

— Спят, туды их мать! — обернулся Неизвестный Солдат, и папироса осветила впалые щеки.

В наспех наброшенном пиджаке, в туфлях на босую ногу, открыл дверь плотный господин с седоватой бородкой.

Лампа дрожала в руке.

— Товарищ... У нас вчера уже были ваши с обыском... — прыгающими губами говорил господин с бородкой.

— Давай оружие, какое есть! — готовой формулой начал Неизвестный Солдат. — Сами найдем — хуже будет!

— Откуда у нас оружие, товарищ солдат?.. Нет у нас оружия и никогда не было... — говорил трясущийся господин.

Он поставил лампу на стол и стал надевать пиджак в рукава, но руки никак не попадали куда надо.

Из двери, в пальто поверх белья и тоже в туфлях вышла поночному причесанная дама; за ней, держась друг за друга, выглядывали двое раздетых детей.

— Что вы врываетесь! Были уже ваши вчера... Ничего не нашли...

От трех солдат, от господина и дамы, снизу вверх, по стенам передней утолщались ломаные тени.

Винтовка Кравчука от пола до самой лампы ползла по темным красноватым обоям, штык пересек потолок.

Кравчуку было в этом что-то знакомо: красноватый свет и острие штыка наверху.

«Где это было?..» — напрягся он. И вдруг вспомнил давешний сон. Ему стало немного жутковато; он перемялся с ноги на ногу и отодвинул винтовку от лампы. Она неподходяще глухо стукнула о пол. Опять вернулась и, качнувшись, стала на место обыкновенная господская прихожая с красноватыми обоями, а не страшное кровавое поле под кровавым небом.

...Оттуда же — из небывалого — Кравчуку вспомнились небывалые слова Неизвестного Солдата про винтовку:

«Куды ты без ей годишься?..»

Перерыли шкафы, комоды, столы, сундуки, корзины — под

ненавидящим горящим женским взглядом, под несмолкающий детский плач в соседней комнате.

Когда вышли, Неизвестный Солдат досадливо сплюнул и выругался:

— Вас, партачей, хуш не бери на обыски... Михайленко, поддержи!

Михайленко, молодой белобрысый парень, взял винтовку и по-прежнему молча жался, посапывая. Жался посапывая и Кравчук.

Неизвестный Солдат вынул из-за поленища чуть помятую пачку новеньких керенок и стал рассматривать золотую брошку.

— Никакого дела с вами, двомя, не справишь...

11

Когда ночи бывали бессонными, интеллигент разговаривал с Высшим Существом.

Говорил с некоторым подобострастием, почтительно, потому что Высшее Существо было все-таки в облике человеческом.

Может быть, Оно существовало и в другой форме, но тогда бы с ним разговаривать было нельзя, потому что только в крепкое, в рожденное человеческое слово отливается явный кусочек того необъятного кипящего хаоса, который именуется сознанием; и только пролившись, отделившись, кусочек становится явным, мыслью.

А подобострастно интеллигент говорил потому, что с детства был воспитан в уважении к тем, кого принято было считать старшими.

Не было ничего ясного в этих разговорах и ничего странного, потому что каждый человек мира когда-нибудь, как-нибудь да говорит с теми, от кого, по его мнению, зависит судьба мира и судьба человеческая, и кто сам этим судьбам не подчиняется.

О трех вещах неясно говорил интеллигент с Высшим Существом: о Зиночке, о себе и об остальном мире.

О Зиночке — с жаром, с благодарностью за то, что она есть, с ежесекундной молитвой, чтоб убереглась, сохранилась бы, и — с подспудным страхом за каждый ее пальчик, за ее каждую — чужую — мысль.

О себе — холодноватей, с сознанием, что, вот он, как будто, и

делает то, что нужно и Высшему Существо, и Зиночке, и всему остальному миру.

Об остальном мире — с болью непоправимой, прустинской улыбкой, с легким скользющим презрением.

Каждый человек в глубине души немножко презирует весь остальной мир за то, что он, мир, существует от него, человека, отдельно и даже позволяет себе на него, человека, быть немного непохожим.

Они вращались, эти вещи, в заколдованном круге: когда отвлекался от одной, оказывалось, что входит другая.

Оттого ли, что в разговорах не было ничего явного, или оттого, что ясного ответа на все вопросы об этих вещах не могло быть, — никак не мог успокоиться интеллигент в бессонные ночи.

Ритмически храпел рядом Ильинский, и Борисов противно прищелпывал во сне губами.

Иногда, тускло чадая в душной хате, горела закопченная керосиновая лампочка, и от нее вздрагивали темные иконы и засиженный мухами крещенский парад с Александром и духовенством.

А вопросы были вот какие:

«Любит ли Зиночка, любила ли и будет ли любить?..»

«Почему в каком-нибудь неведомом Париже, какой-то неведомый человек, без борьбы и мук, в теплой комнате может спокойно обнимать любимую женщину?..»

«Как правильный: так как он, интеллигент, делает, — тело, какое имеет, с помещающейся в нем душой, всё дарит тому, что считает благом не только для себя, а для того, что кажется больше одной личной жизни. Или не так: в личную жизнь, как кусочек зеркальца, вделан весь остальной мир, и нет его, когда закрыты глаза и уши. И вот, может быть, нельзя все, всего себя, отдать за часть, за вделанный кусочек себя, за этот такой маленький, что помещается в душе и еще не всю занимает, мир.

Ритмически храпел Ильинский, и Высшее Существо руководило его дыханием, биением его сердца, и противными прищелпывающими губами Борисова, распределяло по рангам торжество крещения: впереди — император в голубой ленте, напротив — духовенство, позади императора — свита, на свите — черный, шевелящий усами таракан, за свитой — народ, мост и город.

Но интеллигенту Высшее Существо не отвечало. По крайней мере, ничего ясного в этих ответах не было.

12

Зиночка плохо помнила, как она вступила в эту новую для себя жизнь.

Было неожиданно, что она вошла в эту комнату, где находилось несколько солдат и накрашенных шумных женщин, которых ей всегда полагалось бояться.

Цеся сказала: *нужно* зайти.

— Мы только две минуты побудем... — сказала Цеся. — И не будем снимать шубок...

По красным лицам, по шумным голосам и блестящим глазам Зиночка поняла, что все немного пьяны, и ей стало не по себе.

Однако Цеся крепко держала ее похолодевшие пальчики и, действительно, войдя, объявила:

— Мы только на минутку... — Значит, надо было выдерж-
жать.

Солдат Зиночка видела только на парадах, или когда они не-
скончаемыми рядами проходили по порогу. Поэтому ей было не-
много странно наблюдать солдат вразвалку, у стола, и на диване,
неприлично обнимающих женщин.

Это было, точно из стройной машины вынули тяжелую сма-
занную шестерню, и она неловко взпромоzdилась, кое-где черная
от масла, кое-где — блестящая от работы, на тоненький легонь-
кий столик гостинной, на кружевную салфеточку.

Высокий, худой, со впалыми щеками солдат поднялся радо-
стно:

— Здравствуйте, барышни!.. Вот и вы до нас пожаловали...
Садитесь!.. Извиняюсь, как у нас не все, допустим, первый сорт.
Однако, между прочим, компания замечательная... Садитесь!.. —
суетился он. — Вот сюды, на диванчик... Посторонись, Муська, са-
ма не знаешь, что ли?..

— Мы... на минуточку... — нерешительно сказала Зиночка,
не выпуская Цесиных пальцев.

Цеся обернулась.

— Не гляди волком... Фу, какая ты! Сядь! Посидим немного...
Никто тебя не съест.

И Цеся потянула Зиночку к дивану. Наступила тишина.

Зиночке было неприятно и унизительно, что она в компании
этих женщин, и перед этими женщинами унизительно, что она —
гостья этих пьяных солдат. Худой солдат вымыл, взяв со стола,
два стаканчика, налил и поставил перед гостями.

— Что вы! — вспыхнула Зиночка. — Цеся, нам надо идти!

— Нельзя, барышня, — вразумляюще сказал худой солдат. — Ежели вы до нас зайшли, вы должны, извиняюсь, выпить... Мы вам не дозволяем выйти без этого... Понятно?.. — с печальной ядовитостью наклонил он голову, — наша компания вам не ндравится, не господская компания... Мы — люди простые, трудящие, кровь свою на фронте проливали...

Была противна обжигающая вонючая жидкость, которую Зиночка решила выпить сразу, чтобы сразу можно было уйти.

Когда она откашлялась и, вытерев слезы, огляделась, переводя дух от ожога в горле, заметила, что всё — комната, окно, эти солдаты, женщины, Цеся, как тучи при вспышках зарева, как неопытный пешеход по пахоти, как господская передняя с красными обоями, пожелавшая тягаться с небывалым кровавым полом, как дальняя Бета и дальняя Дельта, — всё медленно качается; то высовывается из сладкого бесформенного мутного тумана, то тает, прячется в сон, уходит в небытие.

Из тумана выступила Цеся — близкое, близкое лицо, которое оттуда, издалека сказало немного ласково, немного иронически:

— Ну, вот, видишь... Лучше стало. Не умерла?

Из неотчетливой колоды карт в неясных узловатых пальцах неясного игравшего в карты худого солдата выпала отчетливая карта: пиковый туз, и другой солдат ее неясно подобрал.

Потом было что-то смешное. Оттуда прилетели дружные взрывы смеха.

Зиночке стало досадно, что над ней смеются, и она, назло им, залпом, раз за разом, пила обжигающую жидкость, а высокий худой солдат, расстегнувшийся так, что вылезала прятная рубаша, сказал через туман:

— Ай да барышня! Вот, можно сказать, доказала!.. Куды все вы, лахудры, против ей годитесь...

Потом ее кто-то обнимал и целовал, щекоча усами и горячим винным дыханием. Было и страшно и сладко. Она сначала слабо отбивалась, потом решила, что — незначем, и было лень отбиваться: пусть делает, что хочет...

И только наутро, проснувшись на диване с нестерпимой жаждой, с тяжелой горькой головой, полураздетая — в разорванной блузке и смятой юбке — она увидела рядом, совсем близко, волосатую прудь Кравчука, услышала его храп и поняла, что вступила в новую жизнь.

13

Ту еду, какую удавалось подать на стол в сумерки, и которую, по старой привычке, называли обедом, старики теперь часто ели одни, безмолвно подбирая падавшие крошки. Однако в этот вечер случайно был Гриша, смирный сегодня и сосредоточенный.

В середине молчаливого обеда он вдруг спросил:

— А где Зина?

— С Цесей ушла. Не знаю. Что-то ее нет долго... — ответила мать.

И вечером и всю ночь Зины не было, а мать, в темноте, причитая, ходила до утра из угла в угол.

Наутро, осунувшаяся и серая, она сказала сыну:

— Гриша! Где же наша Зина? Боже мой!.. Боже мой!.. Ты не знаешь, где эта Цеся живет?..

— Ничего. Бегать начала. Пора! Взрослая уже девка... — сказал Гриша, надевая фуражку. И плакать Зинина мать осталась одна, потому что старик, как всегда, молчал в своем кресле.

Зина пришла днем.

— Зиночка! Что с тобой? Где ты была? — кинулась мать.

— Ничего... Оставь меня! — раздраженным голосом ответила Зина. — А была у Цеси...

У нее были припухшие красные глаза. Она бросила на стол свертки с продуктами и ушла спать.

За обедом Гриши не было. Обедали вдвоем. Когда старику налили в тарелку давно не виданного жирного, вкусно пахнущего супа, он ударил по столу кулаком так, что все пролилось и, не довольствуясь, швырнул тарелку на пол.

— Что ты?! — вскрикнула Зинина мама.

У старика, скосившего злые голубые глаза, из перекошенного рта выскочило к Зине короткое резкое слово. Оно, как ломоть, ударилось о стол и, как ломоть, закачалось в наступившей тишине.

У помертвевшей Зиночки закапали, быстро, быстро — в тарелку, на стол, на колени — тяжелые соленые капли; она вскочила, убежала в соседнюю комнату.

14

Человечество медленно шагало из хутора Малахина в Калитную. Лежал снег, и шаги были мягки по растрепанной сотнями ног дороге. В ранних сумерках, лениво качаясь, слетали на землю по-

следние небесные снежинки. И хотя считалось, что из хутора Ма-лахина в Калитную — двенадцать верст, не было конца и шагам, и дороге, и смутному белому полю.

Несмотря на то, что и эта дорога была одним из бесчисленных путей прогресса, и поэтому, несомненно, в конечном итоге вела к счастливому лучезарному будущему, — были угрюмы в сумерках запечатанные лица, и уныло, невпопад, висели на понурых плечах тяжелые винтовки.

Под мокрыми бровями в злых глазах поблескивала мудрая мысль:

«Как бы пожрать!..»

По бесконечной дороге, в сумерках, человечество вел недовольный бородатый подполковник, со смешной фамилией Лошадкин, со злыми бегающими глазками и с неофициальным прозвищем Пацок.

Он уныло горбился на тонкой лошади, бредшей сбоку дороги, по белой снежной целине.

Тугой башлык торчал стоймя, как у городских, подпирал бороденку и наглухо припайвал голову к остальной тщедушной фигуре. Сзади, унылый как начальство, так же сгорбившись, ехал долговязый адъютант.

— Вася! — позвал его из рядов поручик Ильинский, и тот поехал рядом, наклонясь для разговора.

— Скажи Пацоку, что мы не туда идем, — вполголоса, на ходу говорил Ильинский. — Я знаю эту дорогу. Надо было свернуть вправо. А так мы попадем в Кринды, верст семь крюку...

— Поди сам скажи ему! — раздраженно, не останавливая лошади, вполголоса говорил адъютант. — У Пацока сейчас ревматизм разыгрался... К нему теперь сам чёрт не подскочит.

Заблудившееся в сумерках человечество медленно шло по пустому белому полю, может, в Калитную, может, в Кринды. И избылший интеллигент знал, что бесконечны шаги, бескрайно поле, а под намокшей худой папахой мудрая поблескивает мысль:

«Как бы пожрать!..»

Приглаживая Зинины растрепанные волосы, Кравчук сказал рассудительно:

— Не плачь, Зинка... Что ж, ты девка хорошая... Я для тебе квартиру съему... Я — понимающий, ежели есть сурьезность, и

друзей не очень до себе допускать буду, которые насчет пьянства или безобразия...

Они стали жить за базаром и за Кирпичной, где двухэтажный дом, гадалка и пиковый туз, — в одноэтажном домике с палисадником, ставнями и крылечком из резных столбиков. Проходить надо было через кухню, где хозяйка всегда что-то варила или мыла посуду, напевая неясные песни.

Мать свою Зиночка увидела много позже. На базаре, из ряда, где стоят продающие с рук, она сама вышла к Зине, похудевшая, с обвалившимися щеками. Подойдя вплотную, упорно глядя в зрачки дочери, она торжественно сказала:

— Умер отец твой, Зина. На прошлой неделе похоронили...

16

Часто, когда интеллигент с кем-нибудь разговаривал, он казался рассеянным; на вопросы отвечал невпопад, а сам, разговаривая, думал о том, как он — вот об этом — расскажет Зиночке, и о том, что она скажет по этому поводу: улыбнется ли милой своей улыбкой, нахмурится или сморщит брови: — скучно... неужели тебе интересно об этом рассказывать?

Когда приходит любовь, мир суживается так, что остается только щелочка. Только через эту щелочку можно смотреть на всё: на леса и поля, на других людей, на их не такую любовь, на неизбежную смерть, на холод, на грязь, на юлнце и на звезды.

Но от того, кого любишь, от того, что на свете самое большое и самое близкое, падает луч на эту щелочку. Так что только сквозь луч видны все эти вещи. А тогда и холод, и люди, и звезды становятся теплей и радостней.

А любовь расцветает, расправляется от снов. Не было — приухла, раздавленная обыкновенными всякими днями, и вдруг, от сна, расцвела, омылась и опять — светлая, блистающая.

Интеллигент снова видел Зиночку во сне. Конечно, она была немножко новая. Но и немножко старая.

Даже какая была, он себе точно представить не мог: как когда-то в темной теплушке — качались, не складываясь, милые черты. Но он знал, что это была Зиночка, так было тепло и радостно, а разве нужно что больше?

И вот, уже в который раз, он горячо благодарил Высшее Существо за то, что, создавая мир и людей, распределяя множественные пути судеб, Оно, среди прочих дел, потрудились над тем, что-

бы создать Зиночку, должным путем направить ее жизнь и ежедневно заботиться, чтобы созданная и направляемая Зиночка сохранилась.

Сейчас, после сна, особенно расправленной, омытой любовью любил он Зиночку и твердо знал, что она, далекая, не может не быть с ним.

Небо только притворялось хмурым. Дождик был ласковым, а каждый проходивший, даже очень измощенный и злой, был дорогим, почти братом.

Совсем без нужды он старался каждого проходящего остановить, сказать ему что-нибудь хорошее, задушевное; слегка удивлялся, когда раздавались иногда прубые хриплые ответы; разговаривая, часто отвечал невпопад и от этого казался рассеянным.

17

В простенке, в стороне, где раньше стоял боченок с кипяченой водой, а теперь осталась только цепь от кружки, жалась заплаканная, в черной бархатной шубке и в платочке Зиночка. Она пряталась ото всех и — удачно, потому что никому не было дела до нее и до ее слез. И так многие плакали, кто не плакал — смотрел в любимое лицо кроткими, покорными, покрасневшими глазами, стараясь все мелочи, всё покрепче запомнить, спрятать поглубже у себя в опустошаемой душе.

В вагонах гремела гармошка, и пели где «Яблочко», где «Улицу». Широкая юдольная песня смешивалась с переступом конских копыт по вагонным доскам, с перебивающим топотом танцев, и в аритмике была своя прелесть, потому что родней человеческой душе неровность, обивчивость, ошибка, сладкий надлом и нестройный гул толпы, чем холодная мерность трезвучий, длительная плавность од и однообразное бесконечное вращение далеких солнц.

Из двери теплушки выплянула лошадиная морда, и какая-то рука ласково ее потрепала.

— Тоже прощеваетесь, Мишка?

Кравчук подошел покрасневшийся, шинель в накидку, обнял Зиночку.

— Убиваетесь зря... Может, вернусь еще... — сказал он нерешительным, не особенно верящим себе голосом.

— Истребим гадов... Империалистическую банду кровопивцев!

Зиночке на мгновение вспомнились голубые навывкате глаза,

которые она уже не увидит. Об интеллигенте она совсем не вспомнила.

А впрочем, сейчас ей было всё, всё равно. Налливали горячие и соленые слезы. Падали, стекая по мокрым щекам, но она их не замечала и не вытирала.

— Гаврюша... — сказала она и запнулась. Не могла сказать ни слова, а прильнула к серой шершавой шинели.

На нее пахло теплым спиртным перегаром, но от слез стало легче.

— Ты — пьяный? — подняла она глаза.

— Как можно не выпить сегодня? Тут товарищи угощают... — сказал Кравчук, потихоньку освобождаясь от нее.

Когда он отходил, она поймала его за рукав и опять потянула к себе.

— Пусти... в вагон кличуть, — сказал Кравчук. Но и когда он отошел, она маленькими крестиками крестила и место, где он был, и его уходящую спину, а ставшие тонкими губы повторяли:

— Помоги, Боже! Благослови, Боже!..

Когда красная змея уплыла, и видно было только последний вагон и вздернутую за ним пыль, тонкие губы ее всё так же шептали:

— Помоги, Боже! Благослови, Боже! — а пальцы мелко крестили то пустое место, которое несколько минут перед этим было Кравчуком, и дальний уменьшающийся поезд.

Может быть, пролетевшая звездная секундочка сорвала с дальней Бегы маленький слабый луч света, пронесла его сквозь неписанные пространства и стукнула о темный шарик.

И может быть, луч ударился о выпуклость земли, о пыль поезда, о Зиновкины распухшие веки и отскочил, унося в пространство совсем пространству ненужную историю о ненужной и разбитой как ненужная аритмической человеческой любви.

А вернее, что этого вовсе не случилось.

В вагоне Кравчука спросили:

— Рассказывай, с кем это ты на станции так обнимался?..

Он равнодушно ответил:

— Так, барышня одна... Любились... Образованная...

Потом, когда он, выиграв в карты, повеселел, ему сказали:

— Что ж ты, товарищ Кравчук, такой веселый стал? А на станции — как обнимался? Неужто не жалко?

— На этих, ежели всех жалеть, и жаления не хватит...

Однако поднялся и стал у раскрытой двери, придерживая шапку, смотреть, как медленно ползут назад, в прошлое, поля, леса, деревни и одинокие железнодорожные будки.

18

— Ну, как же автор? — ядовито спросил интеллигент с маленькой улыбкой глазами, вроде как бы из-под пеньки, как когда-то в давнем провинциальном городе улыбался. Но — пеньки не было, провинциального города тоже; поэтому улыбка вышла не такая уже всезнающая и ядовитая, а скорее — немного жалкая.

— Да что ж... — сказал лейтенант. — Ведь мы живем так, вскользь, мимоходом, как выйдет, а вы думаете, ему-то легко в наши случайные обмолвки, в несчитанные слова, в немерянные наши шаги всунуть какой-то добродетельный смысл? Возился бы с вещами серьезными, стоящими: с Бетами и Дельтами созвездий, с их ритмическим четким бегом, с их грандиозными космическими столкновениями, так нет, — выдумал нас, маленьких, неудобных, юрких, с бородами, вшами, винтовками, с немудреными мыслишками, с оставленными невестами... И — пустил по свету. А будет ли прок от нас, думаю, — не знает... Одно, знай, — сидит бессонные ночи над ворохом бумаги.

— А вы думаете — сидит? — опять хитро спросил интеллигент.

— На кой же чёрт он сдался, если не сидит... — раздраженно ответил лейтенант.

— Да что вас, в самом деле, заело на этом самом авторе? — сказал интеллигент. — Мудрите вы очень. Живите, лучше, как выходит... Жрите, если есть что. Стреляйте. Слушайтесь начальства. Я вас уверяю, что сейчас, в конце концов, вы делаете благое дело. И даже если отдадите жизнь, верьте, — не зря...

Самым доньшком души интеллигент подумал, что лейтенант, бедный, живет, все-таки, впустую, ни для кого. И некому ему всё, всю жизнь рассказать. Еще подумал, что вот он, интеллигент, имеет цель, знает, за что и за кого дерется. И, главное, ему, интеллигенту, будет кому всё, всю жизнь рассказать.

Лейтенант начал сухо, притоптывая на ходу шагами каждое слово:

— Милостивый государь, это нарочно, очень нарочно между сырым человеком и бездушной ритмической природой поставлен автор. Нужен посредник между глупыми маховиками и умными людьми. Понятный посредник, чтобы поговорить, объяснить и за-

щитить мог. Одним словом, по образу и подобию человеческому посредник. А то, подумайте, одним-то разве не страшно среди этих разогнавшихся, неизмеримых и невообразимых маховиков? Ведь они же равномерно и безостановочно движутся: из неопикуемой дали над хрупкой головой, над хлытым тельцем возносятся, взмахом пролетают, чтобы уйти опять в неопикуемые дали...

В походке лейтенанта, в голосе, в округлостях периодов ясно ощущалось, что героически настроен лейтенант, что будет еще говорить о вещах значительных, грандиозных и кончит не скоро.

— Подумайте, кто же иначе объяснит, ну, хоть вам, тайный и несомненный смысл мироздания, и эти глухие изогнутые кольца судеб, и причины и следствия разных столкновений?.. Это же автору полагается дирижировать тем, что ускользает от неизменного смысла нас, действующих актеришек: мудро распределять события сообразно с обстоятельствами, увеличивая или уменьшая их смысл, собирать артистов покрупнее и мелких статистов для изображения той или иной сцены. Предположим, например, что он начинает рассказ об обыкновенной такой судьбишке. Возможно даже, что обозначит обстоятельства рождения... Или изобразит привычки, вкус... Возьмет другого и тоже постарается вылепить его из какого-то ничего, из красной глины. Потом, из мотка нераспутанных, глупо пересекающихся всяких судеб, выудит избранные, достойные внимания, подаренные одному и другому судьбы какого-нибудь заметного цвета. Ну хоть — белого и красного. Женщину выплетет между: необходимо дать движение, некоторую жизнь застоявшимся непоправимым водам только мужской судьбы.

И все это для того, чтобы объяснить один маленький узелок, где все эти судьбы, обыкновенные, но избранные и красиво окрашенные судьбы спутаются вместе, встретятся так же, как ежеминутно везде, но непонятно и случайно, встречаются всякие другие — ненужные и неокрашенные серые нитки...

Только тогда из ниток нескольких обыденных судьбишек, из женщин, вкусов, привычек и светил — из всего — любознательный читатель уловит тонкий и величественный смысл мироздания.

А что бы мог сделать читатель сам, без мудрого автора?.. Какой смысл без этого самого автора могли бы иметь непрерывные страшные пути, их пересечения и столкновения?..

Какое удовлетворение могло бы дать возвышенному уму читателя созерцание безалаберных и совершенно бессмысленных движений?..

Под ногами хрустел ночной крепкий снег. Было поздно и темно. Кривые неогороженные домишки нахохлились по бокам широкой деревенской улицы. Там, в душных каморках, вповалку, тяжело дыша, спали, накрывшись, одинаковые, неокрашенные, случайно спутавшиеся вместе, обыкновенные судьбишки.

На небе были не те торжественные, страшные, размахнувшиеся светила, о которых говорил лейтенант, а мелкие невысокие, по-зимнему приветливо мигающие, обыкновенные звезды.

— Ишь, как вызвездило... Должно быть — к морозу, — сказал интеллигент.

— Гм... — промылчал лейтенант.

В большой хате на углу, где был штаб, одиноко горел свет, тремя пятнами спрыгивая с замерзших окон на белую дорогу. У крыльца, спешившись, стоял закутанный конный ординарец. Он притаптывал ногами и, не выпуская поводьев, поочередно дул в кулаки, потому что было холодно.

Было тихо: ни выстрела на постах, ни голоса в деревне. Только на окраине, лениво и нерешительно, выла собака. Может — на мороз, может — на близкие звезды, может — просто была недовольна скучной собачьей судьбой. То переставала, то принималась сызнова...

19

И вот: опять чуть-чуть передвинулись дельты, беты, альфы и омеги, но в небе все-таки было так же просторно, и почти ничего не изменилось.

На земле уже давно лежал сухой зимний снег, и былинки прошлогодней травы робко высывались в темных плешинах и покорно качались от ветра.

Прибавилась еще одна новая звезда, красная, на шапке Кравчука, но куда она движется: от чего уходит и к чему приближается, не знал никто. И никому не знал — Альфа это или Омега.

Сам Кравчук выяснением этого не занимался.

Хотя он теперь знал много новых вкусных слов, но, не признаваясь самому себе, употреблять их побаивался. Да и вообще размышлять об этом ему уж совсем было некогда.

Впрочем, лежа на спине и глядя в черное звездное небо, он сказал соседу:

— Какое такое есть оно, небо?... Поглядишь на его, а оно вроде как качается... То подастся, то — ровно, опять накроет... Глянь!

Подождав, опять сказал:

— И что оно есть звезды? Вот тая, махонькая... Уж, поди, щуплая, а тоже жить хочет... Глянь как попыхивает... Слышишь?

— Гм!.. — пробурчал сосед, поправляя винтовку.

Кравчук помолчал и опять сказал:

— Ишь, как его вызвездило... К морозу... Слышь!.. Мороз какой завтра...

Толкнул соседа.

— Гм!..

Лежали они в секрете, под грузным бугром, на снегу. И Кравчук боялся: не ушли, не забыли бы наши... А по временам дул в избывшие кулаки.

Хотя и многое переменилось на земле, но, в сущности, всё на тож повернулось для Кравчука:

за неведомое, хотя, кажется, и близкое счастье, утопал в грязи по хлипким осенним дорогам; на тусклом поле рассылался в атаку под визжащим потоком стали, стрелял, колот, бежал, рыл, прятался, гнил, чесался от вшей и на отдыхе неистово врал у костра.

Всё это было потому, что был защитником революции и всех трудящихся от врагов: мировой буржуазии, помещиков, офицеров и попов. Счастье, свое счастье, было совсем близко, около, но все-таки по-настоящему, пока еще вроде как никакого счастья не выходило.

20

Рядом, сморщив от напряжения и усталости пыльное лицо, шагал Ильинский. Винтовка отвалилась далеко за спину. Ворот был расстегнут, а по спине проступал пот.

Интеллигент посмотрел на Ильинского и, по привычке, подумал, что он о нем расскажет Зиночке:

— Знаете, тот Ильинский, всегдашний сосед, про которого я вам рассказывал, — ковыляет, значит, пыльный, сморщенный... если б вы только видели его рожу... — И тут звонко расхохотаться должна была Зиночка, оттого что у неизвестного ей Ильинского была запыленная рожа и, вероятно, еще оттого, что он, ее любимый, говорит ей какие-то, всё равно, какие, слова.

Ильинский, не поворачиваясь, сказал:

— Будь они прокляты со своей Паньковкой и с их идиотскими перебросками... Как бирюльки...

— Да вот же Паньковка... Пришли, ведь! — улыбался интеллигент.

— Мало что пришли... А где квартирьеры? Молоко пьют... Придешь усталый, как собака, и — жди этих сволочей... А отведут какой-нибудь вонючий свинушник.

С порога хат, подпершись рукой, неодобрительно смотрели бабы. У них еще были деловито подоткнуты юбки, но уже ясно было, что деловитая и ровная жизнь, такая, как вчера и раньше, и много раньше — закачалась.

По пыльной улице взад и вперед носились всадники. Ступнутые куры спасались, перелетая через заборы; неаккуратным, тревожным лаем до хрипа лаяли псы; свиньи, выгнанные из насиженных луж посреди дороги, метались, где не следует и, под веселое улюлюканье, бросались в сторону.

У колодца стояла толпа. Запыленные, усталые люди старались добраться до ведра. Добравшийся припадал и вкусно, как мужики, тянул воду, останавливался, переводил дух, оглядывая все бессмысленными глазами, вытирал рукой рот и вздыхал, напившись до отказа. Ведро переходило к следующему, а этот отходил, тяжелый и гнусный. Потому что, если нет в мире радости, слаще утоления жажды, то и нет в мире гнуснее лица, насладившегося до отказа.

Интеллигент стоял в толпе, дожидаясь своей очереди, когда сзади его тронули за плечо, и знакомый голос сказал:

— А, вот вы где! Видите, встретились... — лейтенант приветливо улыбался. — Пойдемте поговорить... Курить хотите? Что? Квартирьеров ждете? Долго их ждать: деревня крохотная, а здесь будет вся наша дивизия. Я уже был там: ссорятся.

Они пошли по огородам туда, где кончалась деревня. Под ногами путались, мешая шагам, какие-то стебли, желтые огурцы, желтые дыни и покрытые сухой корочкой грядки мягкой глины.

Белый амбар вытянул в поле длинную белую спину.

— Вон там, в тени, и сядем, — сказал лейтенант.

— Ну, как? — спросил интеллигент, закуривая.

— Да ничего... Как полагается: живем, ходим и стреляем... Начальство слушаемся, — немного погодя добавил он, с усмешкой повторяя недавние наставительные слова интеллигента.

— Я ваш полк встречал на прошлой неделе у Верховья. Рядом же мы были... Жаль, что не знал, что вы там...

— Тяжело, знаете, в пехоте... Непривычный я человек... — сказал лейтенант, сдувая пепел.

Интеллигент лукаво улыбнулся.

— Ничего не поделаете. Война... Революция... Помните:

...Ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила...

— может, и не точно процитировал; важно только, что пролился громокипящий Зевесов кубок. От этого люди зажглись олимпийским огнем и могут делать то, что обыкновенно не могли бы сделать.

И вдруг, говоря, интеллигент вспомнил давние, теперь уже пожелтевшие слова:

— А, что ж... и теория Эйнштейна должна уйти, покориться оттого, что не сданы обратно в цейхгауз розданные на руки винтовки?.. — и почувствовал, что он не совсем прав. Однако скорее по инерции, он добавил:

— Ничего не попишете, милый мой: война, революция...

— Вздор! — резко сказал исподлобья внимательно смотревший лейтенант. — Войны нет. Революции — тоже. Война была, когда под горой, в лесу жили Ли-гу, что означало «лесные люди», а напротив, на горе, жили Ху-гу, что означало «горные люди».

Ли-гу были выше ростом и носили звериную шкуру через правое плечо, Ху-гу же носили звериную шкуру через левое и были ростом чуть пониже... Когда не оставалось еды, Ли-гу, лесные люди, шли на охоту и приносили в свой поселок окровавленные туши. Когда у Ху-гу не оставалось еды, они собирались, спускались со своей горы и убивали всех, кого не знали по имени, кто был ростом повыше и шкуру носил через правое плечо. Никому не надо было учиться — как, кого и почему убивать.

Революция тоже была, когда Эн-го, что в переводе значит «Змеиный Зуб», второй сын третьей жены вождя подходил с пятью друзьями к отцу и, взяв его за бороду, дубиной раскраивал ему череп. К нему на четвереньках подползал колдун и умолял оставить ему жизнь, потому что знал, что теперь персонально от Эн-го зависит оставить ему, колдуну, персональную его жизнь. Потом к Эн-го подползали пятнадцать жен убитого вождя, и он, оставляя лучших себе, делил остальных между друзьями. Никаких разговоров — кто прав или неправ — не было. Все знали, что у Эн-го самая хорошая и опасная дубина, и у его друзей — тоже...

— Ну, что? Разместились?.. — крикнул вдруг лейтенант проходившему по дороге человеку.

— До сих пор ссорятся... Идите! Кажется, обед раздают! — находу прокричал тот.

— Художник один... нашей роты... — пояснил лейтенант. — Так вот, — знали, что у них самые опасные дубины... А теперь, если сто двадцать мужиков с винтовками, подчиняясь молодому человеку, выходят рано утром в покрытое росой поле, они только для лучшего страха врагам называются ротой. Ведь они будут стрелять и умирать только за:

Войну против войны...

либо за:

Освобождение угнетенных народностей...

либо за:

Распространение своей, обязательно — высшей, культуры.

И даже, в сущности, будут умирать и стрелять, только подчиняясь воле означенного молодого человека.

...А не за свое персональное человеческое счастье... И вот поэтому им нужно будет долго объяснять, где в пустом поле противник, как он одет, почему он враг, и кто на кого напал...

Революция — тоже.

Надо стрелять не для того, чтобы лично ему, этому человеку с приятелями, попала власть и чужие жены, а за какое-то:

«Долой хижины и дворцы!..»

за

«Самоопределение аннексий и контрибуций!..»

за

«Мир советам и депутатам!..»

А не за

Разделение Императорского балета!..

И не за

Расхищение Озерного базара!..

И опять, близорукими глазами стараясь поглубже взглянуться в собеседника, интеллигент хитро спросил:

— А где же автор?

— Вот тут-то и автор... — сказал лейтенант и придвинулся поближе.

— ...Можно ли про некоторого рабочего, который всю жизнь у станка режет болты литера Д, № 5 сказать, что он делает автомобиль? — лейтенант выпуклыми голубыми глазами строго вглядывался в лицо собеседника. — Да — чёрта ли он, этот рабочий, понимает в автомобилях? Пока в сборочной его болт не войдет в свое гнездо, и пока рабочему этого не покажут, он, может, и не знает, куда их, столько болтов литера Д, № 5.

Ну какой же у него, милостивый государь, может быть пафос творчества?..

Конечно, если условиться, что войну и революцию создали некие персональные авторы, то прочитав, можно и свой винтик отыскать. Но как это так — поверить неизвестному автору? А что как врёт: не революция, а всеобщая заразная повальная болезнь? Или — продолжительный танцевальный вечер с маскарадом?.. А мы-то ходим и стреляем!.. Неточно это, милостивый государь!

Вот тут-то и автор. С автором раньше ясно было. Раньше весь мир живой был. Живое извивающееся солнце, непроставшись, недовольное, красное выходило из-за дымного белесого зимнего леса. А навстречу, по таежной тропинке, жмурясь и кривляясь, то ползком, то вприпрыжку, крался утренний человек. Он бил себя руками в волосатую грудь. По-звериному поблескивали маленькие близкие глаза. Под покатым лбом поблескивала мудрая мысль: «Хорошо бы на заре незаметно подкрасться к тропинке, по которой ходит это вкусное солнце, выждать его и пронзить его дроптиком...»

...Тогда-то живым, извивающимся миром, может, и управлял недовольный, непроставшийся автор: дирижировал тем, что ускользает от низменного смысла действующих актеришек, мудро распределял события, инсценировал эпизоды, собирая крупных актеров и статистов.

А теперь, когда все качается, как машина на ходу, разве можно, — в машине, — полюбить один винтик и назвать его: «Коротышка»... Или — «Покинутая невеста», или «Блестященький»... Или «Интеллигент с неокрашенной судьбой». И затем любовно отыскивать смысл их путей в бешеном машинном ходе?..

Ведь, может, — только одна машина, а никакого автора и нет?.. Я! — вдруг поднялся лейтенант и замахал кому-то рукой. — Слышите! Зовут!.. — наклонился он к интеллигенту. — Может, выступать... Иду!!! — крикнул. — Ну, увидимся еще!.. — махнул интеллигенту находу рукой.

Долгополтая шинель закачалась по прыдкам: по каким-то травам, по желтым огурцам и по желтым дыням.

Интеллигент видел сон. В предрассветном сумраке, когда все равно синее, когда земля смутная и безразмерная, как небо, а небо — тяжелое и липкое, как земля, неясные, молчаливые, без конца подходили батальоны. Люди были в тяжелых надвинутых кру-

глых шлемах и в подвернутых, как у французов, синих шинелях. По вязкой темной земле негулками были ритмические тысячи шагов. Под шлемами — неясны были молчаливые запертые лица. Неясно было, откуда они приходили, эти сомкнутые молчаливые колонны.

Совсем безмолвно они поворачивались и, — совсем безмолвно, рядами — уходили туда, где в белесой синеве неясно, почти незаметно обозначался зеленоватый восток.

Там они начинали размыкаться в безмолвии, эти густые шеренги, и исчезали, уходя: таяли, окунаясь в сумрак.

Было нестерпимо зловещим и небо, которое еще не отделилось от земли, и безмолвная пустая синева, потлощавшая ряды.

Интеллигент знал, что там происходит что-то непоправимо ужасное, что эти сумрачные молчащие люди, которые сейчас вот здесь — уйдут туда, в пустоту, куда ушли и уже не вернутся другие бесчисленные, неясные, молчаливые ряды.

Конца им не было, и *оттуда* никто не возвращался.

От всего: от пустоты, от безмерности неба и земли, ровных непромокших шагов — смутная, но совсем непоправимая тяжесть ложилась на интеллигента; прижимала его, расплющивала, вдавливала, как песчинку, в мягкую сырую землю.

Вероятно, потому, что родней человеческой душе неровность, обивчивость, говор толпы, чем глухой ритмический гул неясных, но обреченных шагов, холод предутренних сумерок и ничем не заполнимая тихая пустота.

22

О гибели лейтенанта интеллигент узнал совсем случайно, а вот зря ли погиб лейтенант или не зря — так и не было выяснено.

Когда-то давно, в разговоре, интеллигент высказывался, что, мол, если лейтенант и отдаст жизнь за то дело, за которое борется, то, чтобы верил, что — не зря.

Повстречался Вадя. Он говорил скороговоркой: высоким-высоким тенорком по верху оглаживал пространство. От тенорка и от Вадиного белобрысого, в веснушках, лица, которое казалось мальчишеским, становилось легче, — была в нем какая-то легкость чрезвычайная.

Прямо представлялось: вот так порхает Вадя над нелепкими, в полном снаряжении, своими приятелями, над приплюснутыми от смутной тяжести деревнями и над этими приземистыми своими и чужими днями.

Вадя был художником. Интеллигенту пришлось встречаться с ним только в присутствии лейтенанта, с которым Вадя служил. Знал его мало. Знал только от других, что он хороший художник, а от себя, что он вот такой легкий.

Вадя подошел весело: походкой легкой и радостной. Легко и радостно сказал, словно предвкушая вкусный эффект:

— Лейтенант-то наш покойный как бы пофилософствовал...

— Почему — покойный? — недоумевающе спросил интеллигент и по привычке прищурил глаза.

Вадя совсем расплылся радостной улыбкой:

— Как? Разве вы не знали? Еще на прошлой неделе... — и Вадя легко и радостно затараторил: о том, как стреляли с колена, как попала пуля, как лейтенант, уже убитый, остался стоять на колене один среди лежащих трупов, потому что все, не оглядываясь, — некогда было, — прошли вперед.

И вот тут Вадя добавил:

— Хороший человек был! Зря пропал!..

— Почему — зря?

— Да сколько ему говорили, чтоб не носил своих морских блестящих погон. По-своему всё, по-морскому считал... А погоны хуже всего... Видны далеко, особенно при солнце... С ним рядом в цепи никто идти не хотел. По погонам ведь целили... Зря пропал человек!.. — Вадя покачал головой.

Таким образом, мнения о том, зря ли отдана жизнь или не зря, разделились.

Но легкий Вадин голос радостно по верху отлаживал пространство. Легкое летнее солнце легкими золотистыми лучами пронизывало веселую радостную землю, затопляя лучами какие-то неуклюжие, носящиеся в пустоте мертвые каменные тяжелые промады отдельных скучных светил и тяжелые пути несущихся и сталкивающихся в пустоте скучных отдельных человеческих судеб.

23

Вопрос метафизический:

— Вольный или по мобилизации?..

— метафизический потому, что разве не к метафизическим элементам принадлежит та узкая недолгая тропинка, которая отделяет то, что называют бытием, от того, что называют небытием?..

— Вольный... — неохотное слово, сквозь сжатые зубы трудно и упрямому выплещиваемое. Медленно. Не сразу.

— Вольный... — значит осталось только через пыльную дорогу перейти, да — раздеться, да — повернуться лицом туда, где белая, уже в пятнах, стенка, где скорчились в нижнем белье другие вольные; совсем малая чутка осталась; по мобилизации, — значит, опять защитником.

А ведь всё равно, что ни защищай: под бутром гнить, бежать, стрелять, бить вшей и врать у костра.

Так и качались люди между двумя словами, между бытием и небытием; одни оставались наверху — ловить еще один день, еще один луч солнца и дальней Беты, других втягивала сырая черная пахнувшая безразличная земля.

Люди качались между:

— Вольный и по мобилизации.

— Вольной?.. Сознаешься!? — ударил казак.

— Невольной... Счастья своего искал... Развяжи!.. — хрипел Кравчук. — Каждой человек счастья своего искать хочет...

— Твое счастье разбойничье, дымное... — сказал казак.

— А твое — полное, надсадное...

— Ух, стервец!.. Еще огрызаешься!.. А скольких расстрелял?..

— Может, расстрелял — не упомяну... А что расстреливал — расстреливал... И вы меня расстреляете...

— Там разберут... — сказал казак и ударил с коня по жалкой пыльной толпе нагайкой, не по кому-нибудь, а так, для острастки. Толпа, как стадо, шарахнулась. Притгнулись.

У одного стелела фуражка, но он ее поднял и стал сбивать с нее пыль.

24

Разговор:

— Я не могу... Я не палач, господин полковник...

— Здесь нет палачей, вы забываетесь...

— Но есть другие... Любители, которые сделают то, что я не могу...

— Вы это не можете, а — можете и сделаете... Об этом нечего разговаривать, а вот я вас вызвал к себе и сейчас разговариваю, чтобы вы поняли, почему я настаиваю, чтобы именно вы это сделали... Потрудитесь ответить на вопрос: — считаете ли вы наше дело правым или нет?

— Я — доброволец, господин полковник, я не был бы здесь, если бы не считал его правым...

— Я тоже так думаю. Теперь, если представители того, что заменяет государственный аппарат, вынесли некоторый приговор, то они вынесли его как частные люди — полковник Н., капитан Б., ротмистр В., или как безымянные члены суда?

— Я думаю, что законный приговор могут вынести только члены суда.

— Так ведь они законно назначены представителями той власти, которую вы только что признали законной. Так законны ли такие члены и их приговор?

— Так точно, господин полковник...

— Так вот слушайте... Я лично, присвоенной мне властью, мог приказать расстрелять этого человека. Имел на это юридическое и фактическое право, потому что он и не думает отказываться от тех своих действий, которые по существующим законам и распоряжениям власти, признаваемой нами за верховную, и по узаконенным обычаям считаются преступлением и караются смертной казнью. Но я не хотел, чтобы я, один человек, полковник такой-то, пользовался правом единоличного распоряжения судьбой другого человека. Один человек может быть небеспристрастным. Я назначил безразличных мне и тому человеку лиц, чтобы они — на данное время и в данных границах — были этой самой верховной властью. Надеюсь, вам все понятно?..

— Так точно, господин полковник...

— Теперь — дальше. Законный приговор вынесен. Правда? Подлежит он исполнению?

— Так точно...

— Почему же вы отказываетесь?

— Я не могу расстреливать, господин полковник...

— Это не вы будете расстреливать; это наша государственная власть будет расстреливать. А вы при этом не больше, чем винтик в машине...

— Но, господин полковник, есть любители, желающие...

— Как! Из серьезного и тяжелого государственного акта вы хотите сделать забаву для каких-то потерявших человеческое достоинство людей?!

— Я хотел, господин полковник...

— Помните, что с той минуты, как вы здесь, в наших рядах, вы всё равно расстреливаете тем самым, что вы находитесь в наших рядах. А вас именно я не сменю с этого, потому что смотрю на это как на тяжкую обязанность, от которой никто не может отказаться, если ему выпала очередь.

Посудите сами: что будет, если из всего круга своих обязанностей каждый будет выполнять только то, что ему нравится?

Как вы, образованный человек, не хотите понять, что за жизнь расстрелянного совершенно равно отвечает и тот, кто подписал приговор, и тот, кто нажал собачку револьвера, тот, кто взял его в плен, и даже тот, кто, спрятавшись за нашими спинами, там, в тылу, делает свои личные дела, торгует, например, пользуясь тем правом, которое мы ему принесли...

Явитесь ко мне доложить о выполнении наряда! Можете идти!..

Когда интеллигент проходил через канцелярию, адъютант, писавший у стола, повернул голову:

— Что? Насчет вывода в расход разговаривал? Это вам не Пацюк... Генштаб!

Интеллигент мрачно вошел в хату и взял револьвер. Его приятель Ильинский без гимнастерки, мелькая голым локтем из рваного рукава грязной нижней рубахи, спокойно и деловито жарил яичницу.

Ему захотелось сказать Ильинскому, что гнусно жарить спокойно яичницу, когда вот сейчас кончатся минуты человеческой жизни. О, как ему был сейчас ненавистен Ильинский своим спокойствием и будничной тупой внимательностью к брюху! Но он не сказал ничего. Вынул револьвер и, нарочно медленно перекладывая его из руки в руку, хотел обратить на себя внимание. Но Ильинский был так занят своей яичницей, что ничего не заметил: ни нарочного револьвера, ни взгляда. Ни того, как интеллигент выходил.

Уже совсем подходили к длинной белой, в пятнах, стенке амбара, где деревня кончается и начинаются огороды, когда встретился знакомый казак.

Он, в черном бешмете, лениво ступал мягкими чувяками по дорожной пыли и, увидев интеллигента, поздоровался. Спросил, лениво пожевывая:

— Что? Ведете?..

Бледный интеллигент ничего не ответил, а казак остановился и стал смотреть.

Когда Кравчук стал лицом к стенке, и рука с револьвером начала дрожжа подниматься, следивший казак вдруг крикнул:

— Стойте!.. А сапоги?..

Подожел к интеллигенту с презрением:

— Эх, вы!.. И этого не умеете!.. Что ж им пропадать, что ли?..

А Кравчуку:

— Эй, друг, скидывай сапоги!

Сапог долго не слезал, и Кравчук, снимая, смешно прыгал на одной ноге от неустойчивости.

С сапогом сползли какие-то тряпки и куски истертой бумаги.

Казак забрал сапоги и постукал пальцем у уха, — хороши ли подметки. Интеллигент, ничего не видя, выпустил подряд, в упор, в темные, слежавшиеся, полные соломы, волосы затылка всю обойму, бросил револьвер и, ничего не видя, пошел по огородам. Под ногами путались, мешая шагам, какие-то травы, желтые огурцы, желтые дыни и грядки мягкой податливой земли.

Вернулся он не скоро. Мирное солнце садилось за левадой. Небо было чистым, розово-золотистым с одной стороны и синеватым гуще и гуще по краю другой. Над бесконечным полем роились те спокойные, чуть-чуть прустные, но ласковые звуки и те сладкие запахи, которые всегда рождаются вместе с теплым оранжевым закатным ветерком.

Он не мог не пройти мимо длинного амбара, но на знакомом месте ожидаемого скорченного тела в защитном он не увидел.

Только подойдя ближе, он увидал человека, уже немного в стороне. Человек был перевернут навзничь, лежал, раскинувшись, в одном нижнем белье.

Когда интеллигент шел уже между хатами, по широкой деревенской улице, он заметил на своем правом рукаве темные засохшие брызги крови и мозга и понял, что мир, действительно, качается.

По привычке он подумал, как он будет об этом рассказывать Зиночке, но в мыслях заплутался и решил, что об этом он не будет рассказывать вовсе.

25

На станции, в бывшей комнате начальника, возле деревянного голого стола сидели трое. Стены были черны от копоти, и утлами, ключьями свисали разорванные пожелтевшие расписания и графики.

Стол был деревянный, залитый, грязный, изрезанный. Его взяли из соседней комнаты телеграфиста.

На столе дымил тусклый керосиновый, опутанный решеткой, железнодорожный фонарь; утлы комнаты качались и таяли, а большие тени трех фигур росли к закопченному потолку. Два

царских портрета висели рядом, но от них остались только коронованные рамы.

На столе стояло несколько толстых стопочек; на обрывках газет была разложена закуска. От большой бутылки, до половины налитой, шел нестерпимый запах самогона и смешивался с керосинным чадом. По краю стола и по заплыванному полу валялись размякшие и расплюснутые окурки.

— Вы ее не слушайте, товарищ комиссар, — говорил Неизвестный Солдат. Для убедительности он почтительно лег прудью через стол и вытянул вперед руки, так что на собеседника ему приходилось смотреть снизу вверх, исподлобья, сморщив лоб.

— Для вас Овчинников себя не пожалеет, ежели чего захочете...

— И с ими пойдешь!.. — огрызнулся он на закутанную Зиночку.

— Вы ее не слушайте... Бабий ум короткий. Она тут раньше с нашим солдатишкой одним, — Кравчуком звать, — таскалась... Такой неважный солдатишка был... А теперь ко мне бегаешь...

— А я тебе говорю — пойдешь, стерва!.. — посмотрев на Зиночку тяжелым взглядом, вспыхнул он внезапной пьяной злобой и ударил по столу кулаком так, что запрыгали стаканчики.

— Тише... Тише, — сказал комиссар, отодвигая их от себя.

— Вы ее не слушайте, товарищ комиссар...

Неизвестный Солдат опять посмотрел на Зиночку злым долгим взглядом и выронил тяжелое короткое резкое слово. Оно, как ломоть, ударилось об стол, и, как ломоть, закачалось в тишине.

Зиночка вспомнила голубые, навываке, глаза отца. И еще вспомнила, как ее учили, — не то дома, не то в институте: если услышишь что-нибудь грубое и обидное по своему адресу, лучше всего сделать вид, что этого не заметила: плотно сжать губы и совсем ничего не отвечать.

26

Над полем, то там, то здесь, вспыхивали облачки, отмечая неравную человеческую судьбу. Отметилась неравная судьба Ильинского; его, бледного, молчащего, тяжело дышащего, с открытыми плоскими глазами, отнесли.

Бородатый казак, с которым интеллигент полчаса тому назад спорил у коновязи, прокричал непрерывно за пятерых минут двадцать и умер. Юнкер из соседнего отделения проковылял весело, держа на весу окровавленную руку и весело крикнул:

— Вот, руку разбили, туды их мать!..

— А — хромаете что?

— Да вот, ногу растер: ступить не могу...

Из хаты выплянул старик. Почесал лохматую голову и сочувственно сказал:

— Куды как палють сегодня!.. — и опять скрылся в хате. Результатами стрельбы старик не интересовался.

Курица деловито старалась расклевать арбузную корку. Корка никак не хотела упасть мягкотью вверх, и курица сердилась, потому что, наверно, и она думала, что мир должен быть устроен так, как ей нравится и, вероятно, ругала ту Высшую Курицу, которая, по ее мнению, мир устраивала и — не сумела хорошенько устроить.

Интеллекту вдруг представилось ясно и тонко, что в неубывающей и неприбывающей реке, где тек вчерашний день и потечет завтрашний, и старик, и белые облачки, и курица, — всё случайно, как случайны щепочки в водовороте. И всё неумолимо равноценно. И старик, и покойный лейтенант, и далекие голубые глаза Зиновкиного отца.

А между случайными, проносимыми течением щепочками равноценно случайна арбузная корка, Зиновка, и — он сам, со всеми своими мыслями.

Может быть, все это ему представилось просто потому, что было жарко, парило, и еще, может быть, потому, что недалеко, над широким и плоским полем, отмечая неравную человеческую судьбу, там и сям вспыхивали случайные облачки шрапнелей.

27

Автор хотел кончить все как следует, но:

Один герой, получивший европейское имя Неизвестного Солдата, затерял его где-то на пьяном полустанке и сам затерялся.

Другой — не выдержал, где его могло ожидать тихое семейное счастье, побежал на Юг и здесь, в сумерках, чуть было не стал принимать осенних ворон за Синих Птиц.

Наконец, еще один герой не выдержал пули, расплескавшей ему затылок.

И так — все.

Хотел написать о Зиновке и о человеческой любви, — Зиновка не выдержала человеческой любви и переломилась надвое, и человеческая любовь тоже не выдержала и переломилась надвое.

Всё качнулось и ушло в небытие. От всего остался один до-
фараоний закон, который солнца крутит:

— Убей!..

Он выдержал.

Название переменялось, но это просто приспособляясь к моде.
Ведь про сломанный винт гораздо легче сказать:

— Выведен в расход.

Да, собственно, и лучше, что он остался, закон расхода. Ну,
что было бы, если бы он не действовал:

— сломавшаяся пополам и пошедшая обратным ходом лю-
бовь или сломавшаяся и пошедшая обратным ходом Зиночка —
остановили бы всю машину.

И в тот же миг:

перестали бы крутиться и пересекать свои пути и пылинки и
солнца. А весь огромный мир застыл бы, повис бы глухими мерт-
выми каменными громадами.

Или:

нижний чин, товарищ и краском Гавриил Кравчук, встал бы
с пулей в голове и с расплеснутым затылком и пошел бы под гар-
мошку плясать по лесам, по полям и по глухим темным дерев-
ням под буграми.

Аглаида Шиманская

Звонок встревожил — «Слушаю, алло!
Кто говорит?.. Что?.. Снегом замело?..»
Откуда голос?.. Не могу понять...
Отбой и гул. Молчание опять.

.

На станции, в каком-то захолустье,
Светилась ночь невыразимой прустью.
Утихла буря и раскрылся свод,
Но поезд не пришел и не придет.

Спит крепким сном смотритель станционный.
Вокруг супробы, каркают вороны,
Не уцелеть от холода и тьмы —
Погибло всё селенье от чумы;

Еще дымок идет с какой-то крыши
(Перед концом немного жизнь подышит),
Но у поэта образ оживет —
Воскреснут души и растает лед,

Знакомый поезд весело промчится,
Повсюду жизнь, везде живые лица...

.

Благодарю за весточку оттуда,
Где Пушкин и слова его, как чудо.

Гражданский долг

(Телепьеса)

Голос диктора. Дорогие товарищи телезрители! Внимание! Внимание! Все, что вы увидите на экране, относится к тем отдаленным временам, когда в нашей стране еще господствовал культ личности, осужденный партией, правительством и лично Никитой Сергеевичем Хрущевым. Ни на минуту не забывайте об этом! Теперь у нас уже совсем другой колорит, и ничего подобного быть не может. А, впрочем, судите сами.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Кабинет председателя участковой избирательной комиссии, рядом с помещением для голосования. Через полуоткрытую дверь доносится неясный гул голосов. За письменным столом, под большим портретом Сталина, сидит председатель. Он без пиджака, в одной жилетке и расстегнутой косоворотке; волосы у него взъерошены и по лбу текут крупные капли пота. У стола, в рыжем драповом пальто и заломленной набекрень фуражке военного покроя, стоит член избирательной комиссии Пантелеев.

ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ (*перекрывая другие голоса*). Это что же получается? Бутерброды с повидлом! Черный хлеб! Агитатор говорил, ситный будет в буфете... с чайной колбасой. Вот как! Чтоб народ чувствовал. Я, товарищи, в порядке большевистской самокритики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Закрой дверь, товарищ Пантелеев: голова крутом идет. Ничего не разберу (*Пантелеев закрывает дверь*). Ну, так! Теперь докладывай!

ПАНТЕЛЕЕВ. Последнюю партию пригнали. Все квартиры обошли, стало быть... под метелку. Больных и убогих — всех вытряхнули. Одного старика, понимаете... потеха — двадцать лет из

дому не выходил — и того на стуле вынесли. Борода, это, болтается...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*прерывает*). Всех собрали? Мне чтобы все сто процентов были (*стучит кулаком по столу*)! За Сталина голосуем! Вмещаешь ты это в свою пустую голову! К двенадцати часам выборы закончить! Забыл, что у нас соревнование с девятнадцатым участком на скорость?!

ПАНТЕЛЕЕВ. Выстроили, стало быть, сейчас избирателей на улице... в очередь. Некоторым я знамена дал, лозунги. Картина! Прямо хоть фотографию съмай...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ты мне зубы не заговаривай! Всех, спрашиваю, собрали или кто остался?

ПАНТЕЛЕЕВ (*почесывает свободную от фуражки часть затылка и говорит виновато*). Один остался... бузотер, Герасим Сапогов, токарь с завода «Серп и Молот». В ночной смене работает... так сейчас, стало быть, спит. За ним наш Сидорчук ходил, не добудился: храпит только да сквозь сон матерится.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*вскакивает со стула, обегает вокруг стола, схватывает Пантелеева за отвороты пальто и свирепо трясет*). Вы что же со мной делаете, прохвосты?! Без ножа режете! Оставили, значит, в покое Сапогова? (*Иронически*). Пусть себе спит, почивает... сны видит. А что без него полного процента не получится — это вам все равно! Что социальное соревнование проиграем — это вам, мерзавцам, все равно! Не вам отвечать! Мне отвечать! Шкурой своей отвечать! Партибилетом отвечать! (*Останавливается на минуту перевести дыхание. Отпускает Пантелеева и напряженно хватается ртом воздух*). Чтоб немедленно был тут Сапогов, голосовал, проявил свою избирательскую волю! Сам пойдди! Подмогу возьми! За руки его, за ноги, по-большевистски... оперативно. Нет таких крепостей, которых не могут взять большевики!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Помещение для голосования. Большая комната, полная народа. На стенах длинные кумачевые полосы с избирательными лозунгами и портреты «вождей». Над всем доминирует опромяный портрет Сталина и гигантская цифра «100%». Под портретом урна, затянутая красной материей, и по бокам ее два гипсовых бюста, Ленина и Сталина. В дальнем углу три кабины, завешенные шторами. В этом углу совершенно пусто; никого нет даже поблизости от кабин. Около входной двери, за письменным столом сидит секретарь и делает отметки в большом развернутом листе

бумали. К столу подходят избиратели и, предъявив паспорт, получают бюллетени. Зрители видят то одну, то другую прупшту людей, выхваченную из толпы.

*

Член избирательной комиссии Сидорчук, расставив руки, не пускает кучку людей к двери с надписью «Буфет».

СИДОРЧУК. Куда претесь, граждане! Сначала проголосовать, а потом уже до бухвета: на первом месте долг перед государством. Так нас учат партия и правительство.

ОДИН ИЗ ГРУППЫ. Пока голосуешь, бутерброды все кончатся.

СИДОРЧУК. То до меня не относится, граждане. Идти, як вам кажут, до того стола: получайте бюллетени.

*

Два члена избирательной комиссии волокут под руки к урне лысого старика с длинной седой бородой.

СТАРИК. За что, родименькие, за что? Ну, сделал бы что, украд что ли или слово какое непотребное сказал, так ведь ничего... ну ни сном, ни духом...

ЧЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. Нужно, папаша, выполнить свой гражданский долг.

СТАРИК. Отпродясь все долги платил... ни копейки за мной, ни копеечки... тыпните тому в глаза...

*

Сухонькая старушка в черном головном платке стоит перед секретарским столом.

СЕКРЕТАРЬ. Предъявите, гражданка, паспорт.

СТАРУШКА (с вызовом в голосе). Это зачем же опять пачпорт? Только на прошлой неделе из милиции получила. Продление сделали, как полагается, на целых шесть месяцев. А теперь обратно давай пачпорт! У меня все в порядке: жилищлощадь своя законная имеется... около кухни, в чуланчике, а что без света, так это райжилотдел знает... утвердил.

СЕКРЕТАРЬ (усталым голосом). Предъявляйте, гражданка, паспорт для получения бюллетеня.

СТАРУШКА. Это какого же бюллетеня? Больничного? (Вынимает из сумочки паспорт).

СЕКРЕТАРЬ. Избирательного бюллетеня, праздничка. Выбирать будете товарища Сталина. Не задерживайте очереди.

СТАРУШКА. А разве он еще не выбранный, Сталин-то? Давно, ведь, уже заправляет. Раньше-то он как сидел? Сам себя на должность произвел или еще как?

СЕКРЕТАРЬ (с нетерпением). Много будете знать — скоро состаритесь. Берите эту бумагу, сложите пополам и опускайте в урну. Некогда мне с вами балясы точить.

(Старушка берет протянутый ей бюллетень, внимательно рассматривает его, надев очки в железной оправе, и, не отходя от стола, бросает бюллетень в корзину для бумаг).

СЕКРЕТАРЬ (раздраженно). Не туда, не туда опускайте! Не в ту дыру. Вон там в углу ящик!

*

Из кабинета председателя выходит член избирательной комиссии Пантелеев, пробирается через людской водоворот, подходит к Сидорчуку, разговаривает с ним.

ПАНТЕЛЕЕВ. Давай скорей адрес этого типа... Сапогова! Председатель, стало быть, лается: подай ему сюда последнего избирателя... вынь да положь.

СИДОРЧУК (скептически). Сам пойдешь? Ну, знаешь, там один ничого не зробишь. Туда надо цельную роту посылать. (Достает записную книжку. Пантелеев записывает).

ПАНТЕЛЕЕВ. А если друтих наших ребят с собой взять? Жукова Кольку — он здоровенный — да Черепяхина?

СИДОРЧУК. Ни, нельзя! Секретарь не даст. Они на улице... очередь караулят, чтоб избиратели, собачьи дети, не утекли. Иди, сам иди, раскачивай его там. Як тут немного ослобонимся, подмогу тебе пришлем.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

На улице. Очередь избирателей с плакатами и портретами «вождей». Моросит мелкий холодный дождь. «Вожди» и плакаты намокли и имеют довольно жалкий вид. Люди зябко жмутся, стоят, подняв воротнички и нахлобучив кепки или фуражки. У всех женщин головы заболтаны в бесформенные мокрые платки. Рослый детина у двери отсчитывает очередной десяток избирателей и пропускает внутрь, властным нажимом в прудь отстраняя одиннадцатого. Пантелеев проходит мимо. Слышен разговор.

ЖЕНЩИНА (обращаясь к усатому, понурого вида мужчине).

Как только допустят, я отвлекать стану, а ты, Митрич, прямо в буфет беги, по сторонам не глазей.

МУЖЧИНА (*хмуро*). Чего покупать-то?

ЖЕНЩИНА. Ах, Господи! Маленький какой! Да всё бери, что дают. Деньги загодя приготовь!

*

Разговаривают двое рабочих. Один в старом матросском бушлате и рваных валенках вопреки сезону. Другой, маленького роста, в длинном выпцветшем пальто, покрытом крупными масляными пятнами.

ПЕРВЫЙ. У нас в цеху, значит, приказ дали: встретить выборы по-стахановски. Всю ночь работали, а монтировать нельзя: запасных частей нет. Так они, понимаешь, сейчас на склад. Сняли части с готовой продукции и — нам. Рапортруем, значит: план выполнили!

ВТОРОЙ. Наши три дня вроде как простой записали, а всю продукцию — на вчерашний день. Выходит, перевыполнили план на 200 процентов. Потом за простой отработаем.

*

Две женщины: старая и молодая. Впрочем, отличить их довольно трудно: обе в одинаковых пальто, потерявших от времени цвет и форму; головы и плечи закутаны в мокрые вязаные платки, из-под которых видны только узкие полоски лиц.

СТАРАЯ. А я так понимаю, Катя: выбирать, так было бы из чего. Если у тебя две пары туфель, так ты можешь выбрать, которую сегодня надеть. А когда у меня только одна пара, так я — выбирай не выбирай — должна ее носить, хоть из дырок уже и пальцы торчат.

МОЛОДАЯ. А вы, Марья Петровна, босиком, босиком по холодному дождю. Вот вам и выбор.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Комната Сапогова. До крайности убогая обстановка. Видно, что комната перегорожена: одна из стен деревянная, неоштукатуренная и на ней нет даже тех рваных, грязных обоев с аляповатыми цветочками, которыми оклеены остальные стены. На перегородке прищиплены кнопками два лубочных портрета, Сталина и Молотова. На другой стенке часы-ходики, с утюгом вместо

гири, и репродуктор трансляционной точки. Сапогов лежит на кровати, на полосатом матраце, из которого вылезает сено. Нет ни простыни, ни одеяла, но на подушку все-таки надета чистая наволочка. Сапогов спит одетый, но босиком. Его высокие русские сапоги стоят около кровати. Между ними притулилась почти пустая литровая бутылка водки. Рядом разложены для просушки портянки. Торчат босые ноги Сапогова. Он уткнулся лицом в подушку. Одна рука его свесилась до самого пола. На его штанах отчетливо видна крупная квадратная заплата.

РЕПРОДУКТОР (*говорит зычным митинговым голосом; по-видимому, передают с какого-то собрания*). В то время как на Западе, в странах, еще не освобожденных от капиталистического рабства, по-прежнему господствуют голод, нищета и безработица, по-прежнему все ниже и ниже падает уровень жизни рабочего класса и трудового крестьянства, в нашей стране, товарищи, под руководством партии, правительства и лично великого вождя и учителя, любимого всем советским народом Иосифа Виссарионовича Сталина, непрерывно, невиданными еще в истории темпами растет материальное и культурное благосостояние широких трудящихся масс (*долгие аплодисменты*).

САПОВОВ (*поворачивается на бок, почесывает одну босую ногу о другую и кричит*). Аня! Зачем музыку включила? Спать не дает!

РЕПРОДУКТОР. Слово для приветствия предоставляется...

САПОВОВ (*приподнимается, опираясь одной рукой о кровать, протягивает другую руку и, схватив за шнур, выдергивает вилку из розетки*). Я тебе предоставлю слово... такое, знаешь, слово заверну, что больше не захочешь!

Открывается дверь. На минуту слышен шум примусов из коммунальной кухни и неясные разговоры. Разборчиво выделяется только одна реплика:

— А он к-а-к даст ей по морде. Я, грит, научу тебя жить культурно!

Входит жена Сапогова, Анна Петровна. Она еще молода и не лишена привлекательности. Одета по-домашнему, бедно, но опрятно и даже не без некоторого кокетства.

ЖЕНА. Затем и включила! Разве тебя, пьяного, добудись иначе?

САПОВОВ. День нерабочий, и то поспать не дадут.

ЖЕНА. Хоть и не рабочий, а отдыхать не полагается. Вот этого идола нужно идти выбирать (*показывает рукой на портрет Сталина*). Я уже выбрала с утра пораньше: шла из ночной очере-

ди и забежала, бумажку бросила. Думала, чтоб отвязаться скорее...

САПОГОВ (*прикладывает палец к губам*). Цыц! Вот баба — она баба и есть. Одно слово: женщина. Которые себе волосы подстригли, так ум длиньше не стал. А ну как дети услышат, доклад в школе сделают? А?

ЖЕНА. На часы бы посмотрел, горюшко мое. Дети давно уже на дворе играют.

САПОГОВ. Не дети, так вот она (*показывает на перегородку*), деревянная, фанерная, что воздух. (*Кричит*): Да здравствует наша великая партия Ленина-Сталина! У-р-р-а!

ЖЕНА. Ты что... совсем ошалел, Герасим?! Перепился?

САПОГОВ (*опять прикладывает палец к губам, говорит тихо и ласково*). Политика, Аня, политика. Без ее жизнь наскрозь не проживешь. Вот ежели, скажем, который с той стороны слушает, пуцай теперь себе голову ломает: что писать? Не напишешь дунос, что Сапогов, дескать, ура за партию кричал. А? Пьяный, а вот кричал. Как тут концы с концами связать, хоть бы что и слышал из нашего разговору. Ни хрена у него складного не получится.

СЦЕНА ПЯТАЯ

На дворе. Асфальт выпцерблен: большие ямы, колдобины. На веревках сушится белье. Кругом мусор. Проскальзывая под бельем, бегают дети. Где-то неистово мяукает кошка. Член избирательной комиссии Пантелеев разговаривает с бородатым дворником в грязном белом фартуке и с метлой в руке.

ПАНТЕЛЕЕВ. Проживает у вас тут Сапогов, Герасим Тимофейч, рабочий завода «Серп и Молот»?

ДВОРНИК. У нас всё имеется. И Сапогов есть. Это на самой будет верхотуре, на шестом, значит, этаже.

ПАНТЕЛЕЕВ. Как же туда добраться?

ДВОРНИК. Это уж как хочешь: еропланом лети или, желаешь, на трамвай садись, на одиннадцатый номер.

ПАНТЕЛЕЕВ. Я только в том смысле, может, у вас лифт какой есть?

ДВОРНИК. И лифт имеется. Как не быть?

ПАНТЕЛЕЕВ (*радостно*). Значит, можно будет подняться?

ДВОРНИК. То есть ни подняться, ни опуститься — ничего этого нельзя.

ПАНТЕЛЕЕВ (*с наскоком*). Это почему же? Я — член избирательной комиссии!

ДВОРНИК (*равнодушно*). Избирательной или выборительной... пускай цельная комиссия на антанобиле приедет — все одно: нельзя. Потому не имеет наш лифт никакой пропускной способности.

ПАНТЕЛЕЕВ. Как же это понимать?

ДВОРНИК. Просто понимать! Стоит лифт с самой еще революции. Вот как свергли, значит, прогнивший-то царский режим, проклятую эту власть буржуазии и помещиков, так он и ходить перестал. Впрочем, правду сказать, после Февральской, без царя-то, еще кой-как действовал, обходился, значит; а вот как пришла великая-то Октябрьская социалистическая революция, полное то есть освобождение трудящегося класса от гнета капитала, так он и вовсе стал. Так с тех пор и стоит. Мы теперь там дрова складаем.

(Пантелеев машет рукой и идет к лестнице).

ДВОРНИК (*кричит вслед*). Ты, гражданин хороший, как между четвертым и пятым этажом идтишь, значит, будешь, так на перила не очень-то сурово налегай: отваливаются. Свободно вниз запреметь можешь.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Комната Сапогова. Он снова один, как и раньше лежит на кровати. Вся обстановка прежняя, только в бутылке, стоящей около его одра, осталось еще меньше водки. Отворяется дверь и входит Пантелеев в сопровождении жены Сапогова.

ЖЕНА. Надо же человеку после работы отдохнуть. Вот выспится и придет. Контора-то ваша, говорили, до самой ночи будет открыта.

ПАНТЕЛЕЕВ (*наставительно*). Неважно, как долго она будет открыта. Важно, стало быть, первыми, на все сто процентов закончить голосование в нашем избирательном округе. Мы выбираем товарища Сталина, а не кого-нибудь. Это понимать надо.

ЖЕНА. Все же человек — не машина.

САПОВОВ (*открывает глаза, слегка поворачивается и вмешивается в разговор*). Оставь, Аня! Правильно товарищ говорит: раз дело такое — Сталин, хоть одохни, а иди выбирать. Это мы понимаем, мы люди сознательные, образованные, не из какого-нибудь колхоза.

ПАНТЕЛЕЕВ (*с облегчением*). Приятно слышать. Вот поднимайтесь скорее и айда со мной в избирательную. Время терять нечего.

САПОВОВ (*не двигаясь с места*). Сталин-то кто? Это ж наш

любимый родной отец, вождь и учитель. Учит нас, дураков, с утра до вечера. Мается. Без него нам ни шагу ступить, ни плюнуть, ни ногой растереть. Это мы во как чувствуем. (Протянув руку, не глядя, берет уверенным жестом с пола бутылку, вытягивает зубами пробку и долго пьет. Потом ставит бутылку на место, поворачивается на бок, спиной к Пантелееву, и накрывает голову подушкой).

ПАНТЕЛЕЕВ (дергается, нахмуривается, но, видимо, берет себя в руки. Он садится на край кровати, кладет руку на плечо Сапогова и начинает привычную агитационную речь). Товарищ Сапогов, вы — трудящийся, настоящий пролетарий от станка. Ваша священная обязанность и нерушимое право участвовать в выборах советской власти. Вам известно, товарищ Сапогов, что наша избирательная система — самая демократическая, самая передовая во всем мире. Вы только сравните наши выборы с тем, что творится под этим именем в капиталистических странах. Там господствует обман, фальсификация, нажим на избирателей и прямой подкуп. Вот я недавно прочитал в газетах, как выбирали американского президента. Знаете, как? Главный американский капиталист, мистер Уол Стрит, распорядился, чтобы каждому избирателю выдавали один ботинок на левую ногу, а другой ботинок на правую, стало быть, ногу, избиратель получал только тогда, когда проголосует за ихнего президента. Вот как!

ЖЕНА САПОГОВА (с интересом). А женскую обувь тоже выдавали? По карточкам или так?

САПОГОВ (высовывает голову из-под подушки). А до выборов, значит, американские буржуи босиком ходили?

ПАНТЕЛЕЕВ. Почему же буржуи? Это не для них. Буржуазия там, конечно, всем обеспечена. Народ бедствует.

САПОГОВ. А нам агитатор говорил, что в Америке только буржуи, богатые, значит, могут голосовать. Рабочие и крестьяне к выборам совсем не допускаются. Не верно разве?

ПАНТЕЛЕЕВ (озадаченно). Это верно, но...

САПОГОВ. Оно, впрочем, понятно. Капиталисты-то, ведь, все больше на машинах ездят. Разбогатели за счет трудящегося класса — ходить пешочком не приходится. Вот им ботинки-то и ни к чему.

ПАНТЕЛЕЕВ (вскакивает с кровати; раздраженно). Вместо того, чтобы языком попусту болтать, вставайте лучше скорее и идите выполнить свой гражданский долг — голосовать за товарища Сталина.

САПОГОВ. Да я мигом! Одним духом! За кого другого, а за

родного товарища Сталина — всей душой. Не токмо что руками, ногами, очертя полосу, готов голосовать. Только вот допью: осталась самая малость. *(Берет бутылку, пьет затяжным глотком и снова прячет голову под подушку).*

ЖЕНА. Герасим!

ПАНТЕЛЕЕВ *(со злобой)*. За это тебя, голубчика, по головке не погладят. Нечего, стало быть, с тобой разговаривать. *(Уходит).*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Помещение участковой избирательной комиссии. Обстановка та же: портреты, лозунги. Среди последних выделяется изречение, намалеванное огромными белыми буквами на длинной, проходящей через весь зал, полосе кумача: «Все, как один, единым голосом поднимем нашу мощную трудовую руку за любимого товарища Сталина!» Комната пуста. Только за письменным столом, перед большим развернутым листом для отметки избирателей, сидит секретарь, жует бутерброд и читает «Правду». Крутые настенные часы показывают без четверти двенадцать. Вбегает запыхавшийся председатель, на ходу расстегивая пальто. Бросает портфель на стол и говорит, борясь с одышкой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ну, как этот твой... Сапогов?

СЕКРЕТАРЬ *(меланхолично)*. Ждем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(с возмущением размахивая руками)*. Это чёрт знает, что такое! Я прямо из девятнадцатого участка. У нас есть все шансы выиграть с ними социальное соревнование. Задание, кажется, ясное и простое *(говорит, подчеркивая слова ударами кулака по столу)*: к 12 часам дня должны проголосовать все 100 процентов избирателей! Когда я там был, полчаса тому назад, у них нехватало 28 человек и одной больной старухи. Но у них время не теряют, действуют по-большевистски, оперативно: волокут конвейером, понимаешь, волокут. А у нас что? Когда уходил, не было Сапогова; пришел — опять двадцать пять: нет Сапогова, последнего, чёрт его побери, избирателя. Что за наваждение! *(Секретарь пытается что-то возразить, но председатель не дает ему раскрыть рта)*. Я тебе говорил: доставить избирателя Сапогова живым или мертвым; дать ему возможность проявить свою волю — отдать голос за нашего великого кандидата.

СЕКРЕТАРЬ. Товарищ председатель... Никифор Гаврилыч! Да этот Сапогов не живой и не мертвый.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Как так? Что за чепуха!

СЕКРЕТАРЬ. Лежит, прохвост, мертвецки пьяный.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*бежит по комнате, заламывая руки*). Сколько раз вам, дуракам, нужно объяснять?! По нашему избирательному округу баллотировался кто? Товарищ Сталин! Не дерьмо какое-нибудь районного масштаба, а сам товарищ Сталин! Вождь и учитель мирового пролетариата! Отец народов! Дело не в том, чтобы проголосовали все 100% избирателей (*разводит руками*). Это само собой понятно каждому новорожденному младенцу. Дело в том, чтобы раньше всех закончить голосование. Энтузиазм масс показать! Вот что требуют от нас партия и правительство. А ты говоришь: пьяный. Ну и что с того, что пьяный? Что он делать-то должен? Сложить пополам листок бумаги, — то есть я хочу сказать: избирательный бюллетень, — засунуть в конверт и бросить в урну. Даже писать ни одного слова не нужно. Для этого большой трезвости не требуется. Да, может, он и пьян-то от радости, от великой радости, что ему дано право отдать свой голос за величайшего гения всех времен и народов, товарища Сталина. Где еще, в какой стране мира человеку выпадает такое счастье? Нужно было хоть на носилках доставить сюда этого Сапогова.

СЕКРЕТАРЬ. Да, Никифор Гаврилыч, я и хочу сказать, что давно послал за ним... трех человек. Вот сейчас, с минуты на минуту, и должны привести. Наши-то ребята, ведь, хорошо знают, что к 12 часам надо всю музыку закончить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Твоими бы устами да мед пить. Считанные минуты остались. (*Шум где-то вне комнаты. Дверь то приотворяется, то затворяется. Впечатление какой-то борьбы. Наконец, дверь широко распахивается и в комнату втаскивают Сапогова. Два члена избирательной комиссии держат его под руки, третий подталкивает коленкой под зад. Сапогов распевает пьяным голосом песенку*

*Три танкиста,
Три веселых друга,
Экипаж машины боевой!..*

и делает попытки ухватиться руками за косяк двери и другие выступающие предметы).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*устремляясь к нему*). Добро пожаловать, товарищ Сапогов! (*Со сладкой улыбкой*). Рад, что вы пришли, наконец, осуществить свое неотъемлемое право советского праздничина — голосовать за нашего великого вождя и учителя. Только вот задержались маленько.

САПОГОВ (*которого отпустили, стоит, пошатываясь, расстегивает рваное пальто, явно перешитое из солдатской шинели, сни-*

мает кепку и надевает ее на лысину ленинского бюста). Задержался? Елки-палки! В ночной смене работаю. Пришел утром, ни свет ни заря, жены дома нет — в очередь ушедши за продуктами... детишки спят. Пожрать, ну, понимаешь, ни хрена нету... одни соленые огурцы в банке. Да и я тоже не дурак! У меня всегда литруха-другая приготовлена на всякий пожарный случай. Ну, значит, с огурцами оно хорошо и получилось. Спасибо, как говорится, родному Сталину за счастливую жизнь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (делая строгое лицо). Это вы в каком же смысле выражаетесь?

САПОВОВ. Вот именно в том самом, в каком нужно! Спасибо, говорю, дорогому вождю за нашу радостную и развеселую жизнь. Чтоб ему самому, родному, так хорошо жилось, как мы живем! Вот как! Или, по-вашему, не должен я вечно благодарить товарища Сталина? Или, по-вашему, советскому рабочему плохо живется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (испуганно). Да я ничего не говорю... Вы совершенно правы.

САПОВОВ (грозит пальцем). То-то!

СЕКРЕТАРЬ. Товарищ председатель, посмотрите на часы! Время не ждет. Давайте скорее этому типу бумагу и пусть он ее в урну бросает. Пора кончать канитель!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Совершенно верно. (Подает Саповову избирательный бюллетень). Выбирайте скорее!

САПОВОВ (внимательно разглядывает бюллетень). Это как же выбирать-то? Тут только одна фамилия и написана... дорогой, значит, товарищ Сталин и точка.

СЕКРЕТАРЬ (нетерпеливо). Вот его и выбирай! Сталин! Какого еще тебе рожна нужно?

САПОВОВ (почесывает в затылке). Это верно. Дальше уж, как говорится, не попрешь. Хлебе все равно не придумаешь. Сейчас выберу. Митом. (Озирается по сторонам. Его внимание привлекают три избирательных кабинки в углу комнаты). А это что же будет? Телефон или туалет? Так мне нужно... в горле, понимаешь, першит...

СЕКРЕТАРЬ. Это совсем не то. Нечего тебе там делать!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это, понимаете ли, специальные кабинки, где избиратель может спокойно, без постороннего взгляда, выбрать угодного ему кандидата. У нас соблюдается полная тайна голосования и нет никакого нажима на избирателей, не так, как в буржуазных странах.

САПОВОВ. И мне можно зайти?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*нерешительно*). Отчего же?..

(Сапогов неуверенной, качающейся походкой идет через комнату).

СЕКРЕТАРЬ. К чему это, Никифор Гаврилыч! Только время терять.

ЧЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ. Еще напачкает там... свинья. А нам убирать после него.

(Сапогов скрывается за пологом кабины, но через минуту пол опять отодвигается, и показывается голова Сапогова).

САПОВОВ. А карандаш тут зачем на веревочке привешен? Писать, что ли?

СЕКРЕТАРЬ (*раздраженно*). Писать ничего не надо. Кончай скорей!

САПОВОВ. Значит, карандаш тут ни к чему?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Он только затем, чтобы... гм..., если кто захочет... гм..., мог бы вычеркнуть нежелательных ему кандидатов, но... но оставить, конечно, желательных.

САПОВОВ (*кричит*). Это что же получается?! Чему вы меня подучиваете? Вычеркнуть дорогого товарища Сталина? Да вы понимаете?!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*торопливо и испуганно*). Нет, нет! Этого делать, конечно, не нужно... ни в коем случае не нужно!

САПОВОВ (*примирительно*). То-то! Вот я и говорю, что карандаш тут ни к чему, без дела. Я его лучше домой возьму, а то сыннишка в школу бегаёт, а писать нечем (*скрывается за пологом*).

СЕКРЕТАРЬ (*вскакивает со стула*). Ну, какого дьявола он там делает! Время идет! Вы смотрите, Никифор Гаврилыч, двенадцать уже прошло. (*Звук падающего тела. Из-под полога высовываются вытянутые ноги Сапогова. Раздается богатырский храп*).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*хватается за голову*). Это еще что такое?

ЧЛЕН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ (*отодвигает полог*). Заснул, скотина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*бегает по комнате, воздевая руки к небу*). И все-то на мою голову... все-то на меня несчастного! Зачем я только такой уродился на свет! Ну что теперь делать? Как оправдаться?

СЕКРЕТАРЬ (*деловым тоном*). Да не волнуйтесь, Никифор Гаврилыч: дело не потеряно. Звоните смело в Окружную: к 12 часам проголосовал последний избиратель. Договор по соцсоревнованию выполнен на все 100 процентов. Выборы закончены вовремя. (*Обращается к члену избирательной комиссии*): Товарищ

Пантелеев, возьми у этого пьяного типа бюллетень, сложи и засунь в урну.

ПАНТЕЛЕЕВ (*недовольным тоном*). Да он пачканный какой-то... заплеван немного.

СЕКРЕТАРЬ. Ничего, оботри! А вы, ребята (*к другим членам комиссии*), не стойте сложа руки. Берите избирателя за шиворот и выбросьте его к чёртовой матери на лестницу: пусть там выпится, если милиция не заберет.

(*Сапогова уносят за руки и за ноги. Голова его болтается из стороны в сторону. Секретарь берет кепку Сапогова и бросает ее вслед за ним через открытую дверь*).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Правильно. Избиратель выполнил свой гражданский долг, теперь он может спокойно отдыхать. (*Звонит по телефону*). Дайте Окружную избирательную комиссию! Что? Срочно, говорю... вне всякой очереди!

Анна Запольная

Вхожу с пустыми руками
в Твой, Господи, Новый Год.
Недобрыми светит огнями
в притихшей тьме небосвод.

Торопливо — как будто в испуге —
снег застывшие пашни прикрыл.
Мне слышится в низкой лачуге
шелест незримых крыл.

Чернеет средь белого сада
обломанной ветки кость...
А сердце, как гроздь винограда, —
тяжелая, спелая гроздь.

РЕШЕНИЕ

(Рассказ)

Решение пришло не сразу. Оно нарастало постепенно, наплывавая и снова откатываясь, как медленно развивающаяся болезнь.

По ночам, когда красное пламя от дошны вспыхивало в занавесках, оно тоже вспыхивало: «вон, вон отсюда!», а по утрам угасало: они уже почти выплатили дом, в доме — стильная мебель, телевизор, в кухне — холодильник, электрическая мельница для кофе, хлебoreзка; в подвале — стиральная машина; в узком гараже под балкончиком — Васьина радость, новенький изящный «рено», с куколкой на шнурке, с подушками на сиденьях.

Вася хорошо зарабатывает. Ничего не скажешь. И всё у них есть. Дети здоровы и учатся хорошо. Валентина, Валли, как ее здесь называют, получила книжку в награду — лучшая ученица. Константин хуже, но тоже, грех жаловаться, на второй год еще ни разу не оставался. Не как у фламандцев: простых вещей осилить не могут.

А скучно. Подчас до того скучно станет, что — удавиться.

У Васи работа совсем нелеткая. В горячем цехе, в прокате. Пьют по субботам, да что же делать — все пьют. Да и в будни случается, как есть, прямо в спецовках выйдут с завода и — марш в пивную. Жажда: намучаются за смену.

Ох, кабы не это пьянство! В субботу к полуночи, хошь-не-хошь, иди — выручай.

А в пивной крик, гоняют шары по бильярду, режутся в карты, галдят, табачищем накурено. Хозяин у стойки, сам как пивная бочка, красный весь, потный, кружками бултыхает — смотреть противно.

Лучше, когда он в ночную смену. Но тоже: люди встают, а он спать ложится и дрыхнет потом весь день. Понятно, выпататься надо, а получается тяжело, ненормально.



Решение шло от тайного недовольства. От ничего не хочется. Всё есть, а ничего не хочется.

Нина плакала по ночам, вспоминала. Понимала умом, что было гораздо хуже, а всё казалось: нет, лучше было.

Нина помнила, как взяли отца. Как пришел однажды домой он бледный. Сказал матери: «Плохи дела. В прорыве мы. Виноватых ищут». А мама только: «Даст Бог, Феденька, пронесет!» Мамочка бедненькая!

Ей тогда дуре-Нинке все было нипочем. Только теперь она понимает. Как они в дверь стучали, как встал отец, валенки прямо на кальсоны надел и в одной рубашке открывать.

Как потом мамочка мучилась! На работу нигде не принимают, а кушать надо. И разговоры: «нечего вам здесь делать, езжайте к бабушке в колхоз».

И колхоз Нина помнит. Как при входе кислым на них пахнуло, и бабушка говорит: «Чего вы приехали? Той деревни старой уж нету, а на трудодни дадут много-много по 600 грамм. Пропадете вы тут».

Всё Нина помнит, до самых немцев. До того самого, как пришел переводчик и говорит, что теперь свобода от большевизма.



Решение росло из одиночества.

Возьмет Нина новенький пылесос, водит шуршащим хоботом по ковру, — невелика работа, — а сама думает: на что мне это? У каждой фламандки в доме ковер не хуже. А кто по ним ходит? Фламандцы. Ни тебя в гости не позовут, ни ты к себе. Ну, кого пригласишь, кого? Васиных этих товарищей? Так им в пивной веселей. Или Валькину гоп-компанию? Те придут, пожалуйста, с удовольствием. Побросаются в кресла, задравши ноги, и начнут пластинки гонять: «ча-ча-ча! ча-ча-ча!» Потом скатают ковер, поставят, как ни попало в угол, повзгроздят стулья на стол и пойдут отплясывать-трястись, как бесы перед заутреней. Ну их! Что испечешь, пирожки там или бутерброды сделаешь, жрут стоя, руками; водку льют в кока-колу и так и пьют без закуски; девушки парням сами на колени садятся...

Нина помнит, как летними вечерами, когда в садах сильно пахнет флоксом, душистым табаком и резедой, они со старшей сестренкой Катей выходили к воротам и становились, просматри-

вая на улицу. И как тотчас являлись ребята (и Вася был тогда с ними) и другие соседские девушки, и шло у них перешучиванье да смешки иной раз целую ночь.

Нина помнит Костю-гармониста, — за гармонь популярность, — и танцы на пыльном мосту: чарующий вальс «На сопках Маньчжурии», тустеп «девчоночка Надя» и любимая полька-бабочка, не с дурацкой фламандской трясучкой, а с такой веселой припрыжкой!



Решение питалось тоской.

Очень мечтала Нина отвести Василия, чтобы не пропадал по пивным. По-домашнему ему думала устроить.

Нина жарила большие куски свинины, покупала кур, индюков. На Васиных именины приготовила опрощного гуся, нафаршировала его яблоками и орехами. Сама развела из спирта, настояла на лимонной корочке (только желтенькое прозрачно срезать, чтобы белого не попало, от белого горечь!) настоящую русскую водку. Селедки почистила, огурцы сама засолила. Ну, пирожки, конечно, винегрет, холодец, три сорта салата.

Вася привел гостей: цехового мастера, лысый такой с усами, двух своих сменщиков, да пригласили соседа. Сели за стол. Водку выпили, а селедку и винегрет только вилкой потыкали. Нина им гуся вынесла: послали Костю за пивом. И всё молча, как в анекдоте, пьют и молчат, один говорит: «вроде дождик собрался», а ему: «ты что? выпивать с нами будешь или ты разговаривать пришел?»

Столько хлопот, так волновалась! Нина всю ночь проплакала; надолго запомнились Васиные эти именины.



Решение тыкалось в Васю.

Вася, он что же. Вася не виноват. Вася трудится и получку домой приносит. Кабы дома с такой получкой!

Нина мучилась с мужем. Суматошный, неровный, резкий, то ласковый, а то хамит. В выходной день, как выспится, посадит семью в машину (Костю-любимца рядом, а они с Валею сзади) и сам не знает, куда несется, не спросит, не посоветуется, куда поедем; ни остановиться, ни посмотреть что-нибудь толком. Гоняет с места на место, и слова ему не скажи: кричит!

Но все же и на море они побывали и Бельгию всю объездили.

Сердится Нина, а знает: и он, Василий, скучает.

Дома отцы любили рыбалку. Под выходной уйдут, бывало, с вечера на ночь. А уже за день раньше мать на рассвете будит: «вставайте, девочки, подите грибов наберите». И испечет постный пирог с прибами (мука ржаная, серая, а тесто какое вкусное!). Вернутся отцы, выставят стол под яблоню и начнут выпивать да закусывать, вспоминать, что как было, сначала про рыбу, потом про работу, а потом вообще про жизнь...

Василий теперь отец. А где здесь рыбалка? Где яблоня? Лысый мастер с усами, дети да Нина. Все, бедному, тоже поговорить не с кем.

*

Решения еще вовсе не было, когда лысый мастер поехал в Брюссель и привез в подарок пластинки. Вася ли его попросил или он сам догадался, но зашел к ним и подает Нине: «вот вам для развлечения; вспоминайте далекую родину».

Уж как рада Нина была! Не знала, как и благодарить. Две пластинки: «СССР. Апрельевский завод». «Шуми, шуми, пшеница золотая», марш-танго из «Веселых ребят», частушки (нигде про Сталина!) и «Подмосковные вечера». Пластинки много хуже бельгийских: шипят. Да кому этот шип мешает? Нина, как встанет с утра, так к радиоле:

Если б знали вы,
Как мне дороги
Подмосковные ве-че-ра!

От этих пластинок и Валя стала задумываться. Нравится. Еще бы! Разве сравнишь с трясучим ихним джаз-бандом!

*

Вместе с Валей увлекались пластинками.

Хотели узнать у лысого адрес, письмо написать. Да он сам толком не знает: в Брюсселе, на главной улице. А тут Валентина: «Давайте, мама, я съезжу. Мне уже скоро шестнадцать. Поеду и все найду, дайте только деньги на дорогу». Нина сперва боялась, а потом стала думать, что ничего, пусть Валя съездит, а потом сама решила с ней ехать: Валька и по-фламандски и по-французски, а мать для охраны, чтобы дома одной не сидеть, не бояться. Вот во-

прос только: где ночевать? А Валя и тут узнала: утром в 5.30 туда, а вечером в 20.15 обратно.

Съездили. Накупили пластинок целую кучу, даже оперу «Руслан и Людмила» включили. И адрес оставили в магазине, сообщать о новинках.

*

Никакого решения не было, а вышло, как решено.

С утренней почтой однажды приходит в конверте советская газета «Голос Родины», издание какого-то комитета за возвращение на Родину.

Нина кинулась было: «как там?» и тут же отпрянула: так и пахло в нос нищетой, словно из бабушкина колхозного дома. На задней странице: «Вас разыскивают и ждут родные», «Наш колхоз не узнать» и письмо:

«Дорогой мой муж, Макар Андреевич! Живем мы на старом месте, в селе Нагут, которое сильно увеличилось по сравнению с 1941 годом. Колхоз наш теперь называется «Октябрь», он тоже вырос за эти годы. Теперь у нас более 20 тысяч га пахотной земли, около 40 тысяч голов овец, до 5 тысяч голов крупного рогатого скота и много птицы.

В колхозе имеются 36 комбайнов и 42 трактора, автомобильный парк, где насчитывается более 60 автомашин. В 1958 году колхоз имел доход 24 миллиона рублей. Колхозники в прошлом году получили по 10 рублей и по два килограмма пшеницы на трудодень, не считая меда, вина и других продуктов.

Я сейчас уже не работаю, получаю пенсию, которую выплачивает колхоз. Дети наши все живы и здоровы. Я живу с Андрюшей. Он работает преподавателем истории и географии в школе. Супруга его тоже работает в школе преподавателем русского языка и литературы. У них двое детей — Саша и Ирочка. Ваня, наш старший сын, полковник Советской Армии, он тоже женат и имеет дочку Олю.

Дорогой мой муж, если ты жив и скитаешься где-то на чужбине, то мы просим тебя: отзовись и возвращайся на Родину, мы тебя все ждем и хотим, чтобы ты провел свою старость вместе со мной и детьми.

А. Г. Жукова.

Ставропольский край. Курсавский район.

На снимке: семья М. А. Жукова».

Посмотрела Нина на снимок и очень расстроилась: сидит жуковская бабушка на табуретке, держит на коленях босоногую девочку (Ирочку, видно); возле — Саша, голова круглая, острижена под машинку, а позади, стоя, Андрюша с супругой, толком не разбираешь, — фотография смутная, — а похоже, что в тапочках. Платище на супруге (это Нина хорошо видит) в точечку, реденькая сарпинка, хоть и выглажено — висит. И такие они бедные! Видно, вызвали их сниматься, а им и надеть-то нечего.

И вспомнила Нина свою дорогую мамочку: сидит, может, она тоже вот так на табуретке с внучками от старшей сестрицы Кати, а папочке и написать некуда. Не по жирной чужбине скитается Федор Петрович, а сложил свои белые кости в суровой тайге, на горькой сталинской каторге...

*

Через это дурацкое фото целый день Нина сама не своя ходила. Плакала даже и всю газету прочла. Возмущалась ужасно: так все фальшиво! А не могла не прочесть.

На первой странице, вместо Сталина, Н. С. Хрущев — лысый, толстый, как секретарь горкома, лицо в желваках каких-то, уши чертячи и руку жмет знатной доярке Ахуновой. А вокруг толсто-мордые в орденах с восхищением на лице (небось не в тапочках!).

Две страницы хрущевской речи: врет, как мережкой шьет: «дела у нас замечательно хороши, товарищи!», а что «хороши», когда тут же: «на первое ноября в республике оставался несокращенным и неподобренным хлеб на площади 1 миллион 618 тысяч гектаров. Как можно было допустить подобную бесхозяйственность?»

Сколько хлеба пропало! Ведь страшно подумать! И как им не стыдно? Кого хотят обмануть?

*

Не было и мысли никуда ехать.

А вечером, как пришел муж, Нина к нему с газетой. А он: «Откуда взяла эту гадость? Здесь сплошь все наврано. Нечего и читать». И тут же, даже не посмотрел, р-раз, р-раз на куски, спустился в подвал (не поленился!) и специально сжег, чтобы и духу не было.

Нине обидно: столько переживаешь, и такой отзыв. И побранились: «Я не хочу, чтобы ты эти враки читала!», «А я хочу! Мне Родина дорога!»

Спать легли в разные стороны: Вася на правом боку, Нина на левом.



Так на этом левом боку лежать порько было! Одна, совершенно одна, и Вася не понимает!

В ту ночь впервые поняла Нина, что жить им и умереть в этой Бельгии, что захоти она ехать на родину и — нельзя: муж не пустит.

Ей и не надо, и не собирается она вовсе, а получается: у нее и своей воли нет, всякие пылесосы — пожалуйста, а если о жизни, так ей и сказать нельзя. «Всё это враки!» Сама знает Нина, что враки. Да неприятно, что он за дуру считает.

И, незаметно, назло Василию: «а вот брошу всё и уеду!», «а вот и буду читать!» Как в детстве дразнили: «мамке назло себе палец откушу!»



Решение затягивалось осторожно: потянет и опять опустит. Неделя прошла, опять принесли «Полос Родины».

«Выступление Н. С. Хрущева в парламенте Индии», «Триумфальный успех советской промышленности», «Зримые черты коммунизма».

А сзади опять интересное: статья «Я вернулся на Родину» и письма родственникам за границу.

Нина прочла и спрятала. Не хотела раздражать мужа.



Стала Нина слушать Москву по радио (Валя нашла и мать научила ловить). И как прежде бывало дома, что интересное — слушает, а где врут — просто не обращает внимания. Какой где завод построили и какая долячка что надоила — мимо ушей, а слушает музыкальные передачи, научно-популярные лекции, литературное чтение.

И Валя тут же сидит, и патриотизм в ней растет, как подсолнух на черноземе. То была вроде ни то, ни сё, а теперь — руская.

Стали ходить они с Валей в обнимку, как девушки дома. И телевизор из моды вышел.

Придет Василий домой, а дочка ему и русскую песенку споет, и вопросы задаст, и сама расскажет. И не только «Волга впадает в

Каспийское море», а хороших писателей стали читать, выписали из Брюсселя. И Вася привык, хотя больше любил, что у них уже и раньше было: «Вечера на хуторе близ Диканьки».

*

«Голос Родины» Нина прочтет и спрячет и только одним в нем интересуется: что люди родственникам за праницу пишут. Думает: мамочка старенькая — тоже могла бы написать: ей же ничего не будет. А Нина узнала бы про нее и про Катю, и как они живы, и кто теперь в нашем доме. И посылку бы им послать. Вот бы Кате отрез на платье и мамочке тоже. Уж Нина бы выбрала хорошие, не дрянн какую-нибудь, не советскую реденькую сарпинку. Еще чулки надо обязательно послать; белье хорошее есть недорого. Денег бы Нина не пожалела...

*

...И написала Нина письмо. Просто взяла и написала. Вложила туда фотокарточки всей семьи, запечатала в самый лучший конверт и отправила (заказным, конечно) прямо на старый адрес: я тут страдаю, а они вдруг да живут себе дома.

И опять всё без Васи. Помнит Нина про левый бок.

*

И пришел ей ответ от мамы:

«Ненаглядная моя доченька Ниночка!

Уж как рады были мы с Катей получить от тебя письмо. Каждый день теперь благодарим Господа Бога, что ты счастливо живешь и в таком достатке. Посмотрела я на ваши милые фотографии и поплакала, на вас глядя: такие вы все славные и красивые, так вам видно хорошо живется, в таком вы довольстве и холе. Так радо за вас мое старое сердце, что и описать не могу. Как выражу тебе, младшенькая моя, мою материнскую радость! Только разве сердечко твое добренькое тебе подскажет: помнит тебя твоя старая мама, и уж так любит, так любит, что и слова не подберет, плачет только от радости, вспоминая, как ты на моих коленях сидела, да кашку кушала, когда маленькая была.

Ниночка моя дорогая! Я-то уж думала, погибла ты, бедненькая, где-нибудь у фашистов, а ты, оказывается, жива, да за таким мужем хорошим, да с такими милыми детками. Вот спасибо, род-

ная моя, что написала старухе, обрадовала-осчастливила. Теперь знаю, что внучки мои, Валуша и Костенька, растут хорошими людьми и учатся, и вся-то жизнь им открыта, как дорога ровная.

Мы, Ниночка, с Катей здесь дружно живем, да работаем обе, да сводим концы с концами. Муж Катин, Володя, — ты его знаешь, он к нам, еще при тебе приходил, — умер три года тому назад от печени, и схоронили его тут недалеко на городском кладбище с самого краю, на правом конце, ты знаешь. Дочка у Кати растет, Клабочка-внушенька — моя радость. В этом году среднюю школу кончает, и очень боимся, уедет куда-нибудь на периферию. Туда сейчас все должны ехать.

Папочка твой не вернулся. Уж как мы ждали его в 56 году, когда всем амнистия была, уж как готовились! Да нет, видно лежат где-нибудь в суровой тайге Федора Петровича моего бельгие косточки. С тех пор уже я только за упокой души его молюсь. Не надеюсь уж больше.

Спасибо тебе, дочурочка моя бесценная, что так о нас думаешь, что посылку хочешь послать. Что можешь, конечно, пошли, мы всему будем рады. Да только знай: карточка фотографическая, что ты прислала, маме твоей гораздо дороже. Мы хоть и бедно живем, женщины глупые, но все же лучше, чем у бабушки было в колхозе, и не нуждаемся: сыты, и слава Богу.

А писать теперь можно. Не так, как было при Сталине, и ты мне пиши обязательно, доченька, хоть немного, но лишь бы знать, что вы живы-здоровы, и ты, и детишки, и Васенька твой дорогой.

Вот и кончаю. Шлю тебе, Ниночке моей ненаглядной, верную материнскую мою любовь. Вспоминаю тебя и люблю горячо, как маленькую. Храни вас Господь Иисус Христос Вседержитель!

Старая твоя мама».

✱

Белутой Нина редела над этим письмом! Подушку до пуха разпрыгла. Сил нет!

✱

А Вася пришел, пожалел. Не как тогда вышло с газетой. И так широко, как он может, от всей души и от всего сердца.

Долго сидели обнявшись, и все вспоминали про молодость и родной город. И как на мосту танцевали, и как, при немцах уже, Вася к ним заходил, возмущался, а Нинина мама: «нет, большевики еще хуже!»

В ту ночь не было одиноко: Вася теплый, родной лежал рядом и обнимал. И снова Нина расплакалась, а он, жалтеючи так, гладит ее по спине: «Нинючка моя, бедненькая!» и сам носом хмыкает: «продуло, — говорит, — сильный насморк!»

Так хорошо им обоим было, словно нашли друг друга, словно ездил в разные стороны, а вот тут снова съехались.



Поехали вместе в Брюссель, нашли посылочную контору, узнали про таможеню. Нина ахнула: буквально все цены выходят вдвое, а Вася поклялся, что пить перестанет, но посылку надо отправлять. Истратили денег уйму, и Нина так рада: ничуть не надо просить, Васенька милый все сам выбирает самое лучшее: и это, и это еще давай для Кати, для мамы, для Клабочки купим. Всем отрезы: мамочке темно-серый, чудная шерстяная материя, Кате — бордовый, к черным Катиным волосам, а Клабочке (неизвестно, блондинка она или брюнетка) пестрый, белый и синий, не в полоску, а такими разводами, необыкновенно веселенький материал и по качеству очень хороший, совсем не мнется. По три пары чулок, конечно; туфли решили потом (не угадаешь размера), а для женской души: маме к серому платью — брошь, Кате — сумочку и перчатки, в сумочку — флакончик духов, Клабочке — золотые сережки ягодками, косынку и пояс.

Всем белье. И для всех их вместе (Васенька очень настаивал) — чайный сервиз: шесть чашек с блюдечками, шесть тарелочек, крутое блюдо для торта, кофейник, молочник и сахарница; к сервизу чайные ложки, вилочки, салфетки, конечно, и скатерть. Полная сервировка.

Ну, потом шоколад, колбасу, кофе три фунта, какао. Туалетное мыло, одеколон — это все временно, в следующей посылке опять.



Решение поплыло по любви.

И посылки эти, и благодарные письма от мамы, и книжки, и радио...

Картинки, что раньше на стенках висели, — альпийские горы и девушка с голубками, — Валя сняла. На место их: Москва-Кремль. Вид с Москворецкой набережной. И вопрос: «Мамочка, чего мы здесь сидим? Мы — русские, а живем здесь, словно фламандцы. Давайте в Россию поедem».

Валечка глупая: что по радио услышит — верит. Отец ей доказывает, а она ему: «Это, папа, при Сталине было. Теперь иначе. Теперь там хорошо стало».

А Костяка наоборот (лишь бы противоречить сестре): «не хочу в Россию, здесь лучше, в России дикие варвары». Нина стала ему рассказывать, хвалит Россию и чувствует, будто в школе учительница: рассказывает не так, как есть, а как должно бы быть: все работают для народа, капитализма в России нет, и достать все можно, а перебои — это болезни роста или вылазки отдельных врагов. И, как Валя отцу, так она сыну: «плохо было при Сталине, а теперь там хорошо стало».

*

Решение стояло у порога.

Фотокарточку, — мама, Катя и Клавочка, — отдали увеличить и повесили на место девушки с голубками. Сидят наши дорогие на ней наряженные, словно фламандки: на маме крупная брошь, Катя сумочку держит в руках, Клавочка (прелесть-хорошенькая!) — платице с вырезом, сережки в ушках, чулочки, модельные туфельки.

Нина уж и забыла совсем, что на них все присланное, и думает только: это мы, несчастные, при Сталине босиком бежали, теперь там хорошо стало.

*

Решение стучалось в дверь.

Действительно: двадцать лет прошло, и в книжках пишут, и по радио говорят: лучше стало. Есть, конечно, отдельные недостатки, а где их нет? Факт налицо: с мамочкой переписываемся и посылки ей отправляем. Разве при Сталине это было?

В 56 году амнистия была, и текст имеется, и мама пишет. Вася полностью под эту амнистию подпадает, никого не убил, ничего такого не сделал.

Нина и Вася прямые люди. Написали маме письмо: хотим вернуться, ехать или не ехать?

*

И долго ждали ответ.

И очень мечтали о родине.

И только месяца через два приехал к ним на квартиру представитель советского консульства в Брюсселе. Привез подлинное письмо от Кати. Объяснил, что пишет не мама, а Катя как ответ-

ственная глава семьи. Поэтому через консульство и так сухо-деловито на очень хорошей бумаге:

«Дорогая сестра Нина!

В ответ на ваш с мужем запрос относительно возвращения на Родину могу сообщить, что вам ничего не прозит, если, конечно, твой муж не совершил преступлений, наказуемых по статьям Уголовного Кодекса.

Советское Правительство, кроме того, издало в 1956 году Амнистию, смысл и объем которой вам могут разъяснить в полномочном представительстве СССР в Бельгии.

Дорогая сестра Нина, к сожалению не могу пригласить тебя и твою семью приехать и поселиться у нас за недостатком жилищной площади. Но меня заверили, что репатриантам оказывается правительственная поддержка как в отношении устройства на работу, так и в отношении получения жилищной площади.

Очень сожалею также, что не могу поддерживать с вами переписки, так как чрезвычайно занята текущей работой.

Твоя сестра Екатерина».

Вася письмо почти не читал, а пользовался-узнавал, когда и как можно ехать и что с собой везти. Вася спрашивает, тот отвечает, и все получается можно, все — пожалуйста, все — ради Бога, хоть всю Бельгию с собой везите.

Одно не понравилось Нине: зачем Катя такая холодная-ледяная, и зачем у этого представителя глаза нехорошие-злые.

Вася говорит: «Вот женщины! Ну что тебе его глаза? Ну, что значит «нехорошие-злые»? Он здесь представляет Родину и может нам выставить визу. Не все ли равно, какие глаза!»

А Нина: «Васенька, я боюсь! Катя так пишет, а он так смотрит!»

А Вася: «Ну вот и дура! Что ж нам здесь оставаться, оттого что у него глаза не те?»

А Нина: «Васенька, а, может, правда останемся? Боязно мне».

Вася: «Сказано ехать и едем. Завтра иду дом продавать. Тебя слушать, с ума сойдешь. То тебе Катя «сестреночка незабвенная», а то «холодная-ледяная».

Нина: «Не поеду я. Нет, не поеду!»

Вася: «Поедешь. Одна в Бельгии не останешься».

И побранились. Спать легли в разные стороны.

✱

Решение заперло за собой двери. Не вырваться Нине. Столько мечтали!

Приедут к весне. Снег будет таять. Река разольется по пойме. Грачи прилетят, рассядутся на берегах. Жаворонки над мокрым полем. Небо высокое, голубое. Грязный крупичатый снег в лощинах. Сосульки. Солнце. Истома в крови.

*

А раньше зима: в зимний задумчивый вечер снег становится синий. В безветрии дымы из труб поднимаются столбиками. Столбики белого дыма на ровном розовом небе. Ох, как он сладок, пахучий дровяной дым!

*

А летом: пятнистая русская тень от яблони. Гудят шмели. С огорода пахнет укропом и пропретой сырой землей...

Ну, где это в Бельгии, где?

*

На родине Вася тоже сможет работать. Квалификация есть: прокатчик. Прокатчики в России нужны.

А на русском заводе все русские, ни одного фламандца. Работа дружная. Труд во всей стране в центре внимания. Делятся опытом. Значит и Васе помогут.

Валя и Костя дальше учиться будут. В России не хуже. В России образованные люди нужны. Еще и в университет поступят. С Клавычкой Валя подружит. Маме и Кате они помогут.

Ина труда не боится. Воду носить придется? Что ж, и раньше носила, невелика беда!

*

На пыльной улице очередь у колонки. Разговоры. Вода бьет сильно, серебристо сверкает и брызгает. Где набрызгалю, пыль, как жидкое тесто, липнет под босыми ногами.

Парень затеял стирать рубаху. Смех: смотри не протри до дыр!

*

На родине все говорят по-русски. На родине все, как родные. На родине камни греют. На родине небо выше и воздух чище. На родине любят друг друга, живут, как в дружной семье...

На родине, ах, на родине...



Телевизор, холодильник, стиральную машину, автомобиль упаковала бельгийская фирма. Они уже ушли малой скоростью в СССР. Адрес точный — пропасть ничего не может. Вася купил плацкарты в спальном вагоне Париж-Москва. Валю и Костю увозят с их родины, Бельгии.

Решение захлопнуло чемоданы. Границу они переедут у Бреста.



И, как бабушка, открывая колхозный свой дом, сказала Ниной маме: «чего вы приехали?», так скажет Нине ее дорогая мамочка: «той жизни, что вы мечтали, здесь нету. А надо Васе в трехдневный срок заполнить большие анкеты, отчитаться советской власти, что сделал за двадцать лет, с сорок первого по шестьдесят первый год».



Бедная моя Нина! Не воду придется тебе носить, а бетон для великой стройки. Не в гремучем прокатном цехе, в темной северной шахте засыпет твоего Васю. И не за наукой по университетам, а за трактором по вздыбленной целине пойдут твои Валя и Костя.

Ждут тебя горе, досада, нужда, сожаления, слезы. И только гудения русских шмелей в пятнистой тени от яблони, запаха милых трав и теплой родной земли никто у тебя не отнимет.

А где это в Бельгии? Где?..

София Прегель

По лесу туман и тление,
Все папоротник глушит...
И те же стволы осенние,
Но негу у них души.

Когда-то было другое,
Вяжущее тепло,
Стояло небо дугою,
Облаками цвело.

Где утром ветви бушуют,
Сердятся и стучат,
Тяжелодумная туя
Плавилась, как свеча.

Он кончился мир влюбленный,
Тонувший в солнечной мгле,
В закатном дыму топленьи.
Он кончился мир зеленый...

Я смотрю, как скачет ворона
По щербатой жесткой земле.

Красная каша

(Миниатюры)

ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

Седой оперуполномоченный, похожий на писателя Тихонова, задал первые, ничего не значащие вопросы: фамилия, имя и отчество, год и место рождения? — побарабанил пальцами по столу, вынул из ящика чистый лист бумаги и ушел.

Кроме этого листа на столе ничего не было.

Время тянулось. Веселовский мучительно думал над тем, почему его вызвали, о чем будут спрашивать. Лихорадочно вспоминал встречи последних месяцев, все, что ему говорили и что он говорил. Вспомнил недавнюю поездку на дачу к известному поэту, и стихи его, странные, обивчивые: не для печати. Хотел забыть их и не мог.

Время тянулось томительно. Теперь он перебирал вопросы, какие могут задать, и тут же отвечал на них, и никак не мог найти самых лучших, самых безопасных ответов.

Кто-то подошел сзади. Он не видел: чувствовал. Весь сжался, как перед ударом.

Кто-то тихо сказал:

— Ничего не знают, ничего не говори!

Обернувшись, увидел широкую спину, коротко подстриженный мальчишеский затылок.

Чистый лист бумаги по-прежнему белел на столе.

ДВОЕ ЗА СПИНОЙ

Новый следователь был курнос, конопат — не следователь, а гармонист из слободки. Только в глазах под припухшими веками — змеиное.

Он лениво сказал:

— Учти: надо раскалываться... А то, знаешь?

Неспеша сжал кулак — в веснушках, в рыжей шерсти — и опустил на стол.

— Учти и раскалывайся, да поскорее! Нечего тянуть... Вот тебе бумага и карандаш. Пиши!

— Что писать?

— Что писать? Ты не знаешь? Покушение на вождей готовил? Готовил. Банду диверсантов сколотил? Сколотил.

— Это ложь, этого ничего не было!

— Ложь? Это мы-то, чекисты, лжем? Так, по-твоему?

Он поднялся из-за стола, прошел к двери, открыл — и тотчас в комнату вошли двое (ждали, значит) и молча стали позади Гурьева. Он даже лиц не успел рассмотреть.

Они молча стояли за спиной, следовательно подошел вплотную.

Когда Гурьев закричал, его сбили на пол, топтали ногами, пока не потерял сознания. Его допрашивали несколько ночей подряд, опять били, но так, чтобы сразу не убить. И не убили: все выдержал. И теперь рассказывает охотно, как солдат, переживший ночные и дневные бомбежки, танковые и штыковые атаки.

Только об ужасе перед неизвестным, когда стояли двое за спиной, — никогда не говорит.

ЧУВСТВО ЮМОРА

Город — южный, веселый. Тюрма — на окраине. За нею — зеленый простор, но из тюрьмы его не видно: окна закрыты деревянными щитами, а в подвале, где камеры смертников и парилка, окон вовсе нет — одни узкие щели для свежего воздуха.

В парилку отправляли особо упорствующих. Потанин тоже упорствовал, отказывался подписать сочиненный следователем протокол, по значению — смертный приговор.

Следователь попался буйный. Он орал, выбегал из-за стола, чтобы дернуть за волосы, ударить. Ударит — и трусливо отскочит. Он был отвратителен и смешон, этот тонконогий, кривоногий человечешка в широченных синих галифе. Он кружился вокруг своей жертвы, как летучая мышь, и Потанин, не терявший никогда чувства юмора, пошутил:

— Не бойтесь, бейте смелее!

Следователь задохнулся от бешенства, зашелся, как ребенок в коклюше. В ту же ночь Потанин очутился в парилке.

Войти в нее было нельзя: там люди стояли, как в переполненном трамвае. Надзиратель, — «архангел» на языке заключенных, — упершись Потанину в живот, втиснул его, придавил дверью, запер, наконец.

В парилке люди стояли неделями, с одной единственной пятиминутной прогулкой в день на оправку, с редкими вызовами на допросы, что считалось уже счастьем. В парилке умирали молча, без крика, без стона, чтобы не беспокоить, не волновать товарищей: в тюрьме товарищество крепко, как нигде.

Мертвецы стояли здесь вместе с живыми, пока криком всей камеры не вызывали «архангелов», и, потеснившись, сколько хватало сил, выносили мертвеца в коридор, стремясь продлить минуты, пока дверь открыта, стараясь дышать глубже затхлым подвальныйм воздухом, потому что в парилке дышать было нечем.

В парилке Потанин пробыл больше месяца, так и не подписав протокола, который совал ему в лицо следователь на очередном допросе, но после всего пережитого, уже чудом вырвавшись на волю, — никогда больше не шутил.

ВСЕ ПРОЩАЮ

Он простоял на «стойке» двое суток. Ни о чем не мог думать. Только бы лечь. На полу. На улице. Просто на дороге, в осеннюю грязь. Он ясно видел эту дорогу с дождевой водой в колеех. Он галлюцинировал, терял сознание, падал. Его обливали водой, поднимали — и он продолжал стоять, не чувствуя под собою ног, снова падал.

Последний раз очнулся в знакомом кабинете. Знакомый следователь говорил ласково:

— Постоял, подумал, а теперь надо подписывать. Зачем же мучить себя зря? Подписал и с плеч долой.

Щеглов с трудом понимал следователя. В голове крутились обрывки мыслей, спину ломило, распухшие ноги чугунными обрубками свисали с высокого табурета, куда его с трудом посадили.

— Подписывай! — протянул следователь заранее заготовленный протокол допроса.

Щеглов разлепил спекшиеся губы:

— Нет, не буду...

— И теперь не будешь? — удивился следователь. — Жаль, очень жаль, но ничего не поделаешь: придется на очную ставку тебя. Свидетеля и соучастника знаешь хорошо!

— Какой свидетель, какой соучастник?

— А вот сейчас увидишь.

Она вошла с конвойным, тяжело опустилась на стул напротив Щеглова. Он с ужасом взглянул в землистое лицо:

— Зина?

Она начала ровным голосом, как первые ученики отвечают затверженные уроки:

— Гражданин Щеглов втянул меня в контрреволюционную организацию, ставившую целью свержение нашего социалистического строя, гражданин Щеглов давал мне шпионские задания от иностранных разведок, и я выполняла их...

— Зина! — крикнул он срывающимся голосом. — Зина, что ты говоришь? Какая организация, какие задания?

Землистое лицо ее дрогнуло, и он уловил едва заметное движение руки, увидел ее ноги: там, где лопнули чулки, синело безжизненное, мертвое.

Ее подхватили под руки, выволокли из комнаты.

Почти теряя сознание, не читая, он подписал протокол.

И до последнего часа своего, когда вели его по узкому коридору, где приговоренных убивали выстрелом в затылок, не мог он простить себе, что не сказал ей: всё понимаю, всё прощаю!

КРАСНАЯ КАША

Измученная бессонными ночами жена заснула на стуле. Он ходил из угла в угол, прижав к груди пылающее жаром тельце дочери.

Кризис, конечно, кризис, но доктор спасет... Несмотря на поздний ночной час, доктор обещал приехать с минуты на минуту.

Полковник Серпилин женился поздно, поздно стал отцом, скрывал от всех неведомую раньше, трогательную и болезненную, любовь к дочери.

Дочь первый раз заболела серьезно — и первый раз в жизни полковник Серпилин, герой гражданской войны, орденосец, командир полка, известного всей армии, — по-настоящему растерялся.

Он никогда не терялся на фронте, не растерялся и в этом, полном тревог и опасностей году, когда одного за другим брали старых друзей и товарищей.

Когда заболела дочь, ни о чем, кроме нее, не мог уже думать.

Она то бредила, то успокаивалась — и тогда утихала на время тревога, сжимавшая сердце. Потом все начиналось сначала.

Она повторяла все одно и то же:

— Каша красная! Каша красная! Каша красная!

Ее звонкий голосок, широко открытые невидящие глаза пугали его, и он повторял вслед за нею:

— Только бы доктор, только бы скорее доктор!

Звонок зазвенел громко, настойчиво.

Он передал дочь сразу вскочившей жене, открыл дверь.

Вошли четверо. Старший, майор НКВД, предъявил ордера на арест обоих: и самого полковника, и жены.

Он медленно перечитал ордера, оглянувшись, увидел серое лицо жены, разметающуюся у нее на руках дочь — и кинулся к письменному столу.

В те последние секунды, когда вырывал из кобуры револьвер, в него выстрелили сразу двое.

У нее долго не могли отнять ребенка.

Дневники. Воспоминания. Документы

Борис Филиппов

Богдан

Памяти Богдана Ивановича Саганова --

Леонида Богданова

Уже дед был актером. Как бросил хозяйничать в своем маленьком имении, заложённом и перезаложённом во имя украинского театра, так и пошел в актеры. Имение было продано, деньги ушли на тот же театр — и на кочевую, беспокойную жизнь тогда еще не украинского, а малороссийского актера. Было в деде какое-то гармоническое смещение устоявшегося мелкопоместного быта панков Киевицны, разгула киевских бурсаков и драматического надрыва и лирики лишенных оседлости артистов украинских трупп. То с задумчивой слезой, то с крутым хохлацким юмором любил помянуть дед Саксаганского и Карпенко-Карого, Заньковецкую и Кропивницкого, с которыми протекла его молодость, с которыми изъездил он всю Россию — от Бендер до Владивостока, от Армавира до Архангельска. До стадвухлетнего возраста не оставлял дед сцены, переиграв буквально все роли ходового репертуара — и решительно во всех амплуа — от героя-любовника до благородного отца и резонера. А здоровьем небо деда не обделило: уже девяноста двух лет он женился в третий раз — и женился на тридцатипятилетней: бросила она старика только, когда ему стукнуло сто один. И до конца дед оставался все таким же сухопарым, но крепкостным и мускулистым, с пышными свисающими серебряными усами и густой гривой седых волос, подвижным и любившим повеселиться. Вот уже скоро и спектакль, а деда на репетициях нет как нет. Правда, все свои роли он знал наизусть — за десятки лет своего служения украинским Мельпомене и Талии он их выучил насквозь и даже глубже, — но все-таки отца, перенявшего лет с тридцать назад дедову антрепризу,

отсутствие старика в театре не могло не беспокоить. Неровён час — ведь лета-то какие. А дед, по обыкновению, заваялся в цыганский табор, в соседний город на ярмарку или просто загулял всю — на недельку-другую. Но к спектаклю всегда бывал на месте, хотя и не всегда вполне трезвым. И о том — где он был и чем забавлялся — ни гу-гу. Сидит, бывало, дед за столом и неопределенно вертит пальцами.

— Что-нибудь не так? Невкусно? — недовольно спросит его невестка, Богданова мать. И продолжает начатый разговор об очередном спектакле: ведь все в семье были актерами.

— И это ты называешь чаем?! — возмущенно отвечает дед: — Да это же не чай — пареный веник. Вот на соседней улице у Ахтырина чай — вот то — чай! Постой, я сейчас принесу...

Дед срывается с места, нахлобучивает шляпу — и только его и видали. Нет его неделю, не показывается он и на другую неделю. Стороной узнается, что загулял дед на соседней ярмарке. Но через десять-пятнадцать дней он появляется, как ни в чем не бывало, хмуро протягивает жене или невестке восьмушку чая, буркнув: — Завари-ка вот этого... Это не твоя бурда...

Ох, сколько было возни отцу с актерами! Труппа состояла из деда — благородного отца и комического старика, отца — на первые характерные роли, матери — сперва — лирической героини на роли дивчин, а потом — героини на более пожилые роли, двух-трех актеров и певцов первого плана, двух актрис первого тоже плана, да десятка хористов, из которых несколько могли исполнять и роли второго и третьего плана. Прибавьте к этому нескольких евреев-скрипачей и дирижера — маэстро Могилевского, — вот вам и труппа. Духовиков нанимали — по надобности — на месте, главным образом, из оркестров местных пожарных команд. Скрипачей брали только евреев: — играют со слезой, душевно инструмент используют. Да и все местные песни наизусть знают: с ними легче. Зато сущая мука была с «первыми сюжетами». Приезжаешь в какой-нибудь город. И сразу начинается:

— Как? Грицку Колесниченко номер снят в «Грандопеле», а мне, мне, — Панасу Крутяку, — в какой-то второразрядной «Европейской»?! Да я у Карпенко-Карого играл! Да меня хоть сейчас сам Саксаганский с руками оторвет! Ухожу! Не буду играть!

А Колесниченко тоже лезет в бутылку: — Что это? Мне, герою, да еще тенору, комната без ванны? Да я не то что к Саксаганскому, — да меня Харьковская опера сразу возьмет...

Вот и улаживай, уламливай, утешай впадавших в истерику актрис. А вечером герой-тенор на спектакль — первый спектакль в

городе! — является вдрызг пьяным. Вот тебе и «Ой, не ходы Гриццо тай на вечорныццо»... Но актер был, что говорить, с огромым обаянием, опытом и сноровкой. Выпихнут его из-за кулис на сцену, он еле на ногах стоит, прямо валится — и что-то мычит да глазами карими поводит. Суфлер даже уж и не старается: все равно бесполезно. А публика от восторга ревет: до чего ж, мол, натурально человек скорбь изображает — и не хочешь, а слеза прошибет. Играл, подлец, прямо талантливо. И с таким душевыворотом и надрывом, что прямо редко увидишь. А уж как запоем, так все с ума сходили. А студентки и молодые бабенки следом ходили за ним стаями — ну, прямо собачья свадьба.

Самые примитивные декорации, инвентарь, чуть получше костюмы. Но и после революции — все тот же мелодраматический репертуар — безо всякой идеологии, — все те же за душу хватающие песни, лихая огневая пляска, самозабвенная игра артистов. А декорации — да как их заведешь, когда сегодня играешь в Самаре, через неделю в Ростове, а через месяц во Владивостоке! А публика переполняла кочевой театр, неистовствовала на «Гайдамаках», «Наталке Полтавке» или «За двома зайцями». И мальчишка Богдан стоял в кулисах, впитывая в себя сызмалу и гопак и рыдание на сцене, и всю пеструю актерскую жизнь, когда не знаешь, где больше театральщины: в быту или на сцене...

Через всю Россию, нигде долго не останавливаясь. И только после нэпа не стало мочи: антреприза стала такой обузой, что надо было оседать, поступать в какой-нибудь государственный стационарный театр. А то только и оглядывайся, как бы братья-актеры не обвинили: — Эксплуататор! Кулак! Капиталист! — И доказывай потом, что у капиталиста в одном кармане вошь на аркане, а в другом... Да ну их к ляду! И сын подрастает — пора подумать о школе...

Но школа в Одессе конца двадцатых годов была... И всюду она тогда, впрочем, была такой же или почти такой. Да и не до нее было. Надвигался голод. Дети промышляли где и чем могли. Чуть ли не основной мыслью было: где бы достать чего пожевать. А потом и вовсе стало круто. В тридцать третьем падали и умирали на улицах городов. Вымирали целые села. Но голод не убил любопытства и жадности к чтению. После полуавантюрного дня — не до ученья, когда и учителя, и ученики еле ноги таскали! — дня, посвященного чаще всего полубесполезному рысканью за какой-нибудь пищей, — вечером экспедиция через чердачное окно в верхний этаж соседнего дома: там помещался клуб металлистов, была при клубе большая библиотека. Клуб закрыли или перевели

в какое-то другое помещение, старое помещение забрали под какие-то иные нужды, книги все выворотили из шкафов и струдили на верхнем этаже, дом заколотили — и пока что позабыли — зачем же его и для чего освобождали? Ну, а Богдан повадился выуживать из этих книжных завалов самые увлекательнейшие книги: поковырявшись в куче Марксов и Сталиных, отпихнув ногой тысячи томов Ленина и всяческих диаматов, усесться на книжной куче и выворачивать из нее русских и иностранных классиков, приключенческие романы, томы Дюма и Стивенсона... А затем с торжеством, когда совсем стемнеет, тащить целые оберёмки книг домой...

Но жизнь актера и в стационарных театрах непостоянна. Сегодня — Одесса, завтра — Киев или Днепропетровск. Так незаметно подходит и юность, а там, гляди, Богдан, кочующий с родителями из города в город, уже и студент Политехнического. Техника никогда не была чужда ему, но больше влечет сама жизнь, литература, театр. Сказывается наследственность, да и сам Богдан одарен сильным чувством сцены и природными данными для театра: высокий, плечистый, с правильными чертами лица, ловкий и подвижной.

В парашютном отряде, в котором Богдан к середине войны стал командиром, эта артистичность и подвижность сыграла хорошую службу. В глубоком тылу у немцев, выдавая себя то за польских мясцов, то за белорусских землеробов, отряд Богдана наносит мелкие, но чувствительные удары частям вермахта. Взрываются мосты, разрушается полотно железной дороги, навалом тяжелых лесин перегораживаются шоссе.

И однажды на Большую землю посылается весть: командир отряда, Богдан, погиб смертью храбрых при исполнении боевого задания. Часть отряда уцелела, рассосалась по лесам, а Богдан был поднят немцами. Только железный организм мог выдержать: выбит глаз, повреждена грудная клетка, сломаны ребра.

Но через короткое время Богдан — офицер РОА. Переход во Власовскую Армию был совершенно естественным: таким же естественным, как у сотен тысяч таких же советских солдат и офицеров: ну, с немцами потом справимся, да они-то уже при последнем издыхании, а нам надо подрагаться за вольную Россию! А Богдан-то слишком хорошо знал советскую жизнь: недаром исколесил страну с отцом вдоль и поперек.

Дальнейшая эпопея общеизвестна: бегство из одного города в другой, когда война закончилась и по боговдохновенному Ялтинскому соглашению начали выдавать бывших советских граждан

на суд и расправу — доброму старому Джо. Затем — попал-таки в тюрьму, откуда могли в любую минуту выдать советским репатриационным офицерам. Каким-то чудом выкарабкался, организовывал всяческие побеги власовцев и остовцев из лагерей смерти — репатриационных и тюремных, снабжал их сфабрикованными фальшивыми документами, доказывающими, что они — старые эмигранты. Затем, когда немного поутихло с репатриацией, организовывал антисоветские бюллетени, печатал на ротаторе книжки и журналы, наконец, вместе с несколькими уцелевшими власовскими офицерами, организовывал Союз Борьбы за Освобождение Народов России (СБОНР) и ЦОПЭ.

И писал, писал, писал. Писал юморески в «Сатирикон» и эмигрантский «Крокодил», писал статьи и сообщения, рассказы и сатирические сценки, повести и радиотеречи...

Женитьба, дети — все это никак не ослабило ни живости характера, ни писательской продуктивности.

Богдан был исключительно одаренным человеком: писал он много и легко, и только что стал вырабатывать свой, никому другому не свойственный пошиб. Его первая книга — «Телеграмма из Москвы» (1957), книга рассказов «Без социалистического реализма» (1961), фантастико-сатирическая повесть «Шуба», опубликованная в нью-йоркской газете «Новое Русское Слово» (1961) — это, собственно, только первые серьезные опыты: в авторе таилось много больше. Богдан прислушивался к голосу читателей, он не был глухим к деловой и дельной критике. И рос как писатель на глазах.

Первая книга его имела большой успех. Одна из журналисток писала мне о ней: «Вы с вашей академической сухостью и заумностью никогда не поймете прелести такого полнокровного, легкого и, по-своему, изящного остроумия, каждой фразой бьющего в цель; это все равно, если бы шкаф-мастодонт (это вы) взялся танцевать мазурку»... «Книга поистине замечательная, по-своему — гениальная»... Оценили книгу и сухой «Новый Журнал», и «белопардеевский» «Часовой», и более левая пресса, и «Новое Русское Слово».

Но это было только начало писательства. Как увлекательно и живо, талантливо рассказывал Богдан! Вот рассказывал он и о своем детстве, — и осколки рассказов его я и передаю вам, ослабленные ущербом памяти и невольным оглядом — не переврать бы! — пересказчика.

Солидная старая дама, в прошлом — видная общественная деятельница и литератор, публицистка и политическая фигура —

внимательно прислушивается к нашей беседе: собрались бывшие власовцы, все бывшие «подсоветские»:

— Мы прощаем вас, — тихо говорит она, прерывая чью-то реплику: — отсутствие воспитанности, некоторая доля невежества — это, в общем, не ваша вина... И вы, советские люди, не можете быть полностью ответственными за все преступления советчины...

— Спасибо, — в тон бывшей политической деятельнице кротко и только неуловимо-насмешливо отвечает Богдан: — спасибо: да, это, очевидно, мы, рожденные в восемнадцатом, бунтовали в пятом и шли под красными знаменами в семнадцатом: ну, что же, нас надо за это простить...

— И чего это ты пишешь стихи? — обращается как-то Богдан к достаточно популярному поэту: — Ведь сейчас мало кому нужно такое вчерашнее пиликанье: если нет силы — не пиши стихов... — И продолжает — уже словами Саши Черного:

Дама, качаясь на ветке,
Пикала: «Милые детки!
Солнышко чмокнуло кустик,
Птичка поправила бюстик
И, обнимая ромашку,
Кушает манную кашку...»

Стихотворец разъярен, а Богдан не смущается: он привык совершенно откровенно и без экивоков высказывать свои литературные мнения — и даже об общепризнанных высоких авторитетах, о которых и в эмиграции, и в Советах принято говорить только приглушенным лакейским тоном: как же-с, — нобелиат-с...

— Бора, выкини ты этот свой рассказец: дерьмо, — совершенно искренне и без тени враждебности советует он мне: мы постоянно читали друг другу написанное. Иногда я начинаю спорить, но часто соглашаюсь: Богдан обладал редким даром товарищества и дружелюбия — и никогда не руководствовался в оценках никакими косвенными соображениями.

Придет, бывало, веселый, большой, кровь с молоком — красивый богатырь. Иной раз что-нибудь пригласит: то рыбу, то помидоры и огурцы из собственного огорода. Увлекающийся, он целиком отдавался своему очередному увлечению: если поедет ловить рыбу, то ловит ее до полного отчаяния жены и домашних: — Ну, куда ее девать! Все заполонили... — Если увлечется огородом, посадкой цветов — тоже до полной потери сил. — Ну, не хотите

— понесу рыбешку Борису... Да и огурцов ему прихвачу... — И вот он не только принесет, но еще очень увлекательно расскажет про рыбалку, про то, как растут его огурцы — и как нужно насыпать в его огороде привозную почву: участок Богдана — сплошные галька и щебень...

Так же навалом, не отрываясь от стола часами, он писал и свои рассказы и повести. И начал совсем уже вырабатываться в заметную фигуру в небогатой — особенно юмором — русской сегодняшней прозе. Уже появились свои образы, свой язык, свои приемы построения. Первые литературные успехи, полным полно не только новых замыслов, но и почти доработанных повестей и рассказов — и вдруг эта нелепая, воистину наглая смерть.

Богдан умер в полном расцвете сил. Умер сорока трех лет. Умер, прожив богатую и впечатлениями, и творчеством — хотя и короткую — жизнь. Да, буквально насыщенную творчеством. Ибо творчеством были его устные рассказы, творчеством были его незаконченные наброски, да немало осталось от него и законченных и почти что уже отделанных вещей.

Прекрасный товарищ, подлинный друг, — мне как-то не хочется писать о нем, как писателе: слишком жив у меня в душе облик живого, близкого человека. Да и не укладывается он — этот облик — в канонические формы очерка: он не отошел еще, он еще слишком близок. И хотя это, написанное мною, и непропорционально — больше о деде, чем о Богдане, больше о детстве, чем о том Богдане, которого я знал; — хотя это все и не статья, и не очерк, — но мне хочется именно так упомянуть друга: он обещал сам рассказать о своем детстве — и не успел: передаю то, что запомнил из его рассказов.

И, может статься, хорошо, что Богдан рисуется как человек чем-то большим, чем как уже осуществившийся писатель: в нем была всегда потенция — воля к возрастанию, к все большему прорастанию в жизнь и мастерство, к все большему одухотворению нашей бедной и вконец изманиричавшейся сегодняшней прозы.

Осип Мандельштам

Осип Мандельштам... трудно даже найти подходящие слова, чтобы передать свое отношение к его поэзии.

«Один из чудеснейших поэтов нашей эпохи...»

«Магия мандельштамовских стихов...»

Таких определений можно выписать много, — и все-таки останется ощущение неполноты, незаконченности многих и многих анализов творчества Осипа Мандельштама.

Его имя, как драгоценный камень, засияло в 1910 году в «Аполлоне» и на петербургских поэтических собраниях для немногих, а для всех, то есть для «не-петербуржцев», для провинции, для будущей его всероссийской известности, — в 1913 году, с выходом его первой книги стихов «Камень».

Не будем увлекаться.

В 1913 году Мандельштаму до всероссийской известности было еще далеко.

Очарование его строк, новизна ритмов, интонаций и его магических образов — поражавших, входивших в сознание навсегда и, сколько не перечитывай, остававшихся первозданно свежими, создали ему репутацию сначала в сравнительно узком кругу поэтов и ценителей поэзии, — так было до конца предреволюционного периода и даже в первые годы после революции.

Но с 1923 года Мандельштам как-то вдруг становится одним из первых поэтов, о нем пишут большие статьи, он издает десять книг стихов и прозы, получает доступ в высшие сферы.

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает...

В трагическом воздухе революции, среди разрушения столь дорогой ему дореволюционной поэтической атмосферы — умирания Петрополя, Мандельштам, несмотря на пришедшую к нему славу, стал задыхаться.

Дальнейшие годы — это непрекращающаяся борьба с «веком», как он говорит, то есть с тем, чего он не мог принять, под чем ни за какие славу и почести он не подписался бы.

А время было жестокое, беспощадное.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по шкуре своей.
Залпхни меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Борьба с веком, как мы знаем, окончилась для поэта трагически: тюрьма, лагерь, Сибирь, смерть при до сих пор еще не выясненных обстоятельствах.



Мне хотелось бы сначала набросать в нескольких штрихах облик Осипа Мандельштама, пользуясь для этого свидетельством лиц, близко его знавших, и моим впечатлением от встречи с ним в Киеве в 1919 году.

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве 15 января 1891 года, детство и юность провел в Петербурге и в Павловске.

Семейная его обстановка была «трудной и запутанной», как определил он сам.

Об этом же говорит и М. Карпович в статье «Мое знакомство с Мандельштамом», с которым он встретился 24 декабря 1907 года в Париже («Новый Журнал», книга 49-я):

«О своей семье Мандельштам мне почти ничего не говорил, а я его не расспрашивал... Как-то раз только, не помню уж в какой связи, он дал мне понять, что в его отношениях с родителями не все было ладно. Он даже воскликнул: «Это ужасно, ужасно!»; но так как он вообще злоупотреблял этим выражением, то я тогда же заподозрил его в преувеличении. Я и сейчас думаю, что если родители Мандельштама дали ему возможность жить в Париже и заниматься, чем он хочет, то значит не так уж равнодушно относились они к его желаниям и не так уж тяжки были лежавшие на нем семейные пути».

Георгий Иванов, друг Мандельштама, прекрасно знавший его

личную жизнь и семейные обстоятельства, в своих «Петербургских зимах» подтверждает разлад в семье Мандельштама:

«Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом. И зимой и летом — обеды в грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона. Тень судебного пристава, вежливая и неумолимая, дымящийся бурый сургуч... Слезы матери — что мы будем делать? Отец, точно лейденская банка, только тронь — убьет... Висячая лампа уныло горит. Чай нейдет в горло. «Что мы будем делать?» Вексель предъявлен к протесту... Тяжкая тишина. Из соседней комнаты — хриплый шопот бабушки, сторбленной над Библией: страшные, непонятные древне-еврейские слова.

Ничего — как-то обходится. Пристав снял печати. Вексель согласились переписать. Снова надежда...

Отец Мандельштама был коммерсантом-неудачником, «чахоточным, затравленным, вечно фантазирующим... вот, наладится кожаное дело».

Мать Осипа Мандельштама была родственницей проф. С. А. Венгерова.

Сергей Маковский в своих «Портретах современников» не без юмора рассказывает, как она привела робевшего и смущавшегося юного Мандельштама в редакцию «Аполлона» и настояла, чтобы «Аполлон» начал печатать молодого поэта: так Сергей Маковский открыл Мандельштама.

Проф. М. Карпович дает такой портрет юного Осипа Мандельштама:

«По соседству с нами, за отдельным столиком (встреча произошла в Париже, на бульваре Сен-Мишель) сидел какой-то юноша, привлечший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше всего он был похож на цыпленка и это сходство придавало ему несколько комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых прустных глазах было что-то очень привлекательное».

Георгий Иванов («Петербургские зимы») рассказывает о своей первой встрече с О. Мандельштамом.

Гумилев знакомит их:

«Так вот он какой — Мандельштам!

На щуплом теле (костюм, разумеется, в клетку, и колени, разумеется, вытянуты до невозможности, что не мешает явной франтоватости: шелковый платочек, галстук на боку, но в горошину и пр.), на щуплом маленьком теле несоразмерно большая голова. Может быть, она и не такая большая, — но она так утри-

рованно откинута назад на чересчур тонкой шее, так пышно выются и встают дыбом мягкие рыжеватые волосы (при этом посредине черепа лысина — и порядочная), так торчат оттопыренные уши... И еще чичиковские баки пучками!.. И голова кажется несоизмерно большой.

Глаза прищурены, полузакрыты веками — глаз не видно. Движения странно несвободные. Подал руку и сразу отдернул. Кивнул — и через секунду еще прямее вытянулся. Точно на веревочке».

Это портрет Мандельштама в конце 1910 года, две недели спустя после выхода ноябрьской книги «Аполлона» с его стихами.

А вот Мандельштам более позднего периода:

«В течение нескольких лет, от 1912 до 1918 или 19 года, когда он уехал из Петербурга, я довольно часто с ним встречался, — в университете, где романо-германский семинарий еще оставался лабораторией и штаб-квартирой акмеизма, в «Бродячей собаке», в частных домах», — говорит Георгий Адамович в своей статье «Несколько слов о Мандельштаме» во втором выпуске альманаха «Воздушные пути». «Не колеблясь я скажу, что от этих встреч осталось у меня воспоминание неизгладимое, ослепительное, и что по умственному блеску и умственной оригинальности, по качеству, по уровню этой оригинальности, Мандельштам был одним из двух самых исключительных поэтических натур, каких пришлось мне знать... В памяти моей образ Мандельштама неразрывно связан с воспоминанием об Анне Ахматовой. Их имена и должны бы войти рядом в историю русской поэзии. Он ценил ее не меньше, чем она его, — и если бы все это не было давним прошлым, я мог бы многое привести из его суждений и отзывов об ахматовских стихах».

Я встретил Осипа Мандельштама в Киеве, в начале 1919 года, в помещении клуба «Хлам» («Художники, литераторы, артисты, музыканты») на Николаевской улице, где днем «свои» могли сидеть в зале за столиком и пить кофе — любимое место встреч киевских поэтов*).

Невысокий человек, на вид лет тридцати пяти (Мандельштаму в то время было 28 лет, он выглядел старше своего возраста) то, встав со стула, делал несколько шагов по залу, то вновь возвращался на свое место, садился и что-то писал, покачиваясь, не обращая внимания на принесенную ему чашку кофе.

«Поэт, — решил я, — но кто?»

* Ю. Терепиано. «Встречи». Изд. имени Чехова, 1953, Нью-Йорк.

В это время в «Хлам» вошел мой друг, киевский поэт Владимир Маккавейский.

Я поделился с ним моим открытием.

Как всегда решительный, Владимир Маккавейский подошел к незнакомцу и представился ему с изысканной любезностью.

— Осип Мандельштам, — последовал ответ.

Маккавейский подозвал меня, и через несколько минут разговор шел о стихах; точнее — говорил и задавал вопросы Маккавейский, он обладал даром заводить новые знакомства.

Оказалось, только что приехав в Киев, — подкормиться, на севере голодно, — Мандельштам пошел осматривать город и случайно забрел в «Хлам».

«— Я пишу стихи медленно, порой — мучительно-трудно. Вот и сейчас никак не могу окончить давно начатое стихотворение, не нахожу двух заключительных строк», — с серьезным, глубоким выражением лица и в то же время с какой-то детской доверчивостью поделился своим затруднением Мандельштам.

Это было его прекрасное стихотворение «На каменных отрогах Пиэрии...», впоследствии напечатанное впервые в киевском альманахе «Гермес» и затем вошедшее в книгу «Tristia». В последней строфе:

Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко...

не хватало двух заключительных строк, которые Мандельштам искал здесь, в «Хламе».

С присущей ему формальной находчивостью, Маккавейский, на минуту задумавшись, подсказал:

Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

Если вслушаться в музыку этих строк, они и суше и фонетически беднее мандельштамовских.

Про себя я ахнул от такого «кошунства», но, к моему несказанному удивлению, Мандельштам принял их: в таком виде стихотворение и осталось!

Мандельштам пробыл в Киеве несколько месяцев, принимал участие в собраниях поэтов и в литературных вечерах, напечатал несколько стихотворений в киевских журналах.

В жизни он был незащищен, непрacticен, наивен.

С ним постоянно случались всякие приключения.

Так, зайдя навестить знакомого в дом, где помещался Военный комиссариат, он попал не туда, его приняли за призывного и чуть-чуть не мобилизовали.

В другой раз, желая купить незаконным способом несколько яиц, он попал в милицию, и т. п.

В конце концов, после занятия Киева Добровольческой Армией, Мандельштам умудрился оказаться в бывшей квартире видного советского чиновника — предложили «охранять квартиру» — милые знакомые оказали услугу...

Контрразведка арестовала его, — а тут еще еврейское происхождение!

С большим трудом два поэта из киевлян, имевшие нужные связи, выручили его из-под ареста и при первой возможности отправили в Крым.

Как и всё, что он делал, Мандельштам и стихи читал необыкновенно.

Лучше всего мандельштамовское чтение изобразил в своих «Петербургских зимах» Георгий Иванов:

«Он тоже пел и подвывал. В такт этому пенью он еще покачивал обремененной ушами и баками головой и делал руками как бы пассы. В соединении с его внешностью пение это должно было казаться очень смешным. Однако не казалось.

Напротив, — чтение Мандельштама, несмотря на всю его нелепость, как-то околдовывало. Он подпевал и завывал, покачивая головой на тонкой шее, и я испытывал какой-то холодок, страх, волнение, точно перед сверхъестественным. Такого беспримесного проявления всего существа поэзии, как в этом чтении, как в этом человеке (во всем, во всем, даже в клетчатых штанах) — я еще не видал в жизни.

И еще раз мне пришлось удивиться в этот первый день нашего знакомства. Кончив читать — Мандельштам медленно, как страус, поднял веки. Под красными веками без ресниц были сияющие, пронизывающие, прекрасные глаза».

Отличительной чертой Мандельштама была его смешливость. Он смеялся вдохновенно, давясь от смеха, по-детски, очень любил все смешное, сочинял эпиграммы и комические стихи.

Одна из эпиграмм и явилась причиной его гибели.

«Мандельштам появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза, — у

него были веки прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание, на молитву.

Читая стихи, он погружался в «аполлонический сон», опьянялся звуками и ритмом. И, когда кончал, — смущенно открывал глаза, просыпался, — рассказывает К. Мочульский (Журнал «Встречи», Париж, ноябрь 1945).

До конца 1932 года Мандельштам печатал сравнительно часто — в «Звезде», в «Новом мире», в «Литературной газете» — стихи и прозу.

Последними по времени были три его стихотворения: «Ленинград», «Полночь в Москве» и «К немецкой речи», помещенные в «Литературной газете» 23 ноября 1932 г.

Затем имя Мандельштама внезапно исчезло со страниц советской прессы.

Что случилось?

До нас дошли лишь слухи, в нескольких версиях.

«О личной судьбе Мандельштама после 1932 г. существует несколько разноречивых рассказов», — сообщает Глеб Струве во вступительной статье к «Собранию сочинений» О. Мандельштама («Издательство имени Чехова»).

«Все они сходятся в одном — в том, что он стал жертвой «чистки» и погиб».

Дальше Г. Струве переходит к той версии, которую слышали многие: Мандельштама погубила эпиграмма на Сталина, которую он прочитал в дружеской писательской компании, и кто-то из участников этой вечеринки на него донес.

«В связи с этим доносом, — пишет Глеб Струве, — другой участник собрания, очень известный поэт, был вызван в Кремль и допрашивался самим Сталиным. Мандельштам в свою очередь был подвергнут жестоким допросам. После одного из них он выбросился из окна и сломал себе ногу. Затем он был выслан не то в Курск, не то в Воронеж, где позже сотрудничал анонимно в местной газете. В конце тридцатых годов ему разрешили вернуться в Москву, где он написал ряд новых стихотворений, принадлежащих к его лучшим вещам (судьба этого литературного наследия неизвестна; едва ли можно надеяться на то, что оно уцелело). Некоторое время спустя, при новой чистке, Мандельштам был снова арестован. По пути в концентрационный лагерь, где-то на Дальнем Востоке, он заболел и умер. Это было якобы перед самым вступлением Советского Союза в войну».

Как потом узнали, Мандельштам находился в ссылке в Воронеже, откуда вернулся в Москву в 1937 году, но затем опять был сослан.

Илья Эренбург, в первой книге за 1961 год «Нового мира» пишет о гибели Мандельштама глухо и относит его смерть к 1940 году.

По другим источникам — Мандельштам умер в тюрьме или на пересыльном пункте на Дальнем Востоке (по некоторым сведениям — около Владивостока) в 1938 году, но нельзя решить до сих пор, какой из этих версий следует отдать предпочтение.



«Тогда к поэзии сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преображением мира в красоту — и ничем больше, — рассказывает Сергей Маковский в «Портретах современников» о раннем Мандельштаме эпохи его первых стихов в «Аполлоне». — И добивался он этого преображения всеми силами души, с гениальным упорством — неделями, иногда месяцами выискивая нужное сочетание слов и буквенных звучаний. Писал он немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно, только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать как-то по-новому».

«Для написания стихотворения в пять строф — Мандельштаму требовалось, в среднем, часов восемь, и в течение этого времени он уничтожал не менее пятидесяти папирос и полфунта кофе», — говорит в «Петербургских зимах» Георгий Иванов.

Поэтическая идеология Осипа Мандельштама, по свидетельству знавших его, была неустойчивой, Мандельштам увлекался такими противоположными течениями, как акмеизм и футуризм, и до конца не определил окончательно своего отношения.

«Ничего существенно мандельштамовского не было в эстетических вкусах и литературных увлечениях Мандельштама в 1907-08 гг. в Париже, — свидетельствует М. Карпович. — Помню, как он с увлечением декламировал «грядущих гуннов» Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию Гаспара Гаузера».

Всем известно, что начав печататься в «Аполлоне», журнале по преимуществу связанном с акмеистами (поэтическим отделом там заведывал Гумилев), и вступив в гумилевский «Цех поэтов», Мандельштам примкнул к акмеизму, защищал акмеистическую

идеологию в статьях, а в своей поэзии был одним из самых последовательных акмеистов.

«Возможно, что никто не обязан Гумилеву в такой степени, как Мандельштам (эпохи) «Камня», — говорит Георгий Иванов*).

Среда «Цеха поэтов», где под руководством Гумилева и при участии Анны Ахматовой, «арбитра вкуса» Лозинского и других членов «Цеха» читались и обсуждались стихи, имела большое значение для молодого Мандельштама.

«Его чудесный талант, его огромное врожденное мастерство были не в его власти, а во власти той стихии музыки, образов, ритмов и слов, которой он дышал. Его вечно разгоряченная, изобретательная, неустойчивая голова была переполнена противоречивыми идеями, высокой умной путаницей, которую он в минуты слабости не умел изложить, морщась от невозможности отыскать необходимое слово или рифму, если они, как обычно, не слетали к нему «свыше». Поэтому-то он не только легко поддавался влиянию, но просто в такие минуты искал его, искал помощи, даже опеки. Его женственно-сложная природа, сотканная из слабости и почти болезненной неуверенности в себе, заставляла его сомневаться в каждой своей строке, в каждом слове. — «Можно это оставить? Можно так сказать? Правильно это, или лучше выбросить?» — и уживалась с сознанием своего превосходства, избранности, заносчивой гордыни: «Что же из того, что неправильно, что так не говорят? — надменно заявлял он: — Так будут говорить, раз я написал!» Или: «Никакой ошибки здесь нет. Это просто русская латынь!»

Он поддавался с одинаковой страстью влияниям благотворным — акмеизм — и влияниям вредным, даже разрушительным, вроде кубо-футуризма и пресловутой зауми. В дореволюционный период сильнее всего на него влиял Гумилев. Их отношения в творческом плане (в повседневной жизни их связывала ничем не омраченная дружба) были настоящая любовь-ненависть. «Я борюсь с ним, как Иаков — с Богом», говорил Мандельштам. Победителем из этой поэтической борьбы неизменно выходил Гумилев. Прямой результат этих побед — стройное совершенство «Камня» и отчасти «Tristia».

Это свидетельство Георгия Иванова, так близко знавшего и Мандельштама и все дела «Цеха поэтов», чрезвычайно важно для выяснения дальнейшей эволюции творчества Мандельштама.

Георгий Иванов рассказывает также о попытке бунта Ман-

*) «Новый Журнал», книга 43, 1955 г.

дельштама против гумилевского и цехового влияния в 1913 году, когда Мандельштам вдруг бурно увлекся кубо-футуристами и едва не перешел в их пружпу.

«Удержал его от этого шага, доказав ему всю безрассудность его, Бенедикт Лифшиц, кстати сам кубо-футурист». Характерно, что Мандельштама пленяли не Хлебников или Каменский (т. е. лучшие из кубо-футуристов), а Бурлюки с Маяковским. Тогда же он начал писать — задолго до Пастернака и в сто раз хуже — собственного «Лейтенанта Шмидта» рубленными рифмами Маяковского. Но опомнившись и вернувшись в лоно «Цеха», он уничтожил его вместе с нелепой поэмой «Старцы».

Замечательно также, что, по словам Георгия Иванова, наряду со своими чудесными стихами, Мандельштам сочинял множество политических стихов — очень плохих, а увлекшись теософией, «пытался изложить теорию перевоплощения длинными риторичными ямбами», — это тоже одна из странностей Мандельштама.

Такие колебания отразились и на теоретических высказываниях Мандельштама.

Так, например, в статье «Слово и культура» (1921 г.) встречаются пассажи, совсем не ортодоксальные с точки зрения акмеизма:

«Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности... К чему обязательно осязать перстами?..

...Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предвещает написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта».

В статье «О природе слова» Мандельштам определяет русский язык как язык «эллинистический»:

«Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив запад латинским влияниям... устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью».

«В поэзии всегда война, — говорит он в «Заметках о поэзии». — Борьба русской, т. е. мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с цер-

ковно-славянской, враждебной, византийской грамотой, сказывается до сих пор».

Победа над «византизмом», которую одержал ранний Борис Пастернак, потрясла Мандельштама.

«Когда я читаю «Сестру мою Жизнь» Пастернака — я испытываю ту самую чистую радость... освобожденной от высших влияний мирской речи...

...После Хлебникова и Пастернака российская поэзия снова выходит в открытое море, и многим из привычных пассажиров придется распротиться с ее пароходом».

Последний абзац, относящийся к 1923 г., чрезвычайно важен для понимания того сложнейшего процесса отношения к слову, к поэзии вообще и, конечно, к своей собственной поэзии, который происходил в душе О. Мандельштама.

Гумилев был расстрелян, «Цех» распался, прежняя «петербургская атмосфера» стала воспоминанием, «Петрополь» умер, Мандельштам остался один, без всякой внутренней поддержки, перед лицом народа и пореволюционных событий того времени. На него обращено внимание, он стал одним из лучших русских поэтов, все ждут: что может сказать он нового, революционного?

Классик по своей сути, автор «Камня» и «Триптих», не мог не понимать, насколько уровень прежнего Петербурга был выше того, что происходит теперь. Но во время революции поэт должен искать отклика в народе.

Нельзя сводить к одной какой-нибудь причине, как делают некоторые авторы, перелом, произошедший в поэзии Мандельштама после «Tristia».

Здесь и потрясенность революцией, и отталкивание от всего грубого и низменного, тут и страх — нервы Мандельштама от природы были не крепки, еще в дореволюционное время вид полицейского и всяких казенных канцелярий вызывал у него нервное состояние.

А тут — прямое насилие, оповсюду грозящая опасность — одна смерть Гумилева чего стоила, а Гумилев ведь был не один! И отворачивание — к крови, к террору.

Однако, как ни боялся Мандельштам *всего*, он нашел в себе силу публично, во время одной советской попойки в Москве, возмутиться поступками чекиста Блюмкина и, выхватив из рук его, порвать список лиц, подлежащих расстрелу*).

А сколько раз еще, каждый день, быть может, он внутренне

*) Георгий Иванов. «Петербургские зимы».

кипел, негодовал, преодолевая отвращение к тому, что происходило «в ночи советской»:

...Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь,
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь...

Наряду с «низменным», Мандельштам был потрясен и в «высоком плане».

Ведь незадолго до политической революции, в России произошла революция поэтическая — футуризм и другие новые течения повели атаку на позиции символистов и акмеистов.

Сомнение, — «а вдруг правда поэзии у них?», как мы знаем, издавна тревожило Мандельштама, заставило его еще в 1913 году сделаться на некоторое время перебежчиком из одного лагеря в другой.

А тут еще — явление Пастернака, казавшегося не только Мандельштаму, но и другим поэтам таким новым словом в поэзии, что многие говорили: «После Пастернака сделалось невозможно писать стихи так, как писали до него!»

Мандельштам остался один, посоветоваться — не с кем, некому властно утвердить «да» или «нет», как в прежнее время делал Гумилев.

В «ночи советской» становилось опасно вообще кому-нибудь доверяться.

Желанье зашифровать, запрятать заветное под внешней тканью слов, заключить в трудно разгадываемые образы то, чего уже невозможно было показывать *профанаторам поэзии*, и, наконец, своеобразный выпад против ждущих от него *пошлости*, т. е. прославления революции, и в то же время *попытка* всерьез говорить по-новому — вот тот сложный клубок, в который завилась-запуталась поэзия Мандельштама в советское время.

Если два замечательных поэта той эпохи — Мандельштам и Пастернак — оба стали как бы спускаться по лестнице вниз в те годы — это не только их личная трагедия, но и трагедия всей революционной поэзии, до сих пор находящейся в тупике.

Однако, есть существенная разница в этом трагическом нисхождении.

Пастернак, также в силу очень сложного внутреннего процесса, о котором здесь мы не имеем возможности говорить, пошел от *сложности к простоте*, заставил себя писать всё более «понятно о понятном», по выражению Зинаиды Гиппиус.

Путь Осипа Мандельштама оказался противоположным: он пошел от простоты к сложности.

Начав с аполлонической ясности «Камня», классик и эллинист, он как раз в то время, когда шла ожесточенная травля писателей, «непонятных народу», начал становиться все более и более сложным.

Гиппиусовское определение «непонятно о непонятном» приложимо ко многим стихам Мандельштама конца 20-х и начала 30-х годов.

Можно предположить, что таившееся в нем издавна притяжение к иррациональной стихии, присутствовавшей, как расплавленная лава, под блистательной «поверхностью» некоторых стихотворений уже в «Tristia» 1922 г. вырвалась, наконец, на свободу.

Но можно выдвинуть также и другое объяснение: желая защитить свой высокий строй, свой «Космос», Мандельштам начал усложнять его внешне, замыкаться в себе, отрываясь не только «от народа», но и от многих настоящих читателей.

Так или иначе, но теперь перед нами уже не только аполлонический, дневной, безупречно-блистательный Мандельштам, а еще и дionиссийский, ночной, страдающий, но зато обогащенный внутренне. Да и многие срывы у него превращаются не в «косноязычие просто», но в высокое косноязычие, прорывающееся через «советскую ночь» к духовному озарению.

Тяжба с «веком», в которую вступил Мандельштам, это, быть может, несколько подпольный, но отчаянный и самозабвенный выпад против навалившегося на человеческую личность давления «коллектива» и бездушного зла.

...Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного, — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О глиняная жизнь! О умирание века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать,
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать...

(1 января 1924)

Перелистываю стихи, собранные в книге «Стихотворения» 1928 года, и более поздние стихи из «Собрания сочинений».

Наряду с классически стройными, например, «Концерт на вокзале», где трагическое веяние века преломлено в прежней мандельштамовской манере:

...И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит,
В стеклянные я упираюсь сени;
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит...

и ряда других, таких же, вплоть до «Века» и несколько растянутого стихотворения «Нашедший подкову», мы сталкиваемся с «Грифельной одой» и с «1 января 1924», где в аполлонический строй вторгается темная подсознательная стихия, как-то по-своему взрывая и поворачивая течение строк, придавая им порой хаотически-дикую, но утроенную выразительность и взволнованность:

...Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на трепет пневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремль
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подожже гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,

И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

Стиль длинного, как будто даже растянутого стихотворения «1 января 1924», в смысле качества словесного материала, например:

...Все шелушится им советской сонатинкой...

или:

...То ундервуда хряц: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь...

конечно, уступает прежнему мандельштамовскому стилю.

Как далеки мы от «эллинского» сияния слов:

...И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный...

Но этот новый стиль органически вырастает из вынужденного «собиранья трав для племени чужого», как сказано в этом же стихотворении, — тут мы имеем дело не столько с истощением или упадком поэта, как с его мучительным усилием осмыслить и преодолеть окружающую его трагическую атмосферу.

Упадочны по-настоящему — это стихи об Армении («Армения»), где Мандельштам погружает в описательно-изобразительной форме, становясь слишком декоративным, например:

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружию зовущая —
Армения, Армения!

и т. д.

Срывы, в смысле чувства меры при употреблении прозаизмов, есть также и в «Полночь в Москве», но тут же опять великолепный, типично-мандельштамовский «Ленинград» и ряд других превосходных стихотворений.

Среди них хочется остановиться на удивительно остром ощущении насекомых, образы которых появляются в некоторых стихах Мандельштама.

Если в «Ламарке», написанном в 1932 году, «лестница Ламарка», на которой поэт занимает последнюю ступень, среди «кольчцов и усюногих» и «проходит через разряды насекомых» пото-

му, что «наступает глухота паучья» — намек на засилье материализма, то в других стихотворениях ощущение насекомых походит на столкновение с какими-то метафизическими сущностями, нагоняющими страх и призывающими смерть.

Вспомним, например, стихотворение 1922 года, где на нас на-
двигается, как туча, ужас смерти в движении членов тел насеко-
мых:

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слодяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И с трудом пробиваясь вперед
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Не менее интересно темное по содержанию, обращенное к се-
бе и полное какого-то особого личного смысла маленькое стихо-
творение 1923 года, где тоже участвуют образы насекомых:

Как тельце маленькое крыльышком
По солнцу всклень*) перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

*) «Тельце» никак не могло перевернуться «по солнцу всклень» — «всклень», т. е. вровень с краями, по Далю, может быть налит стакан.

Не забывай меня, казни меня,
 Но дай мне имя, дай мне имя:
 Мне будет легче с ним — пойми меня,
 В беременной глубокой сини.

Образ страшного насекомого, точнее — ощущения ужаса, вырастающего из созерцания насекомого, повторен и в позднейшем стихотворении Мандельштама, написанном в ноябре 1933 года в Москве:

О бабочка, о мусульманка
 В разрезанном саване вся —
 Жизняночка и умиранка,
 Такая большая — сия!

С большими усами Кусава
 Ушла с головою в бурнус.
 О, флагом развернутый саван —
 Сложи свои крылья — боюсь!

А вот еще одно, более позднее стихотворение, где образ ос сочетается с изумительной по силе волей к жизни:

Вооруженный зреньем узких ос,
 Сосущих ось земную, ось земную,
 Я чую все, с чем свидетелься пришлось,
 И вспоминаю наизусть и все...

И не рисую я, и не пою,
 И не вожу смычком черногосым:
 Я только в жизнь вливаюсь и люблю
 Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
 Заставить, сон и смерть минуя,
 Стрекало воздуха и летнее тепло
 Услышать ось земную, ось земную...

Это стихотворение помечено: 8 февраля 1937. Воронеж.

Наряду с 56 другими, оно в первый раз опубликовано во втором выпуске альманаха «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1961), под редакцией Р. Н. Гринберга.

«В настоящем издании печатаются в первую очередь и впер-

вые 57 стихотворений Осипа Эмильевича Мандельштама... Посмертных советских изданий нет. И только теперь, с появлением этого небольшого собрания — думается, четверть всего его наследства — начинается запоздалая посмертная судьба Мандельштама», — сказано во вступительной редакционной статье.

«Совершенно очевидно, что некоторые пьесы не были окончательно отделаны, закончены для печати самим автором, одним из самых требовательных к себе русских поэтов. Неизвестно, какой именно вариант поэт собирался печатать, а их много. Поэтому неизбежен редакторский произвол, о котором мы сожалеем. Только будущее академическое издание сможет установить непререкаемый текст каждого отдельного стихотворения, а до того возможно разночтение, которое не следует принимать за ошибку».

Несмотря на разночтения, значение опубликованных «Воздушными путями» стихотворений Осипа Мандельштама очень велико.

Мы имеем теперь возможность познакомиться с самым последним периодом творчества Мандельштама, отразившим не только его поэтическую, но и личную судьбу, дополнить и пересмотреть те выводы, какие были сделаны раньше.

В этих «новых», то есть ранее не известных стихах Мандельштама, ничего неожиданного нет, но в них еще с большей ясностью мы видим — по-прежнему мучительно-трудное, тревожное и взыскательное усилие духа — сосуществование двух сторон его души, двух начал в его поэзии: дневного, аполлонического, и ночного, дионисийского, с полузаумным нашептыванием, полным невыразимой прелести, как в «Тристан» и стихах двадцатых годов.

В стихи Мандельштама врывается порой даже нота подчеркнуто-резкого, буднично-грубого, и это придает особую остроту некоторым стихам последнего периода.

Независимо от чисто художественного значения этих стихотворений, перед нами с большой силой раскрывается личная трагедия поэта, оторванного от прежней петербургской атмосферы, от Запада, загнанного в глушь, в ссылку, прошедшего через мытарства советского следствия, находящегося в положении поднадзорного.

Мандельштам прекрасно сознавал трагизм своего положения еще до ссылки. — Все кончено! Где уж тут Одиссей и Эллада!..

Он с горькой иронией прощается с «эллинской красотой» в третьем стихотворении собрания «Воздушных путей»:

...Там, где эллинам сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Красота.
Черный кукиш мне покажет
Пустота...

Как «жалости и милости» просит он у Франции, чтобы она напостила ему Парижский воздух в стихотворении:

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости...

Самому себе он кажется тенью:

Еще не умер я, еще я не один,
Покуда с нищенской подругой
Я наслаждаюсь величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В прекрасной бедности, в роскошной нищете
Живу один — спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкозвучный труд безпрешен.

Да, жалок тот, кого как тень его,
Пугает лай и ветер носит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Прекрасные стихи «Андрею Белому» и еще два стихотворения помечены январем и февралем 1934 года, затем следует «Я живу на важных огородах...» — 1935 год, Воронеж, без указания месяца.

...У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

— так кончается это стихотворение, в общем какое-то (не по-мандельштамовски) приглушенное, но зато со страшной силой, похожей на заклинание, вырываются у него четыре строки, где всё — страдание, всё — напряжение, всё — воля вырваться на свободу:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня или проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Был ли Воронеж с самого начала первым этапом ссылки Мандельштама, или до него он изведаль другие сыльные пункты?

Страшные стихи, тоже помеченные июнем 1935 года, «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...», изображающие в сложных, криптограмматических строках шествие арестантов по этапу: «Ехала конная, пешая шла черновехая масса», где потом «Поезд шел на Урал», написаны от первого лица.

Что это — поэтическая символика или реальность?

Вряд ли когда-нибудь мы получим ответ, но и воронежские стихи на протяжении трех лет так убедительно свидетельствуют о внутреннем состоянии поэта, что сердце разрывается от этой тоски, угнетенности, жажды свободы и воли вырваться из воронежской ссылки:

О, этот медленный, отдышливый простор!
Я им пресыщен до отказа —
И отдышавшийся распахнут крутозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы...

«Хочется мыгать от всех дверей и скрепок», говорит Мандельштам в стихотворении от 1 февраля 1937 года (Воронеж) — и дальше:

...в яму, в бородавчатую темь,
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлегаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей разговора б!



Страшно подумать, что за невинную по всей вероятности шутку, за какую-то эпиграмму на всемогущего «Отца народов», один из самых лучших русских поэтов XX века был погублен — медленно, с расчетом, беспощадно: сначала тюрьма, затем — ссылка, а затем (после кратковременного освобождения с возвращением в столицу — попытка надеждой), опять ссылка, на этот раз окончательная, и смерть в Сибири, в пересыльной тюрьме.

«— Слышно страшное в судьбе русских поэтов!» — сказал Гоголь.

В своей статье по поводу рока, преследующего русских поэтов, «Кровавая пища» Владислав Ходасевич приводит стихи графини Ростопчиной, написанные ею на смерть Лермонтова:

Не прогайте ее, зловещей сей цевницы,
Поэты русские, она вам смерть дает!
Как семимужняя библейская вдовица,
На избранных своих она прозу зовет!

В руках Осипа Мандельштама эта «зловещая цевница» звучала до конца.

Легче, конечно, быть сразу расстрелянным, как Гумилев, чем как Мандельштам, в течение долгих лет, быть заживо погребенным:

...Лежу в земле, губами шевеля...

Но поэта *нельзя убить*, вот о чем не подумал Сталин. Его голос все-таки дошел до нас, а со временем вся Россия его услышит:

...То, что я говорю, мне прочти...
Тихо, тихо его мне прочти...

Свет в ночи

(Опыт медленного чтения)

Раскольников подошел к толпе. «Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес».

Свет в ночи, еще издали завиденный Раскольниковым, исходил как раз от фонарика в руках у полицейского, и уже одно это было знаменательно. Но ведь в жизни все знаменательно, только никто из нас не замечает этого. Мы не привыкли налету ловить и разгадывать вещие сигналы и знаки, и даже избранный, творческий человек, кому «звездная книга ясна», лишь изредка, в особые минуты душевного просветления различает внутренний тайный смысл того, что происходит вблизи и у него самого под ногами. Да и возможно ли дышать в постоянном напряжении духовного внимания? Мы живем лишь проблесками постижения. В древние времена люди верили приметам и лучше нас угадывали подлинное значение событий. Вера в приметы неотъемлемо входила в сложную демонологию язычества. В сущности, то была не вера, но магическое, вполне позитивное, знание. Духи, окружавшие мага, общались с ним через приметы, говорили с ним на языке вещей. Ныне такой язык никому не внятен, и тайное может раскрываться нам только в свободе христианского мировосприятия. Но мы боимся истинной свободы, — нас сразила болезнь, из всех болезней наихудшая: мы страдаем *науковерием*. Современный человек, по слову поэта, «вдался в суету изысканий». Древний язык примет нам теперь недоступен, а новозаветного языка мы принять не захотели. Нами владеет пошлый картезианский скептицизм, низкая рассудочность, любовь к дешевой ясности. Знамений мы

просто не различаем и все знаменательное почитаем случайностью. Но Достоевский как художник, как творец ведал, что ни один волос с головы человека не падает случайно и что всё, принимаемое нами за внешнее, есть живое отражение внутреннего.

Прежде, чем подходить к творениям Достоевского, надо отказаться от плоских рассуждений Декарта, отучиться от них и вернуться к великому Паскалю. Сделать это нам, русским, все же легче, чем французам. Французская революция, иными словами система безбожия, удалась, породив самодовольного пореволюционного буржуа, а наша революция провалилась, поравняв всех одинаково в пустоте, нищете и несчастье. В скорби и немощи познаются высшие реальности, как познавал их Достоевский. В его судьбе, в преодолении им духовного бунта искупительной каторгой, должны мы искать преображения. Достоевский своим художеством, своим искусством мышления заново обнаружил для нас взаимную зависимость друг от друга людей и вещей. Он показал нам, что в запредельной своей глубине мир по-прежнему целен, нераздробим и неделим, что все во вселенной взаимопроницаемо, что разъединения, расщепления призрачны и возникают в нас как кошмар от греха. Не мир распадается, а человеческий ум, отвернувшись от жизни сердца, заблуждается, превращая для себя цельную, Богом благословенную глыбу бытия в рассыпающуюся дробь. Для того, чтобы снова открылось нам прорисовывающее сердце природы и могли бы сердца человеческие, как встарь, вступить в духовное взаимообщение, надо соборно отказаться от дурной отвлеченности, от бесплодных, якобы научных, теорий, прильнуть душою к живым существам и вещам и возродить давнюю связь с родными пенатами. В общении с ними, духами, населяющими отчий дом, проходит наше детство и укрепляется самостоянье человека. Надо во многом возвратиться к детским восприятиям жизни. Тогда откроются нам потаенные ходы бытия и обнаружатся доголе скрытые неразрывные сращения между собой всех явлений и вещей, всего живущего. Тогда мы увидим, наконец, что каждый шаг, каждое движение и положение возникают в жизни, порождая друг друга изнутри. Достоевский всё это знал и видел, и воспринимать его творения значит приобщаться к непрерывному религиозному процессу существования, исключаящему какую бы то ни было случайность. Читать Достоевского — не шутки шутить, но самого себя до глубины корней переделывать, возвращаясь вместе с ним к средневековому мироощущению и устремляясь в будущее душою души — духом, свободным от рассудочной скверны.

Фонарик в руках полицейского указывал Раскольникову на единственную тропу, по которой должен был следовать теперь убийца в поисках выхода из душевного мрака, наглухо отъединившего его от солнца живых. Тут опять необходимо вспомнить слова Раскольникова, сказанные им впоследствии Соне и уже приведенные мною однажды. Он обещает сказать ей, кто убил Лизавету, и на вопрос Сони «— Да разве вы знаете, кто убил?», — отвечает: — «Знаю и скажу... Тебе, одной тебе. ...Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал». (Подчеркнуто здесь и ниже мною. — Г. М.).

В минуты духовного напряжения нашему сознанию открывается то, что мы заблаговременно только предчувствуем. Но ведь предчувствие есть *знание сердца*, предугадывающего события. Внимая исповеди Мармеладова, сердцем ведал Раскольников, что неминуемо встретится с Соней. Более того, сердце его уже знало тогда, что он убьет Лизавету, хотя он никогда и не помышлял об этом, да и не мог помышлять. Во всерешающем разговоре с Соней предварительное *знание сердца* принимает Раскольников за *сознание*. По утверждению Достоевского, «можно многое знать бессознательно». Иными словами, человек всей натурой, всем нутром ведает о том, что *уже* совершилось в глубинах его души и готово поступить наружу, осуществиться вовне. Когда решается судьба человека, стираются в нем грани между предчувствием и сознанием, он сам перед собою предстает целиком, как бы вне времени, олицетворяя поистине всем своим существом не рассудочное, но подлинное о себе знание.

На следующий день, после «пробы» и беседы с Мармеладовым в распивочной, Раскольников повстречал Лизавету на Сенной площади. «Когда Раскольников, — пишет Достоевский, — вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного». Вот именно это «какое-то странное» ощущение и было вестью, исходящей от сердца, уже «знавшего бессознательно», что он убьет Лизавету. Но рассудок молчал и ничего не понимал. Оттого и возникает в Раскольникове глубочайшее изумление перед самой казалось бы обычной встречей, о роковом значении которой сердцу ведомо всё, а рассудку ничего. Рассудок в неведении своем изумляется, а сердце еще таит все созревшее и готовое поступить наружу — воплотиться в мире явлений. Вещие сновидения, предсказывающие то, что потом происходит наяву, возможны только потому, что внутренние свершения опережают

явленные события. Сердцу человека открывается иногда в сновидении подлинная реальность еще до того, как успеет она отразиться в земной трехмерной действительности. Достоевский хорошо это знал, и сны в его творениях преисполнены реального значения. Он зорко следил за ежедневной печатью, ловя в немудреных газетных заметках потаенный смысл происшествий. Биение мирового пульса яснее всего различал Достоевский в злободневности. Поэтому позволю себе сейчас и я привести, в подтверждение моей мысли, пример, взятый мною из вчерашней французской газеты. Думается, это несколько не нарушит стиля и ритма, присущих автору «Преступления и наказания».

Мелкий почтовый служащий, по имени Амедей Леру, человек пожилой, совершенно не пьющий, весьма положительный и всеми уважаемый за неизменную сдержанность и молчаливость, рассказал, смеясь, своим сослуживцам содержание странного сна, только что до того приснившегося ему ночью. «Мне снилось, — говорил Леру, — что меня убили. Я шел по улице и внезапно кто-то стал стрелять в меня из ручного пулемета. Я упал на мостовую, но тотчас поднялся на ноги с удивительной, никогда до того не испытанной мною легкостью и опряхнул с себя пыль. Я был невредим. Странно это, не правда ли?»

Через три недели после этого рассказа Леру действительно убили на улице из пулемета алжирские террористы, по ошибке приняв его за другого. «На этот раз, — наивно добавляет от себя газетный хроникер, — Леру уже не встал с мостовой, как ни в чем не бывало, а действительно был убит». Да, тело Леру лежало на мостовой, но дух, но бессмертное сердце убитого испытывали теперь удивительную легкость в движениях, предугаданную им во сне.

Могла ли бы присниться Леру собственная судьба, если не была она подготовлена заранее им самим в недрах его души к осуществлению в трехмерной действительности. Нельзя не испытать некоторой печали при мысли о том, что никто в ежедневной столичной суете не обратил, по-видимому, внимания на непостижимую трагическую судьбу одинокого, никому не нужного мелкого почтового служащего. А Достоевский несомненно сосредоточил бы все свои творческие силы на такой, как принято говорить, случайности. Он нашел бы в ней великую опору для всего своего миропостижения. И вот, в память творца «Преступления и наказания», я делаю то, что сделал бы он — отмечаю бездонное значение простого уличного происшествия. Ведь тайна творчества, быть может, очень проста; существа, подобные Достоевскому, идя

по улице, видят и подбирают себе и другим на потребу то, что люди не замечают или принимают за сор и на ходу отталкивают ногами. Так же точно не замечал и не понимал Раскольников важного для него значения огонька, призывавшего его в ночи. Мир, по Достоевскому, в глубине своей нерушимо целен. Зло пнздится на поверхности человеческой души и лишь в редчайших случаях поражает ее средоточие. Тогда остается человеку единственное прибежище: чудо.

Прежде чем увидеть в толпе огонек фонаря, Раскольников почувствовал на мгновение свое совершенное ничтожество, отчаяние от покинутости на самого себя, мерзость душевного запустения. Он испытал на себе жалкую человеческую беспомощность, чтобы тотчас же вслед за тем несознанно ощутить «меру вышних сил», идущих к нему на помощь.



Раскольников протеснился через толпу, кричащую и ахающую. «На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в «благородном» платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь; лицо было всё избито, ободрано, исковеркано». Кучер, притчтая, оправдывался. Свидетельские отзывы из толпы подтверждали его правоту: шел пьяный человек и по собственной вине попал под лошадей. Раскольников нагнулся над лежащим. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного: он узнал его — это был Мармеладов.

Странное дело! Только что до того опустошенный собственным тяжким преступлением убийца мгновенно ожил и захлопотал. Забыв о себе, он устремился навстречу людям, как будто возможность спасения таилась для него в изувеченном лошадиными копытами окровавленном теле Мармеладова. По настоянию Раскольникова, обещавшего заплатить за труды и даже успешного сунуть в руку кому надо, решили перенести бесчувственное тело Мармеладова в его квартиру, находившуюся совсем близко, шагах в тридцати. «Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу». Так поступал человек еще совсем, совсем недавно размозживший обухом топора голову старухе и разрубивший острием лицо и череп Лизавете, глядевшей на него с неизъяснимым ужасом в кротких глазах. Как совместить все это? А вот жизнь и душа человеческая совмещают, и никакой меркой не измерить их бездонности. Можно только еще и еще раз повторить: это так, потому что это так. Через земную жизнь и наши души проходят божественные и inferнальные токи, длится

борьба светлых воинств с бесовскими легионами и, по слову поэта, каждый из нас «связь миров повсюду сущих», точка пересечения всех вселенских сил, между собою сочетающихся или враждующих. «Раскольников был в удивительном волнении», — добавляет Достоевский, не объясняя, откуда оно могло возникнуть и лишь подчеркивая его непостижимость.

— «Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить; оборачивайте... вот так! Я заплачу, я поблагодарю, — бормотал он» (Раскольников. — Г. М.). Невидимая рука вела его снова в семейные недра Мармеладова. Только теперь он не вел под руку пьяного хозяина этих недр, а помогал нести его еще живое, окровавленное тело. Кровавые пятна снова обаприли Раскольникова, но уже совсем при других, провиденциальных обстоятельствах. Кровь Мармеладова благодатно отмечала убийцу, предуготовляла его к встрече с единородной дочерью умирающего и вела к Евангелию, подаренному когда-то Соне ее крестовой сестрой, Лизаветой. Благодатный круг замыкался наперекор золотому колечку с тремя красными камешками, полученному Раскольниковым от Дуни, и связавшему его с ростовщицей, а потом, через Дуню же, с Свидригайловым. Теперь Раскольников был весь в крови своих ближних и сам это видел и чувствовал. Когда, позднее, «он быстро вышел из комнаты, поспешей протесняясь через толпу на лестницу», то «в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом (полицейским надзирателем. — Г. М.), узнавшим о несчастии и пожелавшим распорядиться лично...

— А как вы, однако ж, кровью замочились, — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... я весь в крови! — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице». Кто-то невидимый, как нарочно, устраивал его встречи с полицией. Закон и право упорно напоминали о себе. Но когда Раскольников входил, возглавляя страшное шествие, в проходную комнату Мармеладовых, он не замечал кровавых пятен на своей одежде, он стремился всем сердцем к умирающему человеку, к своему близкому, забрасывая в собственную душу, сам того не сознавая, некое спасительное семя.

«Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя». Она мечтала и жила мечтою, своевольно разукрашивая свое далекое про-

шное, в ее воображении встававшее райским видением. «В последнее время, — замечает Достоевский, — она стала всё чаще и больше разговаривать со своей старшей девочкой, десятилетней Поленькой, которая, хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться всё понимающею».

Никто не умел подойти так близко к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как опаленный inferнальным огнем Достоевский. Чехов, например, очень любил детей, говорил о них с ласковым юмором взрослого, чрезмерно, быть может, трезвого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касался их мира. А Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему дано было принимать к первоисточкам бытия, уходить в первожизнь, а за нею в иножизнь. Там, в запредельной глубине, сиял для него Христос и улыбались дети. Вот и Катерина Ивановна, измученная судьбою, духовно ничуть не старше Поленьки, оттого и могла беседовать с десятилетней дочерью, как с равной себе по уму и по опыту. Но нельзя говорить своими словами о том, что высказано Достоевским словами единственными, незаменимыми. Он один в состоянии не только воспроизвести своим искусством страшные лики нищеты и несчастья, но еще и раскрыть тайное значение свершающегося, показать, что в конце всех концов нет древнего рока, побежденного Голгофой, а есть один суд Божий и мистериальное нарастание неотвратимых событий, порожденных нами самими и обрушенных нами же на себя и близких.

«Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде... — Что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какою-то ношей в ее комнату. — Что это? Что это несут? Господи!..

— На диван! кладите прямо на диван, вот сюда головой, — наказывал Раскольников.

— Раздавили на улице! пьяного! — крикнул кто-то из сеней».

Поражает у Достоевского это, всегда внезапное, вторжение в действительность чужих-то неизвестных голосов, точно кто-то чужой всему происходящему вокруг напоминает о себе, бесстрастно отмечая неукоснительный ход жизни.

Раскольников был поглощен заботами об умирающем и о Катерине Ивановне.

«— Ради Бога, успокойтесь, не путайтесь! — говорил он ско-

роговоркой; — он переходил улицу, его раздавила коляска, не беспокойтесь, он очнется, я велел сюда нести... я у вас был, помните... Он очнется, я заплачу».

Что-то живое слышалось в этих поспешных, отрывистых словах. Злостного одиночества в пробной камерке как не бывало. Падший Адам собирал свои растерянные частицы, приобщаясь к соборной жизни.

«— Добился! — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу.

Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки». Забывши себя, она вся ушла в заботы о раненом. Послали за доктором. Поленька, по распоряжению матери, побежала за Соней.

«Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде». Сбежались чуть ли не все жильцы Амалии Людвиговны — взбалмошной немки — меццанки. Прослышав о несчастии, она явилась сама наводить порядок, требовать у Катерины Ивановны, чтобы раненого увезли с глаз долой. «Ваш муж пьян лошадь истоптал. В больниц его! Я хозяйка!» Затворился скандал. Но умирающий очнулся, и Катерина Ивановна бросилась к нему.

Жизнь несчастного Мармеладова вся целиком протекала у всех на виду. Было в нем что-то льнувшее к людям, никогда не порывавшее с соборностью и круговою порукой греха. Этот пропойный пьяница, с совестью, изъязвленной неиставимым пороком, терзаемый собственной немощью, веровал во Христа. И Небо, в ответ на смирение, милосердно готовило его еще здесь, на земле, к прядущему Страшному Суду, раскрывало перед ним ужасные наглядные последствия его порочного существования и, тем самым, заранее смягчало для него муку последнего позорного изобличения, всех нас ожидающего за гробом. Но в чем уличать существ, подобных Мармеладову, когда о них и без того уже все и всем известно? В часы кончины достаточно провести перед ними по их вине искаженные, жалкие лики родных. Мармеладов пришел в себя. «Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы... Мармеладов узнал ее. — Священника! — проговорил он хриплым голосом... Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детски-пристальными глазами.

— А... а... — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать.

— Чего еще? — крикнула Катерина Ивановна.

— Босенькая! босенькая! — бормотал он, полумным взглядом указывая на босые ножки девочки.

— Молчи-и-и! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, — сам знаешь почему босенькая!»

Вошел доктор. Но помочь он уже ничем не мог — умирающий был при последнем издыхании. «В это время послышались еще шаги, толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запаханными дарами, седой старичок». Исповедь длилась недолго... «Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь». Но отходил он, как и жил, на людях, при скопившемся народе, соборная душа которого столь дорога Достоевскому. Умирая, испытал, хотя бы на миг, Мармеладов светлую правду народной поговорки: «На людях и смерть красна». А люди снова напирали отовсюду, «двери из внутренних комнат стали опять открываться любопытными. В сенях же всё плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы...» К этому Достоевский многозначительно добавляет: «Один только огарок освещал всю сцену».

Да, кругом и внутри нас мрак нашей несправедности, но тусклый огонек все же горит, освещает темную утробу человеческого жилища, и теплится в сердцах надежда на конечное спасение. Однако напрасно было бы искать у Достоевского утешающих сентиментов. В народе живет святая тяга к соборности, к духовному воссоединению, но тот же народ — злой коллектив, механическое сцепление отдельных, то скрытно, то явно между собой враждующих индивидуумов. И Достоевский спешит неприглядной истиной огорошить Шиллера, разделаться с розовыми идиллиями. Пусть себе утешаются какие-нибудь Лебезятниковы социалистическими бреднями и «верой» в общественность, — для Достоевского, для автора романов-трагедий, человеку без Бога ломаный грош цена. Люди, поскольку они поддаются коллективным инстинктам, теряют образ Божий и, в лучшем случае, превращаются в злых животных. Как бы мимоходом бросает Достоевский беспощадное замечание: «жильцы, один за другим, протеснились обратно к двери с тем странным внутренним чувством довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближними и от которого не избавлен ни один человек без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия». Но автор «Преступления и наказания» любит людей и любовно прозревает в них всеоправдывающее начало: глубоко затаенное в душевной бездонности первичное неизбежное страдание, почти никогда ясно не сознаваемое, страдание бытия, боль, истуг, присущие всему живому. Это страдание, разуму

не подлежащее, с нами рождающееся, не что иное, как предвзусмотрение Голгофы, Христос внутри нас, наше Оправдание. Надо не только не страшиться мыслить, надо еще доводить свою мысль до конца, творчески воплощать ее, как это делает художник мышления. Тогда не абстрактная, не мертвая, но живая мысль сольется с существованием, бытийственно отразит его в себе и обелит человека. Все же, откуда берется в людях это довольство при виде чужой беды? Частично его можно объяснить чисто животным торжеством: несчастье произошло не со мною — с другим. Но Достоевский далек от простодушия, и такой зоологический ответ на вопрос не удовлетворил бы его. Нет, он знает, что не только Христос, но и бес внутри нас. Зло в человеке такая же точно норма, как и добро, и никакое клиническое безумие не слагает с нас ответственности. Напротив того, сумасшествие есть одержимость, победа зла, состоявшегося по вине самого человека. Чем больше мы грешим, тем ближе подходим к одержимости, тем сильнее подпадаем под власть беса, крепко засевшего в нас. Но огарок, ниспосланный Богом, все еще светит, и навстречу ему надо затеплить лампаду в красном углу.

Вернулась бегавшая за Соней Поленька. Вслед за нею «Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния». Я уже говорил, что словом *странно* Достоевский обозначает в человеке нечто не только необычное, но непременно духовное или злодуховное. Появление Сони в нищенской комнате умирающего Мармеладова походило на видение. Она, с тех пор как «пошла по желтому билету», жила отдельно от семьи. «Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был прощовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающейся целью». Цветное платье с длинейшим и смешным хвостом, необъятный кринолин, а из-под соломенной круглой шляпки, с ярким, огненного цвета пером, тоже смешной, выглядывало худое, бледное личико, с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами.

Священник обратился к Катерине Ивановне со словами утешения: «Бог милостив; надейтесь на помощь Всевышнего», но она перебила его: «— Э-эх! Милостив, да не до нас!» Справедливость Бога Катерина Ивановна не постигала и не принимала. Но на слова священника, напоминавшего ей «Что умирающего простить бы надо», она ответила: «И то простила!» Когда Мармеладова исповедывали и причащали, она стояла на коленях и молилась. Кому же? Очевидно, Творцу несправедливому, но все же милостивому.

Счеты Катерины Ивановны с Богом сложны и запутанны, людям в них не разобраться. Недаром в ответ на ее мятежные слова «священник» тоник головою и не сказал ничего». Ничего не говорит и Достоевский. Бунт, восстание на Небо в защиту утнетенных всегда готовы вспыхнуть в его душе. Но он молчит, он не знает. И чувствуется Достоевскому, что должны мы смириться, и вину за свершающееся в мире зло каждый из нас должен взять на себя.

«Мармеладов был в последней агонии; он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему всё хотелось что-то ей сказать; ...но Катерина Ивановна, понимавшая, что он хочет просить у нее прощения, тотчас же повелительно крикнула на него. — Молчи-и-и! Не надо!.. знаю, что хочешь сказать!.. — И больной умолк; но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню...»

Не случайно назвал Достоевский появление Сони *странным*. Она предстала перед умирающим как некое, для него одного, потустороннее видение. Этого автор не выделяет, не подчеркивает и лишь говорит от себя: «До сих пор он не замечал ее: она стояла в углу и в тени». Слова простые, оброненные мимоходом, но после них внимательный читатель ощущает на мигновение нечто особенное в появлении Сони. В старинных романах нередко говорилось о привидениях, стоящих именно «в углу и в тени».

«— Кто это? кто это? — проговорил он вдруг хриплым задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться».

Мармеладов никогда до того не видел Сони в скоморошевском костюме уличной проститутки. Он не узнал дочери, и в этом карикатурно нелепом маскараде почудилось ему что-то жуткое. Перед ним еще при жизни вставало видение Страшного Суда. «Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее... Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное спрадание изобразилось в лице его.

— Соня! дочь! прости! — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и прохнулся с дивана прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках».

Тут, в предельном напряжении свершающегося, раскрывается, как всегда в такие минуты у Достоевского, внутреннее мистериальное значение каждого сказанного слова, каждого движения,

поворота и положения, и обнаруживается, что жизнь человека и всего мира — грозный и страшный религиозный процесс, решающий нашу судьбу. Нездешняя власть столкнула Мармеладова с дивана. Но то была не злая власть, а всего лишь карающая: суровый ангел сбросил умирающего наземь, показывая ему, что нет у тяжко согрешившего человеческого существа ни собственной воли, ни сил. Мармеладова подняли и снова положили на диван. Помогал поднимать его, конечно, и Раскольников, приобщаясь этим, хотя бы на единый миг, к соборной воле людей, любящих своего ближнего. Поступая так, убийца, пусть на мгновение, побеждал в себе духа глухого и немого, до того дважды — до убийства и после убийства — срывавшего его с дивана.

Умер Мармеладов в объятиях у Сони. Она была ему дочерью по плоти, но теперь обнимала его, провожая в вечность как духовная мать и как мать земля, простившая своего блудного сына. Есть ли еще в мировом искусстве символ, подобный этому!

Я только что сказал, что вся эта сцена, нет, все это животрепещущее действие вершится в предельном напряжении. Но вот, немедленно вслед за тем, и не отрываясь от беспощадной действительности, сумел вдохнуть Достоевский в земные лики нечто запредельное и беспредельное.

Раскольников несомненно заметил выглядывавшее из-под соломённой шляпки личико, такое еще девственное, непронутое пороками. О том, что почувствовал он, вглядываясь в неподвижные от ужаса Сонины глаза, мы не знаем. Взволнованный, подошел он к Катерине Ивановне и прерывающимся голосом просил ее принять от него посильную помощь. Он дал ей все, что имел, все деньги, присланные ему матерью, оставшиеся после покупки платья, и быстро вышел из комнаты. На лестнице повстречал он Никодима Фомича, заметившего при свете фонаря свежие пятна крови на его жилете. Теперь кровь, вторично обаврившая, но на этот раз благодатно освятившая недавнего убийцу, вела его к небывалому, к чудесному. Раскольников пошел вниз по лестнице.

«Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке, и не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло переходить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник; Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспеш-

ные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька; она бежала за ним и звала его: «— Послушайте! Послушайте!»

Удивительно здесь сравнение того, что ощущал Раскольников, с ощущением, испытанным некогда самим Достоевским, приговоренным к смертной казни и внезапно узнавшим, что он прощен. Не случайно упоминается здесь и священник, догнавший и обогнавший Раскольникова на лестнице. Так же точно догонял на плацу другой священник только что помилованных политических преступников, уводимых стражей прочь от смертного столба. Уж наверное в тот памятный день поклонился Достоевский обогнавшему его, облеченному в сан представителю церкви. Какой прилив торжествующих жизненных сил почувствовал тогда подпольный заговорщик, пропагандист кровавой революции, требовавший в разговорах с Ап. Майковым и другими не менее ста тысяч голов! Ведь важно тут не то, что Достоевский фактически никого не убил, а то, что он, подобно Раскольникову, *по совести* разрешал себе проповедь убийства. Всего же важнее, всего насущнее заметить, что хоть и не бежала по плацу Поленька вслед за уводимым Достоевским, хоть и не звала она его, но ангел-хранитель неслышно и невидимо сопровождал помилованного преступника. Этот ангел, в ту минуту учуянный сердцем Достоевского, теперь в лице Поленьки догонял Раскольникова.

Стоит повернуться лицом к свету, к людям, к их страданиям и радостям, как тотчас спадает, даже с самого закоренелого злодея, невыносимая тяжесть греха, и хлынувший в открытую душу поток жизненных сил затопляет рассудок. В эти бездумные, ликующие мгновения человек всем существом своим живет — и только! Однако жить значит действовать, значит снова и снова решать, с кем быть — с Богом или с дьяволом. Но это потом, может быть, через минуту, а сейчас — ликовать и дышать!

На зов Поленьки Раскольников повернулся к ней. «Та бежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшейся ему и весело, по-детски, на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое видимо ей самой очень нравилось.

— Послушайте, как вас зовут?.. а еще: где вы живете? — спросила она торопясь, задыхающимся голоском».

Ее прислала «сестрица Соня» и Катерина Ивановна. Раскольников безошибочно знал, сердцем знал, что прибежала к нему Поленька с поручением от Сони. Почему знал? Да потому, что в такие редчайшие минуты человек сам себе равен и многое о себе и

других открывается ему. «Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее».

Откуда же зародилось в нем счастье? При тусклом свете, доходившем со двора, сияло перед ним улыбкой невинное детское личико, и было в этом что-то ангельское, нездешнее. Небесное сияние и тусклый свет земли! Но и он нам дорог во мраке преха, он сулит нам свет неодолимый.

«— Любите вы сестрицу Соню?»

— Я ее больше всех люблю! — с какой-то особенною твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.

— А меня любить будете?

Вместо ответа, он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему всё крепче и крепче.

— Палочку жалко! — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы...

— ...Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его».

Почему засмеялась Поленька тотчас после того, как заплакала? Обычно, такой детский смех принято называть беспричинным, да и на самом деле, ни под какие земные причинности его не поведешь. Он выше их, в нем отзвук утраченного рая. Нет, неверно было бы утверждать, что Раскольникову закрыты все пути к раскаянию. Искра Божья теплится в нем неугасимо. Он молится и просит ангела-хранителя, ниспосланного к нему с Неба, молиться за него. Так же в молодости молился сам Достоевский, разрешавший тогда и себе и другим — пусть всего лишь теоретически — пролитие крови по совести. Но вот мы знаем, что он воскрес на каторге к новой жизни. Разумихин, упрекавший Раскольникова, мог бы с не меньшим основанием обратиться с тем же упреком к молодому Достоевскому, еще не прошедшему через катастрофу всех своих преступных понятий и «убеждений». «Ведь это разрешение крови *по совести*», — говорит Разумихин, обращаясь к Раскольникову, — «это... это, по-моему, страшнее, чем официальное разрешение кровь проливать, законное...

— ...Совершенно справедливо, — страшнее-с, — отозвался Порфирий». На слова простосердечного Разумихина откликается

устаами судебного следователя, верующего в Бога Порфирия Петровича, не только право, установленное людьми на земле, но и Право Небесное. Именно в том, что страшнее всего, был повинен Достоевский ничуть не менее Раскольников. Достоевский преобразился, может преобразиться и Раскольников. Совсем иное Петр Верховенский. Он не только оправдывает пролитие крови, но творит еще зло ради зла. Такое существо раскаться не может. Это изверг, большевик, солома, подлежащая сожжению.



Уходя, Раскольников дал свой адрес Поленьке. «Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через пять минут он стоял на мосту, *ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина*».

Что опять привело его сюда? Здесь отделялась от него замученная, скорбная совесть, здесь, еще так недавно, судьба его как бы сливалась с судьбою впавшей в отчаяние, покушавшейся на самоубийство женщины. Стоя тогда на этом мосту, он смотрел на отблеск заката. То его собственное сердце, Богом созданное, уходило от него в вечную обитель сердец. Бросившаяся с моста в прызную воду канала бедная Афросиньюшка своим жалким наглядным примером спасла Раскольника от самоубийства. Эта женщина, олицетворявшая собою истерзанную совесть преступника, не утонула. Она была спасена соборным усилием, любовной волей людей. Все это показывало Раскольникову путь к спасению в общении с ближними. Но его духовные силы были уже на грани погасания. Спаси его могло только чудо — вмешательство светлой сверхъестественной воли. Она-то и привела его к умирающему, раздавленному пороком и возвеличенному смирением Мармеладову, к праведно бунтующей Катерине Ивановне, к ангелу — Поленьке, к падшей в жертвенном смирении Соне. Пути к спасению милосердно предуказывались Раскольникову свыше. Ведь если собрать и слить воедино всё *духовно* творившееся в семье Мармеладовых, то увидишь, что именно этого был лишен замкнувшийся в себе Раскольников. Единый, заранее оправданный перед Богом дух Мармеладовых стучался теперь в душу убийцы, преданного злостному бунту.

Был час одиннадцатый, когда Раскольников вышел от Мармеладовых на улицу, отмечает, как бы между прочим, Достоевский. Но ничего «между прочего» в «Преступлении и наказании» не имеется и, упоминая о часе одиннадцатом, автор не забывал

Евангельских слов о том, что «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Выходил он нанимать работников в третьем, и в шестом, и в девятом часу и, наконец, вышел в одиннадцатом. А вечером, при расплате, все работники одинаково получили по динарию. Управляющий, по распоряжению хозяина, заплатил всем поровну, начав с пришедших в одиннадцатом часу. И последние стали первыми во исполнение непонятной человеческому рассудку высшей справедливости.

Шел час одиннадцатый, и не утренний, а ночной, но Раскольникову всё еще было не поздно сбросить с себя наваждение. Внутренняя воля Раскольникова, принявшая — пусть на мгновение — благодать, исходившую от Поленьки, снова привела его к тому месту, где грозила ему гибель. Там, где люди спасли Афросиньюшку, обрекался он искать и найти для себя спасение и стать из последнего первым. Кто по собственному соизволению сознательно падает, тот должен сам научиться вставать. Но как встать, лишившись духовной свободы? Раскольников был не один, к нему крепко прирос некто другой, овладевший его помыслами. Этот некто торопился перевести в свое русло силу, только что чудесно дарованную ангелом отпавшему от Бога и людей идейному убийце. Злая потусторонняя воля тотчас передалась Раскольникову, что-то внезапно как бы перевернуло его. «Довольно!», — произнес он решительно и торжественно, — «прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой! Царство ей небесное и, — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... воли, и силы... и посмотрим теперь! померяемся теперь!» — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. «А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства!».

Здесь, что ни слово, то подмена и ложь, вплоть до упоминания о Царстве Небесном. Но кто из смертных не тешил себя в уединении подобными подменами, пытаясь обмануть свою совесть. И как знаменательно звучит в наши дни это упоминание о «царстве рассудка и света» — источнике всех бед и крови, проливаемой самозванными властителями на благо человечеству. Самая же замечательная из всех подмен, совершенных Раскольниковым, это его вызывающее обращение к Богу как к темной силе. Идейный убийца снова собирался богоборствовать, паразитарно опираясь на Поленьку — посредницу высших велений. А об убитой Лизавете, Сониной крестовой сестре, Раскольников как бы совсем

позабыл: помнить ее значило бы для него сокрушаться и каяться. Зато, обращая Божий рай в карикатуру, он кощунственно выражает пожелание Царства Небесного злой старухе, им же самым умерщвленной. Нет, не только «папочку» оплакивала Поленька, когда так доверчиво обнимала Раскольников!

«...сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не знают», — прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги, с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту; уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему «можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старою старухой». Может быть, он слишком поспешил заключением, но он об этом не думал».

В самом деле, не слишком ли поспешно — едва переводя ноги — хвастаться силой самоуверенно и гордо? Какое нелепое сочетание надменной кичливости со слабостью! В этом не только весь Раскольников, но и всякий человек, кроме, разве, истинно святых. Кто действительно отдает себе полный отчет в своих побуждениях, и кто не хватался за соломинку, принимая ее за надежное бревно? Говоря о Раскольникове, Достоевский говорит о человеке и не о русском по преимуществу, как принято почему-то думать, но о человеке вообще. По воле автора «Преступления и наказания», Раскольников отличается предельной заостренностью чувств, дум и желаний. Он явно одержим. Но кто не одержим в той или иной степени? Исследуя самого себя, Достоевский умел доводить свои мысли до завершения, и как творец, как художник никогда не кривил душою перед совестью. В собственной душевной глубине нашел он Раскольника и вывел его из темноты на свет. Одним умением находить и видеть себя отличался от всех Достоевский. Но Раскольников действует в каждом из нас. Он, как и все, живет духовно за счет своих ближних, но далеко не как все, пользуется своевольно и злостно флюидами, исходящими от других. Он сам не знал, что так внезапно его «перевернуло», когда снова с прежней силой сказалась в нем одержимость, столь развеселившая его. «А раба-то Родиона попросил однако помянуть», — мелькнуло вдруг в его голове, — «ну да это... на всякий случай!» — прибавил он, и сам тут же засмеялся над своею мальчишеской выходкой. Он был в превосходнейшем расположении духа».

Зло не имеет самостоятельного бытия, существуя паразитарно за счет добра. Чёрт воспользовался силой, полученной Раскольниковым от Поленьки, и светлую радость обратил в черное ликование преха.

Когда каких-нибудь три часа тому назад, выходя из «Хрустального Дворца», Раскольников повстречал всюду его искавшего Разумихина, он на слова приятеля, приглашавшего его к себе на вечеринку, ответил отказом и пошел прочь. — «Об заклад, что придешь! — крикнул ему вдогонку Разумихин». И оказался прав. Теперь, несмотря на слабость во всем теле, Раскольникова снова потянуло к людям, к Разумихину. Уж очень ему хотелось, чтобы кто-нибудь увидел на лице его опечаток одержанной им победы над совестью и «предрассудками». Он не понимал и не чувствовал, что совершённая им сейчас подмена небесной благодати торжеством гордыни и самоутверждения горше и страшнее его кровавого преступления. Пролитв человеческую кровь, он стал Каином. Отрекаясь от чистых объятий детских, как спички, тоненьких рук, он предавал Христа и превращался в Иуду.

Раскольников легко отыскал Разумихина, недавно переехавшего на новую квартиру: «в доме Починкова нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу». У Разумихина шел пир горой. Гостей собралось человек пятнадцать, среди них находились: доктор Зосимов, секретарь полицейской конторы Заметов и судебный следователь Порфирий Петрович — дальний родственник гостеприимного хозяина.

Раскольников остановился в прихожей и послал служанку, хлопотающую около самовара, за Разумихиным. «Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил...

— ...Слушай, — поспешил Раскольников, — я пришел только сказать, что ты заклад выиграл и что, действительно, никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу: я так слаб, что сейчас упаду. И потому здравствуй и прощай! А завтра ко мне приходи...

Разумихин решил проводить приятеля, но предварительно вызвал к нему Зосимова. Заботливый врач, немедленно попотчевал своего пациента порошком.

Провожая Раскольникова, изрядно подвыпивший Разумихин говорил лишнее. Из его болтовни выяснилось, между прочим, что Заметов, после памятного разговора с Раскольниковым в трактире, отказался от подозрений и рассказывает в них. — «А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не мо-

жешь! «Мизинца, говорит, этого человека не стою!» Твоего, то есть». Стыдно стало и Илье Петровичу, заподозрившему Раскольникова в убийстве. Из слов Разумихина выяснилось также, что Зосимов склонен считать Раскольникова если и не прямо сумасшедшим, то всё же не совсем нормальным. «Раскольников жадно слушал». Такое дальновидное состояние догадливых умов было для него весьма выгодным после того, как мысли о явке с повинной он окончательно отбросил. — «Слушай, Разумихин, — заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо: я сейчас у мертвого был, один чиновник умер... я там все мои деньги отдал... и, кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы... одним словом, я там видел еще одно существо... с огненным пером... а, впрочем, я завираюсь, я очень слаб, поддержи меня... сейчас ведь и лестница...»

Чего в этой прерывистой речи не договаривал Раскольников? Одно — несомненно: в нем укрепились уверенность, сердцем ему подсказанная, что Поленька не перестала бы любить его своей детской любовью, если бы и узнала, что он — убийца. Всего же замечательнее здесь — это неожиданное упоминание о существе с огненным пером, о Соне. Ведь с нею он даже не успел познакомиться, стоя близ умирающего Мармеладова! Вот прямое подтверждение того, что, еще выслушивая в распивочной исповедь Мармеладова, уже действительно «знал бессознательно» Раскольников, на кого он будет опираться и к кому пойдет, когда надо будет «хоть к кому-нибудь да пойти». Отсюда, как неизбежное следствие, рождалось «бессознательное знание» Раскольникова о том, что он убьет Лизавету. Соня с Лизаветой мистически неразлучны, они духовно отражают друг друга.

«— Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин.

— Голова немного кружится, только не в том дело, а в том, что мне так грустно, так грустно! точно женщине... право! Смотри, что это? смотри! смотри!

— Что такое?

— Разве не видишь?»

Раскольников увидел свет в окне своей комнаты. Но еще за мгновение до того ему вдруг стало грустно, точно женщине. До него дошло некое веяние, исходявшее от существ, поджидавших его в комнате. И было в этом веянии что-то тоскующее и нежно женственное. Тотчас вслед за тем он увидел испугавший его свет. У него мелькнула мысль, что пришла полиция с обыском. Глубина души Раскольникова по-прежнему продолжала жить своей жиз-

нию, непричастной греху, и всё воспринимать шестым чувством, а извращенный преступлением разум обманывал убийцу.

Взобравшись на лестницу и подойдя к двери, они вдруг услышали в комнате голоса. «Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный.

Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. *Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас придут?*»

Лужин в тот же день утром сказал Раскольникову, что с часу на час ожидает приезда Пульхерии Александровны и Дуни. Но Раскольников об этом совершенно забыл. Почему?

Надо быть особенно внимательным, когда Достоевский задает свое очередное «почему». Он часто многого не договаривает, боясь нарушить художественную ткань повествования и, одновременно, вызывая читателя на сотворчество. Раскольников забывал о сестре и матери и как бы совсем не помнил Лизаветы потому, что память о них, инстинктивно им заглушаемая, с невыносимой остротой пробудила бы в нем совесть. Его зараженное грехом сознание не слушалось сердца. Оттого полоску света, извещающую его о прибытии сестры и матери, его заблуждающийся рассудок истолковал превратно.

Пульхерия Александровна и Дуня успели обо всем расспросить Настасью, стоявшую и теперь перед ними.

«Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял, как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него, как пролом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали... Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке».

Наступил час Разумихина. Он «схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване».

С этого мгновения Разумихин раз навсегда вошел в семью Раскольниковых и крепко к ней прирос. Бог не покидал ни Дуни, ни Пульхерии Александровны, ни самого преступного Раскольникова. Благодатным посредником между ними и высшей волей становился «горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный Разумихин».

Ведь и Достоевскому хотелось подчас на ком-нибудь остановиться и отдохнуть или хотя бы передохнуть. Но личность Разумихина — не каприз и не слабость автора, она входит неотъемлемой органической частью в мистериальный ход всего повествова-

ния. На вмешательстве Разумихиных в земную жизнь держится в мире всё, начиная с булочных и сапожных мастерских и кончая высшими государственными и научными учреждениями. Разумихины — основа семьи и человеческого общества.

Раскольников скоро пришел в себя. Разумихин схватил за руку Дуню и «пригнул ее посмотреть на то, что «вот уж он и очнулся». К этому, раскрывая свой замысел, Достоевский добавляет: «И мать и сестра смотрели на Разумихина как на Провидение...»

Свет, исходивший от Пульхерии Александровны и Дуни, осветил Раскольникова. Но события снова втягивали его в свой круговорот, властно напоминая ему, что «жизнь и волнение — одно».

(Окончание следует)

Сорокалетие русской поэзии в СССР

1920 — 1960

6

С наступлением революции к вышеуказанным группам прибавилась четвертая, *крестьянская*, хотя некоторые ее представители выступали в печати еще с 1910 года. Ее составляли настоящие крестьяне, в которых жила подлинная русская допетровская традиция. Они своеобразно соединяли словесные достижения Ренессанса с русским народным мировоззрением. Они обладали от рождения тем, к чему футуристы стремились теоретически и искусственно. Но недостаток систематического образования так и остался главной слабостью многих из них. Они считали себя глашатаями миру новых истин, тогда как им следовало начинать с серьезной работы над собой, часто прешли мистификацией, в которой некомпетентная публика обвиняла непонятных для нее футуристов.

Тем не менее, после футуризма эта группа оказалась наиболее плодотворной в русской пореволюционной поэзии. Членов этой группы связывала общность мирозерцания (гораздо больше, чем теоретические принципы), любовь к природе, которую они ощущали непосредственнее, чем горожане, близость к старообрядчеству и привязанность к особенностям своего края.

Тогда как большинство футуристов родом с юга России — из Одессы, с Украины (Петников, Петровский), с Волги (Хлебников, Заболоцкий), даже с Кавказа (Маяковский), — почти все крестьянские поэты представляют искони русские срединные земли: Керженец (Корнилов), Рязань (Есенин) и, главным образом, Север (Клюев, Прокофьев, Яшин и др.). Только Смоленщина дала двух периферийных поэтов, мало характерных для группы в целом — Исаковского и Твардовского.

Революция помешала распространению Ренессанса на дерев-

ню. Первые контакты осуществились уже давно, в лице многообещавшего Сергея Городецкого, позже приспособившегося к требованиям партии и переставшего существовать как поэт. Клюев попал в столицы в 1911, а Есенин — в 1913 году, где оба сразу были приняты в литературных крутах. Но деревня приобщалась к Ренессансу по-своему. Он был для нее, в первую очередь, расширением возможностей проявить себя. У крестьян росло самосознание, ощущение принадлежности к великому целому — России. Это новое для деревни чувство быстро вытесняло устарелое: «мы — калужские, до нас враг не дойдет...» Самоуверенность росла одновременно с интересом к образованию.

Деревня переставала стыдиться своей «отсталости», т. е. верности отцовским заветам. Усваивая новое, она все больше ценила непреходящее значение сохранных ею древних русских традиций. Хотя «шестидесятники» и другие «интеллигенты» рапинались в газетах о своей любви к народу, на самом же деле они презирали его и хранимую им исконную русскую культуру.

Одна из больших заслуг Ренессанса — творческая переоценка русского культурного наследия, вынесенного из запыленных картонок ученых специалистов на широкий простор большой литературы и передовой культурной жизни. Видя это шедшее из центра уважение к русской специфике, крестьяне тоже переставали ее пренебрегать. Этим объясняется появление таких высокоодаренных и своеобразно культурных людей, как идеолог старообрядчества Федор Мельников, как Сергей Клычков или Клюев.

Если бы вместо Ленина и марксистов в 1917 году получило власть русское крестьянство, мы были бы уже свидетелями могучей, национально-самобытной, независимой от Запада русской культуры, вооруженной к тому же всеми техническими возможностями современности.

Крестьянская литература просуществовала почти открыто до начала тридцатых годов, благодаря тому, что советская власть объявила себя «рабоче-крестьянской». В стапятидесятимиллионной стране, насчитывавшей едва несколько сотен тысяч промышленных рабочих, диктатура не осмелилась назвать себя только «пролетарской». Но власть, назвавшая себя и «крестьянской», не могла с самого же начала подвергнуть крестьянские организации столь же полному разгрому, как и все прочие не-советские культурные и общественные силы, окрещенные по сему случаю «буржуазными».

Пользуясь этой словесной неувязкой, крестьянские писатели сохранили возможность проводить в печати не-коммунистические

идеи и художественные приемы, немало способствуя этим сохранению в России подлинного творчества. Но и этой свободе наступил конец, когда коммунисты изобрели для охаивания крестьянского духа термин «кулацкий». Всё власти неудобное, как в хозяйственном, так и в культурном отношении, было объявлено «кулацким».

Среди крестьянских поэтов наиболее знаменит, и не в одной только России, — *Сергей Есенин*. Безоговорочные похвалы, выпавшие на его долю, объясняются не только и не столько его литературными достоинствами, сколько политическими причинами, а также сочувствием его страшной личной судьбе. Есенина трудно судить только как поэта: он стал символом подлинной России, угнетенной коммунистами и им не подчинившейся. Вплоть до наших дней, разочарованная в коммунизме молодежь, хладнокровно приносимая в жертву революционному Молоху, видит в трагическом образе Есенина свое воплощение и свое оправдание. Он, несомненно, — любимец народа. Он и на самом деле глубоко характерен своей стихийной русскостью. В его лице русское крестьянство впервые заговорило о себе не только как о сословии, но и как о человечестве, само за себя, своим голосом, а не через более или менее добросовестных посредников, как до тех пор.

Есенин не только не кривляется «под мужичка», что случилось еще с Городецким, но говорит о своем мужичестве как человек, просто и серьезно, языком Пушкина. Он — не новатор. Есенин доволен освоением достижений своих предшественников и творит независимо ни от каких теоретических предпосылок.

Лучшие его вещи полны словесной магии. Если у Мандельштама магия — результат духовной победы над словесным материалом, то у Есенина она родилась естественно, из его укорененности в русской стихии. Обороты его речи, как и иные образы Рафаэля, привлекают своей симпатичной закругленностью, какой-то кошачьей ласковостью. Они не приводят в экстаз, как у Мандельштама, а вкрадчиво подкупают. Очарование Есенина — в дебрях простоты, недоступных другим поэтам:

Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан...

Даже его грубость обезоруживает простотой:

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,

Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять...

Его первые стихотворения — пантеистические идиллии, насыщенные смелой, яркой, эпически грандиозной и эпически простой образностью: «Ночь, как ворон, точит клюв на глаза-озера...» Он сравнивает явления природы, главным образом, с предметами крестьянского обихода: «отелившееся небо лижет красного телка», или: «Колесом за сини горы солнце тихое скатилось», придавая им этим приемом некий непреложный, мифологический характер. Например, строки: «Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге», несмотря на свою парадоксальную новизну, запечатлелись в сознании народа и явно выросли в общую российскую мифологию.

Особенно замечательны его фантазии в форме циклов на темы полуфольклорного старообрядчества: «Русь», «Иорданская голубица», «Сорокоуст», «Октоих», «Преображение», а также «Июния», «Небесный барабанщик», «Пантократор» и «Кобыльи корабли».

Надо, наконец, сказать во всеуслышание то, что почему-то продолжает замалчиваться (отрицать это — невозможно) до сих пор и в эмигрантской печати: глубочайшими своими корнями и лучшей стороной своей личности Есенин был связан с старообрядчеством. Тут и несомненное, хотя и недостаточно изученное, влияние его деда по матери Федора Андреевича Титова, которому Есенин обязан всем; тут и неустрашимое свидетельство всех его дореволюционных стихов; тут и обилие специфически старообрядческих слов, насыщающих все его произведения, которое невозможно приписать случайности: «сорокоуст», «радунница», «Инди-коплов», «Егудиил» и т. д. Особенно в его ранних стихах религиозный момент играет большую роль. Стихи на эту тему особенно удачны, что указывает на ее бесспорную близость душе поэта:

Я вижу — в просиничном платке,
На легкрылых облаках,
Идет возлюбленная мати
С пречистым сыном на руках.
И, может быть, пройду я мимо,
И не замечу в тайный час,
Что в елях — крылья херувима,
А под пеньком — голодный Спас.

По близости к духовному миру эти строки удивительно напоминают великого английского религиозного поэта Френсиса Томпсона. Или, чего стоит хотя бы такой неподдельный крик души: «и на известку колоколен невольно крестился рука» — или другой, позднейший: «Положите меня в русской рубашке под иконами умирать...» А если все это так ярко вошло в его поэзию, то, следовательно, не могло оно быть ему внутренне чуждым. Именно эта связь со старообрядческой деревней и сделала Есенина большим поэтом.

Революция, конечно, была для него колоссальным потрясением. В стихах 1918-1922 годов — лучших из всего им написанного, видна борьба традиционных семейных устоев и новой революционной стихии. Он богохульствует, но беззлобно, по-залихватски дурачась: «как овцу от поганой шерсти я остригу голубую твердь», больше для красного словца: «Пополом нашу землю мать разломлю, как золотой калач...»

На этом и кончается художественно-ценный Есенин. Революция стала для него глубокой трагедией. Последней ярчайшей вспышкой его творчества были пропитанные безудержным отчаянием и поречью «Москва кабацкая» и «Сыпь, гармоника...»

Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь синими брызгами?
Или в морду хошь?..

После этого началось окончательное разложение его личности, внешне выразившееся в пьянстве и закончившееся 27 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер»...

Привязанность широкой публики к Есенину основана не на лучшей, религиозной поэзии его молодости, а на явно упадочных, однообразно-сентиментальных, полных нытья и самолюбования словесно неряшливых излияниях последнего периода, избыток которых доступными неподготовленному читателю общими местами:

«...Я нежно болен воспоминаньем детства...»

Слабее всего его стихи, написанные в смутной надежде угодить начальству: «Товарищ», «26», «Ленин».

Николай Клюев лишен общечеловечности Есенина и потому гораздо менее привлекателен для рядового читателя. Для знато-

ков же он представляет, пожалуй, большую ценность. Потомки обыкновенно подтверждают оценку более взыскательных и менее случайных читателей. Поэтому, в будущем, когда улягутся политические страсти нашей эпохи, меня бы не удивил рост славы Клюева, в ущерб есенинской. Поэт трудный, Клюев довел культуру слова до еще небывалых в России утонченности и совершенства. В ранних стихах он многим обязан Блоку, но постепенно у него выработалось исключительное своеобразие и многогранность.

Впервые в русской поэзии и сразу на головокружительно-высоком уровне Клюев выразил мирозерцание старообрядческого севера. Его предшественниками были Аввакум, братья Андрей и Симеон Денисовы, составители высоко чтимой старообрядцами книги «Поморские ответы», Иван Филиппов, инок Парфений и другие классики старообрядчества, изумляющие силой своей мысли и неподражаемой красотой своего языка, пока еще не оцененные по достоинству русской литературной критикой, но хорошо известные Клюеву; затем — Лесков, анонимный автор чудесных «Откровенных рассказов Странника духовному отцу своему», а главное — иконописцы русского средневековья. Клюев воплотил в своих стихах глубочайшие тайники народного духа.

По виртуозности стихосложения он опередил всех своих «городских» собратьев, кроме, может быть, Вячеслава Иванова и М. Кузмина. По насыщенности образами с ним может сравниться только Хлебников: «пышной кулича муравейник, а тень, как с наливкой бутылъ...» Кроме того, в Клюеве ощущается большая душевная чистота и простота, хотя и не без крестьянской хитрецы.

Клюев созрел медленно. В двухтомном «Песнослов», наряду с великолепными «Избанными песнями» или со стихами о скопчестве, немало слабого и даже безвкусного.

Из его произведений мы ничего не можем почерпнуть о его личной жизни, кроме того, что он любил свою мать, бывшую, по видимому, незаурядной женщиной. Упомянутые выше «Избанные песни» написаны на ее смерть. В его творчестве безраздельно господствует религиозная стихия, даже в тех случаях, когда он касается иных сюжетов: «Сыты кони овсяной молитвой и подкованы веры железом...»

Клюев, — один из редких в России поэтов-мистиков, то есть человек, которому удалось волшебством своего слова сделать ощутимым и убедительным для читателя свой несказанный мистический, может быть, даже сверхчувственный опыт:

Его одежды, чуть шурша,
 Неуловимы бранным слухом,
 Как одуванчика душа,
 В лазури тающая пухом.

Он умеет сделать внятным, конкретным, почти вещественным, самое отвлеченное понятие. У него «Михайло Архангел» и «Громовик Илья со Еремою запрягальником снаряжают... звездных мерингов с колымагами» для поездки в рай, где избы «кипарисовым тесом крытые», где «пожни сенные — виноград трава», где «Колесница зари гремит по камням небесным» и цветет «благостное дерево раево». Таковым примером может служить и приводимая нами в Приложении*) изумительная ода скопчеству.

Словарь клюевских стихов революционных лет наводнен специфическим «революционно-техническим» жаргоном. В результате, получается ни с чем не сравнимый, пестрый словесный состав, производящий на читателя художественное впечатление:

Под матицей резной (искусством позабытым)
 Валеты с дамами танцуют «вальц-плезир»,
 А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым,
 Щипля сусальный пух и сетуя на мир...

Если искренность таких его стихотворений как «Жильцы пробо» или «Ленин» допускает сомнение, то «Республика» или «Нила Сорского глас...» ярко и наглядно выразили конфликт традиционно-религиозной души с безбожной обезличивающей советской властью. Как далеко зашло его отчаяние, видно хотя бы из таких строк:

Господи! Да будет воля Твоя
 Лесная, фабричная, пулеметная...

Определив врага, Клюев вступил с ним в поединок, закончившийся его гибелью. Шедевры последних лет его жизни сохранились для потомства лишь благодаря счастливой случайности, да и то частично. Среди прочего утеряна, по-видимому, окончательно его последняя поэма «Песнь о Великой Матери», которая, по отзывам успевших с ней познакомиться, еще сильнее и прекраснее, чем изумительная «Погорельщина**»). Наследие поэта было разгромлено чекистами, а сам он погиб при не выясненных до сих пор

*) См. «Г р а н и» № 51. — Р е д.

**) См. Б. Филиппов, «Погорельщина», «Г р а н и» № 34-35, 1957 г. — Р е д.

обстоятельствах, после пребывания в лагерях Нарымского края, подточившего его силы. «Мать-Суббота», «Заозерье» и, особенно, «Попорельщина» навсегда останутся чистейшими жемчужинами русской поэзии. Это — плач по стубленной русской жизни и природе, жизни, тесно с природой переплетенной, от нее неотделимой. «Попорельщина» — словесная иконопись, воскрешающая шедевры мастеров российского средневековья преобразованием сельского быта. Ничего подобного в русской поэзии еще не было. Тут мы действительно наглядно присутствуем при зарождении иконы из идеального образа земной жизни:

У Прони скатерть синей Онега, —
По зыби едет луны телега,
Кит-рыба плещет и яро в нем
Пророк Иона прозлит крестом...

Третий по значительности из крестьянских поэтов — *Петр Орешин* — плодовитый, но неровный писатель. Его пейзажная лирика оригинальна и богата образами, хотя и не достигает несравненной конкретности Есенина. Зато Орешин превосходит своих собратьев по силе и оригинальности политической тематики, в частности апокалиптического переосмысления революции. У Есенина необоснованное ожидание немедленного наступления «мужицкого рая» сменилось чисто эмоциональным разочарованием. Взгляд Орешина глубже проник в суть российской смуты — он сразу ощутил ее трагический характер, который воплотился ярко и захватывающе в его лучших стихотворениях. Он пророчески предвидел талящиеся в недрах революции судьбы России и мира:

Гибель, конец Парижу! —
Поднял мечи восток.
В окна Урала вижу
Смутность китайских щек.

«Нерукотворный» — чудовищно-сатанинское олицетворение революции:

Медленно
Жую серые облака
И
Думаю

О погибающих братьях
Мудрым
Неунывающим пузом.

«Смертонос» — одна из самых страшных картин вакханалии смерти, разбушевавшейся над Россией после Октябрьского переворота. В поэме «На голодной земле» дано потрясающее своей сдержанностью и конкретностью описание ужасов тех лет. Орешин облакает политические события и настроения в выпуклые, далекие от шаблона образы так же естественно, как Есенин — явления природы, а Клюев — метафизические видения.

Позднее, в связи с невозможностью продолжать правдивую политическую поэзию, Орешин перешел на сатиру, но вскоре замолчал окончательно.

Крупнейший из романистов России советского периода, еще недостаточно оцененный русской зарубежной критикой, *Сергей Клычков* был также и поэтом, и, судя по имеющимся у меня разрозненным отрывкам, поэтом весьма незаурядным. Лишь из-за невозможности разыскать его книги, я вынужден отказаться от попытки дать его характеристику.

Четвертый крупный представитель этой группы *Павел Васильев* появился в печати лишь к началу тридцатых годов. Совсем еще молодым пал он жертвой сталинского террора. В его годы другие обычно пребывают в стадии ученичества, а он успел занять в поэзии нашего века одно из ведущих мест, которое, по-видимому, за ним и закрепится.

Внук сибирского казака, сын профессора высшей математики Омского университета, с первых же своих выступлений он внес в русскую поэзию новую, необычайной мощи музыку, новые краски, невиданные образы, неведомый дотоле могучий сибирский пейзаж, своеобразный быт и говор тамошних крестьян. Его чувство природы исполнено некой первобытной стихийной дикости:

На курганном закате поверим сильней,
Что, взметнувшись в степях вороньем темнолистым,
Разбегутся и вспрыгнут на диких коней
Эти камни, поднявшись с кочевничьим свистом.

Но эта стихийность порою достигает невыразимой прачии: «не прива, а коршун на шее крутой...» В его душе жила неистовая сила, свирепость уроженца степей. В его образах часто встречаются: «буран золотых пшениц», «кумачевая вьюга лент», «золотая пур-

за овса» и т. п. Что может быть стихийнее этого, на первый взгляд, ипривого танца:

Сапоги за юбкою,
Голубь за голубкою,
Зоб раздув,
Голубь за голубкою,
Сапоги за юбкою,
За ситцевой вьюгою,
Голубь за подругою,
Книзу клюв...

Женщина у него «так идет, что ветви зеленеют, так идет, что соловьи чумекуют...», а цветы —

Четвероногие как вымя,
Торчком, с глазами кровяными,
По-псиному разинув рты —
В горячечном, в горчичном дыме
Стояли поздние цветы...

Но его самобытность и мощь не мешали ему усвоить модернистическую культуру. Порою за ним чувствуется Ван-Гог: «зеленые стрелы взойшедшей пшеницы это синие стрелы щук...», порою у него возникает своеобразный мир идеалов сибирских туземцев:

Отточены камни. Пустынен и страшен
На лицах у идолов отблеск души.
Мартыны и чайки кричат над Балхашем
И стадо кабанье грызет камыши.

А порою рериховский — «шафранного марева пряный обман». Большая поэма «Соляной бунт» — подлинная оргия смелых, мощных метафор, буйство крепкой и яростной словесной ткани на фоне жизни, полной опасности, волевых решений, жестокости, сильных характеров и переживаний. Доживи Павел Васильев до наших дней, возможно, что он весьма пришелся бы ко двору своей любовью к военной славе России:

Полтысячи острых, крутых копыт
Взлетают, преграды сбив,
Проносятся кони твоих солдат,
Косматые птицы прив...

Но сталинские опричники не дремали. Очень скоро они усмотрели в творчестве Васильева нивесть какую крамолу, объявили его «кулацким» поэтом и повели против него систематическую травлю. Началось с требования «перековки», то есть с отказа от своей личности в угоду куцому партийному катехизису. Творческий организм молодого поэта был надломлен. Все им опубликованное после 1934 года лишено прежней силы, и порою становится больно за беспомощность и убожество поэта, доведенного до отчаянья бессмысленными требованиями литературных неучей из партии. Затем пришли личные оскорбления и клевета-обвинение в пьянстве, не соответствовавшее действительности; наконец, замалчивание, арест и исчезновение в концентрационных лагерях Севера. После смерти Сталина было лишь официально сообщено, что Павел Васильев умер в 1937 году, без всякого указания причин его смерти. В год смерти ему было всего лишь 27 лет.

Своеобразное явление — поэт и живописец *Павел Радимов*. Пользуется он, главным образом, строгими формами — сонетом и элегическим двустушием для невозмутимо-спокойных пейзажей и зарисовок быта русской деревни. Его поэтические произведения кажутся отрывками из незаконченного грандиозного сельского идиллического эпоса. Лучшие его сонеты посвящены Подмосквью.

Влияние Хлебникова наиболее сильно и плодотворно сказалось на позднейших поэтах модернистического толка. На крестьянскую же молодежь более друтих повлиял Клюев. Его воздействие заметно на ранних стихах быстро исчезнувшего и, по-видимому, погибшего *Алексея Ганина*:

Мы мчались над царством лазурных озер,
Где месяц-кудесник раскинул шатер
И с берега белую прядь бороды
Полощет на синем затоне воды...

Но вскоре у него по-своему зазвучал поэтический голос, он обрёл мастерство классического типа и склонность к развертыванию явлений природы в широкие фантастические картины апокалиптического толка, в каждом образе которых сквозит бессмертие души.

Под влиянием Клюева, хотя и менее явным, одно время развивался *Сергей Островой*, автор поэмы «Город юности» (1935), написанной о городе Комсомольске на реке Амуре, полной интересных фантастических городских пейзажей. В ту пору Островой

владел ценными языковыми ресурсами и меткой наблюдательностью. «Заросшая небом тайга» у него «трясла бородами». Заря роняет с высот «рыжие перья»; Амур — «седоус», он взлетает «облаком синим»; гоня пену, «бурун разбежится на белом коне». «Волна до звона налитая плотает синий холодок...»

Но и Островой вынужден был «перестроиться», то есть в конечном итоге отказаться от своего таланта. Лишь после смерти Сталина он стал медленно приходить в себя. Он сохранил любовь к русскому пейзажу и словесную изысканность. Только они проявляются реже и слабее, отдельными искорками в массе соцреалистического войлока: мать дала ему «в изголовье синее небо», «высоту пополам перерезала птица» и т. д.

Среди северян *Александр Прокофьев* тоже вырос из Клюева:

Ты сокол, а я дожидая орла!
Он выведет песню, как конюх коня...

Отчасти из Орешина:

Смерть встала на горло холодной ногой,
Ударила в спину железной клюкой;
Уже рассыпается кровь, что крупа...

Вначале он обещал очень много: полководье его словесной стихии, будучи еще в состоянии почти первобытного хаоса, мощно ломало утлые преграды синтаксиса. Его по-столярному крутая, но и по-столярному ладная образность, отличалась своеобразием: «море — зеленое как вывеска», сыновья «квадратные как печи», «садятся на лавки широкого свойства». Он удачно соединял простоту с гиперболой: «бери любую погоду из всех залежалых погод...», «...Только двое на улицах: диктатура да ветер...» В его лице мог вырасти большой религиозный поэт, продолжатель дела Клюева. Но он соблазнился предложенными партией привилегиями, и всё им написанное за последние двадцать лет лишено всякого интереса, за исключением, пожалуй, навеянной «Словом о полку Игореве» поэмы «Россия». Только тут... партия не при чем. Но и эта поэма написана уже очень давно, прежде чем его дарование успело иссякнуть.

Другой северянин *Александр Яшин* — талантливый пейзажист:

Крупная, как звезды, земляника,
Дикий хмель — не выйдешь, хоть убей!

По бору прибы, а голубика
Утреннего неба голубей.

Его любовная лирика наивно слабее и интересна лишь вкрапленными в нее элементами пейзажа:

На волоках ищи,
В заводях незнакомых,
В хвойной прибойной глуши,
В травах и буреломах...

Но не у одного только Яшина пейзажная лирика удачнее любовной — так дело обстоит почти у всех русских поэтов советского периода. Пейзаж можно пристегнуть к дозволенному патриотизму, тогда как о любви можно говорить с успехом только при неременном условии полной, ничем не опраниченной искренности. Любовь непременно связана с беспокойством, с тревогой за любимого человека, за его ответное чувство, за его и свою судьбу, не говоря уже о некоей, словами трудно определимой, «метафизической» тоске о близости «миров иных», неизбежно свойственной всякому настоящему чувству, о чем Тютчев говорил в своем гениальном стихотворении «Близнецы». Если же все должно обстоять благополучно — любовная лирика становится невозможной. Невозможно, как того требуют советские прописи, всегда побеждать свое чувство и даже быть заранее уверенным в своей победе.

Смоленщина дала двух поэтов, достигнувших в СССР широкой известности, не без благосклонного содействия партийных верхов. Старший из них, *Михаил Исаковский*, усердно следует партийной указке при весьма скромном даровании:

Ленин прислал приказ —
Строгий, короткий, точный:
«Корову вернуть тотчас
И донести мне срочно...»

Тем не менее, он заслуживает упоминания хотя бы вследствие своей неприязнительности: он ставит себе только опраниченные задачи, на выполнение которых у него хватает голоса. Его стихи просты, грамотны, но не блещут ни силой, ни воображением. Его якобы народные, а на самом деле весьма искусственные «песни» приятно напоминают Дмитриева:

Поклонился на прощанье,
Взялся за сердце рукой...
Вижу — парень он хороший
И осанистый такой...

Более молодой *Александр Твардовский* — литератор вполне советского толка, несмотря на проблески независимости и даже критического отношения к режиму. Эта совестьливость раздражает начальство, в общем, благосклонное к Твардовскому. Характером он напоминает Фадеева, у которого тоже преданность партии иногда выступала в конфликт с правдивостью и порядочностью.

Но, несмотря на слабые поползновения на оппозиционность, его произведения лишены настоящей ценности, потому что он следует казенным требованиям и в области формы, и содержания, и общего жизнеощущения. Он один из немногих поэтов, которые вне специфически советской обстановки, может быть, вообще не писали бы стихов. Он поэт — «волевой», а не «Божьей милостью», как Кирсанов или Мартынов. Он пишет не для удовлетворения внутренней потребности, а для достижения тех или иных внешних, сознательно себе поставленных целей.

Одно выделяет Твардовского среди остальных советских вельмож от литературы: безусловная одаренность, крепкая, меткая выразительность и стихотворное мастерство. Но содержание его больше соответствует прозе, чем поэзии и, думается, романы он писал бы лучше стихов. Изредка у него проявляется чувство природы:

Был воздух сух, морозом выжат
И необычно детски свеж...

Намного своеобразнее и талантливее *Борис Корнилов*, павший жертвой ежовщины.

Родом он из керженских лесов, бытовая, историческая, пейзажная и религиозная атмосфера которых питает всю его поэзию. В условиях советского Ленинграда, в которых ему суждено было жить и писать, об этом нельзя было и заикнуться. Но, тем не менее, ему так и не удалось скрыть свои корни от «недреманного ока», за что он, по-видимому, и поплатился жизнью.

И на каждой лесной версте,
У любого кержачьего скита,
Русь, распятая на кресте,
На старинном, на медном прибита...

В своеобразных, глубоко русских любовных балладах Корнилова, как «Мечта» или «Русалка», проявился свойственный ему сильный драматический элемент. Поэт тяжело переживает гибель крестьянства. Его сочувствие к погибающим ясно сквозит в его произведениях, несмотря на все усилия представить дело в выгодном для начальства свете. Как и у П. Васильева, у Корнилова встречаются в его вещах описание напрасных молитв гибнущих крестьян Богу. Вероятно, власть проощряла такие описания, рассчитывая, по-видимому, на то, что безрезультатность молитвы послужит подкреплением антирелигиозной пропаганде. Но у обоих поэтов на подобных страницах ощущается не только сострадание к несправедливо погубленным, но и искреннее религиозное чувство. Но поэт видит и другую Россию, Бога покинувшую, страшную и гнусную, породившую личины Бориса Григорьева:

Покрывались испариной
 Шеи синего цвета.
 Терли шеи воловы,
 Пили мутную радость —
 Подходящий сословью
 Крестьянскому градус...

Общероссийское горе вызывает в поэте отвращение к мирозданию вообще. На небе — «сопровождаемые жирной луной, сохлые звезды ужасного вида». Его образность — в опалкивающем, хищном, враждебном: «зубы — как собрание рыжих волчат», «руки твердые словно сучья», «глаза горят как сажа», «тошнотворный черемухи вызов», «щука — младшая сестрица крокодилу», «звезды высыпали как сыпь», «качается дрябло над нами омертвевшая кожа небес» и т. п. Но, несмотря на все это, страшная Русь Корнилова всё-таки уютна. Он любит:

Золотое твое варенье,
 Кошку рыжую на печи,
 Птицу синего оперенья,
 Запевающую в ночи...

Словесный дар Корнилова значителен. Поэт удачно использует выражения довольно сомнительного свойства, как, например, «с бухты-барахты», «аховый», «дребедень» и т. п., или обороты типа «покажи мне за ради Бога». Он — мастер звукописи: «Как лед спрессован снег санями», или: «рвя по вороту рубахи алый

шелк». Мало у кого из его коллег — такое изобилие незаурядных, изысканных рифм: «в овинах нет — вымахнет», «погиб — сапоги», «палец — улыбались», «разуверясь — ересь» и многие другие.

После войны выдвинулся, вскоре затем погибший, донской казак *Алексей Недогонов* главным образом своей поэмой «Флаг над сельсоветом», тенденциозной в целом, но удачной местами. Хорошо, например, начало о возвращении героя домой с войны, или описание дождя в деревне. Лучшее у него — идиллии и пейзажи:

Дым из печурки вьет резьбу
В лазури над избой,
Как будто кот вскочил в трубу
И поднял к небу хвост трубой...

В 1955 году вышла посмертная книжка, сильно меняющая его облик благодаря включению в нее большого количества ранее не опубликованных стихов. На первый план выступает тема о России:

Разрой чернозем и взгляни: что ни шаг —
Над костью монгольской тевтонский шишак...

Рано умерший, многообещавший *Дмитрий Кедрин* — тоже из Донбасса и тоже влюбленный в прошлое России, но уже под более книжным, литературным углом зрения. В его стихах «шумит элегический пушкинский дождик» и пьется «чай в кустодиевском блюде»; в них и «псковских соборов стрельчатых причудливые купола», и «фрески Андрея Рублева», и «деды в андреевских звездах, в высоких седых париках», и «косые ребра будки полосатой». Вспоминает он и старую Германию:

Пела гитара на старом Рейне,
Буриши читали стихи в кофейне.
Кутая горло платком пуховым,
У клавикорда сидел Бетховен...

Но исторические мотивы отнюдь не мешают ему быть остро, подлинно (а не казенно) современным:

А я человек переходной эпохи...
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю

И тех же сортов папиросы курю,
 Но славлю жестокость, которая в мире
 Клопов выжигает, как в затхлой квартире...

Особенно запоминается сильная баллада об Иване Грозном — «Зодчие», не лишенная намеков на прозную современность.

Далекое от политики тяготение к природе характерно для многих молодых поэтов, среди которых выделяется, сословно с крестьянством не связанный, интеллигент по облику *Александр Коваленков*. В своей поэтической среде он более других «не от мира сего», далек от партийных заданий и от тем повседневности, в чем его сурово обвиняет казенная критика. Он отличается чистотой словаря и слога и избегает простонародные, разговорные обороты, столь принятые в советской поэзии. Его пейзажи написаны свежо, четко и подробно: «Под хвойною крышей гуляет в сапожках сафьяновых рыжик». Карась «из леса в небо выплывает, как луна горбат и молчалив», скворцы «как шрапнель косо вылетают из кустов». Порою Коваленков напоминает Билибина стилизацией сказочного фольклора:

Вот елка прячется за елку.
 Встал хвойный терем на пути.
 Перо жар-птицы видно в щелку, —
 Там полдень тлеет взаперти...

Порою он напоминает Дюфи богатством палитры, на которой доминирует синий — цвет чистоты: «и воздух словно синее вино в распахнутых глубинах голубых...», или:

Дело было раннею весной.
 Воздух изумлял голубизной.
 Окуная елки в купорос...

Настоящая его родина — детство; он умеет пользоваться миром детских представлений: «кустарники резвятся на свободе... поездка аукают вдали...»

К Коваленкову близок его личный друг *Павел Шубин*, выделяющийся среди поэтов войны 1941–45 гг. подлинной чистотой лирического голоса, напоминающей прозу Аркадия Гайдара. У него та же кристальная прозрачность слова, легкая печаль, чувство природы и непритязательная любовь к жизни; та же, что и у Коваленкова, тяга к синеве, например: сад «одетый в синий полевой покой», «голубоватые короны тополей» или «ветра полубаяла благодать». Его стихи пестрят удачными выражениями: «выпнутые

крылья парусов», «несбыточный край», «ландыши белых фонарей», или у рыб «литых чешуй немые бубенцы». Шубин превосходно владеет техникой и умеет выражать подлинную эмоцию простыми словами, несмотря на стихотворно сложные формы:

В том городе, где жили мы с тобой,
К заборам ник подсолнечник рябой
И журавли, спеша на водопой,
Вплетались в сон трубою зоревой...

Его унесла ранняя могила, а с ним — его большие поэтические возможности.

Выразительностью отличается Федор Белкин, у которого бык «бодает зеркало воды», а «небо такое апрельское, что хочется тронуть рукой». У подсолнуха «золотой картуз на голове», он носит воробья «на шершавой жилистой ладони».

Владимир Солоухин необычайно оригинален, чуток и изобретателен.

Твоим запомнившимся смехом
Звенела светлая вода.

В детстве он крал яйца из птичьих гнезд:

...если сини до конца,
Как утром небо вешнее,
Я знал, что это у скворца
На яблоне, в скворешне.
А если чуть поглубей
И чуть крупней горошины,
Я знал, что это соловей,
И выбирал хорошее...

Но позже, когда возлюбленная поставила их в вазу у себя на комод, поэт сожалеет:

Из них ведь птицы быть могли,
А птицы петь бы стали...

В некоторых отношениях Виктор Боков близок к футуристам:

Мимо веников, мимо березовых,
Мимо мыл туалетных розовых
Проплывают без тени обиды

Краснопресненские Артемиды,
Дорогомилловские Дианы,
Полногруды, пышны, румяны...

К тому же, у него есть душа:

...И твои печальные и виноватые,
Незабытые, милые сердцу глаза...

Смелость образов соединяется с чисто крестьянской свежестью:

Шли подсолнухи полем, держа золотые решета,
Подпирая друг друга зеленым плечом...

Порою у него проявляется радующая глубина. Он видит весну «в молчании великом насиженных лиц».

К крестьянским поэтам примыкает, как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, Ленинградская группа поэтов. Перенасыщенная сверхтонченной культурой, бывшая столица императорской России пользовалась дольше, чем Москва, относительной свободой, что дало возможность в ней живущим поэтам работать без необходимости постоянно себя коверкать, чтобы следовать казенным образцам. Этого было достаточно для выработки общего для них особого, величественно-сурового колорита. Бухарин, наиболее гуманный и культурный из коммунистических вождей, отметил это явление в своем докладе на I съезде писателей в 1934 году. Географическая близость Ленинграда к старообрядческому северу привела некоторых типичных представителей крестьянской группы, как Прокофьев или Корнилов, в ряды типичных ленинградских поэтов.

То же можно сказать про *Михаила Дудина*, выросшего под сильным влиянием Заболоцкого: «понять в тиши упрямый рост растений, язык неумирающей воды...»

Он — поэт созерцательный, сдержанный, строгий к слову. В стихотворении «Осень» крестьянски-точное знание природы оснащено безукоризненным словесным мастерством высококультурного горожанина, владеющего наследием русской литературы. Как и всегда, серьезная культура привела не к подражательности, а, наоборот, к своеобразию. Лес осенью — «словно воздух, потерявший вес...»

Залетных птиц умолкли голоса.
Скользит в кустах неслышная лиса.

Ее скрывает желтая трава.
 И сытые сидят тетерева
 На голых сучьях. Под сосною в норах
 В дремоте изомлели барсуки,
 И чутким ухом ловит каждый шорох
 Матерый волк, ощеривший клычки...

Не менее близок к природе *Николай Браун*. Если бы не чрезмерная растяннутость и неумение организовывать свой поэтический материал, он был бы несомненно одним из первых современных поэтов, благодаря способности созерцательно углубляться в природу. В нем чувствуется одиночество нелюдима, политика ему противопоказана. Все на свете он рассматривает сквозь призму природы, являющейся для него как бы универсальной метафорой: «дубы казались мне богатствами с корявыми кольчугами коры...» У него жолудь — «плотные как бочки», «незабудок синий дождь», а стая голубей — «дымно-сизый, снежно-белый голубой переполох». Но он находит также прекрасные слова и для своего города.

Слова уходят, затихая,
 В металл, в бессмертье, в немоту, —
 И снова бронзой полыхая
 Игла пронзает высоту...

Ольга Берггольц родилась в Петербурге в семье врача и потому представляет в литературе свой город в чистом виде. Ее поэзия риторична и торжественно монументальна. Взять хотя бы часто цитируемое:

...И, крылья мечевидные расправив,
 Над нами встанет бронзовая Слава,
 Держа венок в обугленных руках...

Она глубоко чувствует Россию:

Ты русская — дыханьем, кровью, думой.
 В тебе соединились не вчера
 Мужичье терпенье Аввакума
 И царская неистовость Петра...

До сих пор ее слава держится, главным образом, на стихах, написанных в пору осады Ленинграда гитлеровскими войсками. Они весьма неровны и приносят обильную дань обстоятельствам. Но

среди них можно выделить некоторое количество коротких отрывков, подлинно поэтических и написанных с тонким и строгим вкусом. Ее стих отличается глубиной и кажущейся небрежностью изощренного мастерства. Попадаются прекрасные отдельные стихи: «златосумрачный царственный листопад», или «здесь жил шумя опромный, старый клен...» Иногда ей удается создать действительно жуткое настроение:

Казалось — солнце не взойдет:
Навеки ночь в застывших звездах,
Навеки лунный снег и лед,
И голубой свистящий воздух...

Но лично я решительно предпочитаю *раннюю* Ольгу Берггольц, наделенную несказанной простотой, легкостью и кружевной тонкостью в обращении со словом:

Сосны чуть качаются —
Мачты корабельные.
Бродит, озирается
Песня колыбельная...
...И шумит над ней сосна
Черным парусом...
...Колыбельную...
Корабельную...

Жестокая и несправедливая гибель ее мужа поэта Бориса Корнилова, тяжкие испытания ленинградской осады, а также постоянный гнет партийного принуждения придали ее голосу до сих пор не преодоленную, судорожную надорванность.

(Окончание следует)

СИЛА И МАТЕРИЯ

(Элементарные частицы)

В шестидесятых годах прошлого века, в эпоху «Отцов и детей», тогдашние «дети» видели откровение в очень простом и очень коротком резюме популярной тогда книжки Ф. К. Л. Бюхнера «Сила и материя»: «...Не существует материи без силы, силы без материи». В материализме утверждается, что материя, вечная в своем существовании, не имеет ни конца, ни начала, а все процессы, происходящие в природе, в том числе и психические, представляют собой «движение материи». Понятие «силы» Бюхнеровских времен было заменено потом понятием энергии, были сформулированы законы сохранения массы и энергии, а также законы превращений последней, и даже выражение «психическая энергия» стало снисходительно допускаться в популярных статьях, хотя психические процессы и не подлежали трактовке в точных науках. Сделаем здесь краткое разъяснение по поводу дальнейшего содержания настоящей статьи и ее цели: эта цель состоит не в популярном изложении сведений об элементарных частицах, изучаемых современной физикой (хотя основные данные и положения физики элементарных частиц существенно необходимы для делаемых выводов и потому займут значительное место в статье, правда, изложенные в очень популярной форме). Не будут затронуты психические явления и их возможная связь с природой физических явлений в современном понимании, хотя конечные выводы будут подходить к этой области достаточно близко. Целью настоящей статьи является демонстрация несостоятельности положения материализма о мире, состоящем исключительно из движущейся материи, как научно обоснованного положения, а не догмата. Эта несостоятельность вытекает сама собой при ближайшем рассмотрении свойств материи в ее последнем, доступном пока нашему познанию и знанию, пределе делимости — элемен-

тарных частицах. Поэтому, как было упомянуто выше, такому описанию будет отведено главное место в изложении.

Что такое «материя»? К концу XIX века понятие «материя» казалось самоочевидным и пояснений не требующим. Но открытия, последовавшие одно за другим с самого конца XIX века (лучи Крукса, открытие радиоактивности Беккерелем в 1896 г.), привели к тому, что теперь, во второй половине XX века, вопрос о сути материи представляется едва ли не самым загадочным среди других загадок точных наук. В теории относительности, в геометрии пространства, в термодинамике мы можем, встречаясь с загадками, иссытаться на то, что дело идет о математических абстракциях и отношениях, излагаемых символами и уравнениями. Но материю мы познаем ежесекундно нашим чувственным опытом, наша техника и технология оперируют с веществом, и, наконец, мы сами построены из вещества. И, все-таки, наши научные сведения о материи ставят нас перед вопросом: «А материальна ли материя?»

У материалистов есть очень удобная философская лазейка: отступление в «дурную бесконечность». Когда Ленин познакомился с открытием элементарных частиц и с разложением атома на такие частицы, он заявил: «Атом неисчерпаем». Другими словами, если доступная нашим восприятиям материя сложена из молекул, молекулы из атомов, атомы из электронов и нуклонов (как мы увидим ниже), нуклоны из мезонов, то и дальше существуют какие-то составные части, другие более мелкие единицы строения, которые все материальны. В этом утверждении требуется принять на веру два предположения: во-первых, о возможности дальнейшей делимости, и, во-вторых, о безусловной материальности дальнейших частиц — продуктов деления. Но, кроме того, здесь поднимается вопрос, которого не хотят поднимать материалисты, — вопрос о том, что такое материальность, ибо с делением атома мы вполне выходим за границы чувственных восприятий, хотя бы уже потому, что ни человеческие органы чувств, ни лабораторные аппараты по самой своей сути, как вещество, не могут реагировать на некоторые осколки вещества (см. ниже — нейтрино) и на процессы короче 10^{-18} сек. Насколько широко, и потому неопределенно, стало понятие о материальном, видно из провозглашения «поля» материальным в СССР. Поясним, что полем в физике называется пространство, где действуют силы: например, поле тяготения, магнитное поле, электрическое поле. Сила — это причина, выводящая тело из состояния равновесия и сообщающая телу ускорение. Пространство — это одна из категорий восприятия. Тот и другой элемент определения понятия «поля» совершенно

умозрительен. Однако в советских научно-философских статьях утверждение материальности поля делается без особых доказательств, если не считать того специфического тона, которым это утверждение делается: возражений не должно возникать. Всё же, вне сферы действия такого рода «доказательств», в это положение нужно внести поправку: не «материально», а «реально». Из того факта, что между телами существуют взаимодействия, еще не следует, что, во-первых, мы знаем природу этого взаимодействия, а во-вторых, что процесс взаимодействия — вид материи. Как мы увидим ниже, взаимодействие между некоторыми частицами осуществляется путем виртуального (т. е. столь быстрого, что не учитывается опытом) обмена другими частицами: фотонами. Допустим, что этот фотон — малое определенное количество энергии — материален. Но в самом процессе обмена нет признака материальности — процесс состоит в изменении положения виртуальной частицы. Предложенный пример — не единственный случай, когда картина мира, даваемая современной физикой, не укладывается в привычные (т. е. связанные с миром крупных скоплений материи) представления. И хотя «перевод» с одной системы представлений на другую представляется очень желательным, однако автор далек от мысли, что он может предложить в данной статье такой перевод. Не ответить на «вопросы современной физики» попытается автор, но обратить внимание читателя на возможность постановки некоторых вопросов не столько физического, сколько «натурфилософского» характера. Весьма вероятно, что дальнейшее развитие не только физики, но и других наук, например, экспериментальной психологии, и сможет когда-нибудь дать ответ на эти вопросы. При этом автор просит также не рассматривать сводку сведений об элементарных частицах, даваемую в этой статье, как изложение теории частиц. Такие изложения существуют в учебниках и специальных статьях. Ниже будут даны ссылки на статьи, из которых взят материал для настоящей сводки, необходимой для обоснования одного из предлагаемых вопросов: насколько материальны составные части материи?

Открытие радиоактивности, сначала у элемента урана, а затем и у целого ряда других элементов, названных «радиоактивными», открытие лучей Рентгена, или, как их еще называют, — X-лучей, открытие катодных лучей, разделение радиоактивных лучей на три вида: альфа, бета и гамма, привели к заключению о делимости атома, первоначально принятого за неделимый (а-то-мос), и к установлению нового понятия элементарных частиц, из

которых атом построен. Нильс Бор, основываясь на представлениях Резерфорда, предложил в 1913 г. следующую модель атома: атом подобен солнечной системе с планетами; вокруг центрального ядра, заряженного положительным электричеством, обращаются электроны: наименьшие существующие заряды отрицательного электричества. Под таким зарядом понимают неделимый дальше заряд в $1,6 \times 10^{-19}$ кулона. Электроны-планеты и центральное ядро связаны не силами тяготения, а силами электростатического притяжения (Кулоновы силы). Было также найдено, что, кроме элементарного заряда, электрон имеет еще массу и так называемый спин: момент вращения, так как многие другие физические наблюдения заставляют предположить, что элементарные частицы вращаются вокруг своей оси: вращение электрического заряда вызывает к существованию магнитное поле. Масса электрона (т. е. так называемая «масса покоя») была определена как приблизительно равная $1/1800$ массы водородного атома, или же в граммах: $9,1 \times 10^{-28}$ г. Радиус электрона можно подсчитать как равный приблизительно 10^{-18} см. Ниже будет указано, что четких границ между электроном и окружающим пространством нет, и потому здесь сказано — «можно подсчитать»; данная цифра указывает порядок пространственных «размеров» в мире элементарных частиц. Согласно модели Бора, вокруг ядра обращается столько электронов, сколько положительных зарядов имеет ядро. Простейший и самый легкий атом — атом водорода — составлен одним электроном и одним протоном: так называется элементарная частица ядра; протон несет один элементарный положительный заряд электричества, тот же спин, и массу, равную приблизительно массе атома водорода (в граммах: $1,6710 \times 10^{-24}$ г). По мере увеличения атомного веса элементов, число протонов в ядре и число электронов на орбитах вокруг ядра увеличивается, оставаясь для каждого элемента равным друг другу: так, например, атом следующего за водородом по сложности строения элемента гелия содержит 2 протона и 2 электрона. Атом урана имеет в ядре 92 протона и на орбитах 92 электрона. Но атомный вес (относительный вес относительно атома кислорода, приравненного 16) гелия не два, а четыре. Было предположено, что ядро гелия состоит из двух положительно электрически заряженных частиц и двух электрически нейтральных частиц с той же массой, что и протон. Такие частицы были впоследствии обнаружены (Чадвиком в 1932 году) и названы нейтронами. Сказанное относительно гелия предполагается верным и для других элементов: так, уран с атомным весом 238 содержит 92 протона и 146 нейтронов в ядре. Ядерные

частицы — нуклоны (от латинского — нуклеус: ядро) определяют атомный вес элемента. Электроны, в особенности те, которые вращаются на внешних орбитах, определяют химические свойства элемента. Так, если бы уран совершенно не содержал нейтронов и имел бы атомный вес 92, его химические свойства не должны были бы измениться от этого. И, в самом деле, были обнаружены разновидности элементов с теми же самыми химическими свойствами, но с разными атомными весами. Эти разновидности называли изотопами. Изотоп урана с атомным весом 235, содержащий на три нейтрона меньше, чем изотоп 238, был взрывчатым веществом первых атомных бомб.

Для полноты картины уровня сведений об элементарных частицах в первый период их открытия и изучения упомянем еще, что бета-лучи радия и других радиоактивных элементов и электроны были определены как одни и те же частицы; двигаясь по проводнику, они представляют собой электрический ток. Альфа-лучи при изучении их природы оказались положительно заряженными, лишенными орбитных электронов ядрами гелия, а икс- и гамма-лучи — электромагнитными колебаниями с длиной волны короче ультрафиолетовых лучей.

Картина, описанная вкратце выше, была известна Ленину, когда он подкрепил материалистическую точку зрения выражением: «Атом неисчерпаем». Действительно, такая картина мало меняет атомистическое представление о мире и материи: вместо более крупных атомов основной материи оказались более мелкие частицы; у атомов оказалась своя внутренняя химия частиц; частицы эти материальны и движутся, что и требовалось доказать. Если окажется, что и эти частицы состоят из еще более мелких, тем лучше: атом неисчерпаем. Отступление в дурную бесконечность материалистов не тревожило, а некоторые другие открытия в математике и физике, несмотря на всю свою необычность по сравнению с положениями времен Ньютона, не казались запрагивающими самую суть материальности материи. При случае ими придумывалось казенное объяснение (в сфере действия НКВД), и тем вопрос истерпывался. Здесь имеются в виду некоторые следствия теории относительности и квантовой теории, связанные с именами Эйнштейна и Планка и разработанные в первой четверти XX века.

Выше уже упоминалась «масса покоя» электрона. Здесь надо пояснить это выражение. Работами Эйнштейна и его предшественников и современников — обоих Лоренцов и Минковского — было установлено, что скорость, с которой движется тело, имеет

влияние на время (для данного тела), на размеры и массу тела. Последнее было проверено опытным путем для быстро движущихся электронов; было найдено, что при достижении последними половинной скорости света — 150.000 км/сек. — масса их увеличивается на 15%. Затем, математический анализ указал на эквивалентность массы и энергии, и это положение настолько вошло в плоть и кровь современной физики, что массы покоя элементарных частиц иногда даются в единицах энергии — электрон-вольтах. Электрон-вольт — это энергия, сообщаемая электронному элементарному заряду между потенциалами разностью в один вольт; для сравнения: для того, чтобы нагреть 1 грамм воды на $1/1000^\circ \text{C}$., надо затратить 26 миллионов электрон-вольтов или же 26 мэв. Далее, Минковский ввел понятие четырехмерного континуума для обозначения совокупности времени и пространства. Время из философской категории стало одной из четырех координат для описания движения. Но и время, и пространство входят как составляющие в понятие скорости движения. А скорость стала фактором, изменяющим массу физической частицы. Другими словами, вполне нематериальные явления как скорость обуславливают (по крайней мере, частично) самое материальное свойство материи — массу, хотя бы только свыше массы покоя. А что такое масса покоя? На это есть два ответа-определения массы: «масса есть количество вещества в данном объеме» и «масса есть сопротивление инерции». Но какое вещество находится в элементарных частицах? Разное в разных частицах или одно и то же? Но элементарных частиц известно много, известно, что они переходят друг в друга и в некоторых случаях превращаются в самую несомненную энергию: в фотоны, не имеющие массы совсем. Затем, каков объем частицы? В середине 40-х годов Гейзенберг (открывший названный его именем принцип неопределенности) давал в своих лекциях о строении вещества «радиус» электрона, но оговаривался, что эта величина зависит от способа измерения, т. е. от вида взаимодействия, в которое входит электрон, и даже образно выразился, что электрон «постепенно сходит на нет». А сейчас вопрос о размерах частиц решен именно в таком смысле, и их размеры даже и не указываются в справочниках. Поэтому первое, указанное выше определение массы явно не годится для микромира элементарных частиц, где закон сохранения массы до и после взаимодействия не соблюдается: сохраняется общая сумма масс и энергий. Для второго определения нужно сначала определить, что такое инерция, а для этого нужно знать определение силы — причины, выводящей тело из одного состояния и переводя-

щей его в другое: но сила — только математическая абстракция: взаимодействия происходят из-за наличия энергии в? при? на? (тут трудно придумать подходящий предлог) частице, и сила лишь показывает направление и интенсивность взаимодействия: толчок туда-то и с такой-то «силой», которая может сдвинуть такую-то массу. На языке физики это значит, что сила определяется произведением даваемого ей ускорения на массу ускоряемого тела. Но это значит, что для определения массы мы должны знать — массу. И тут всё, что мы можем сказать о массе, не попадая в заколдованный круг определений одного неизвестного другим, сводится к утверждению, что масса — это одно из основных свойств частицы, притом не постоянное и не обязательное. То же надо сказать и об электрическом заряде частиц. В списке физических величин обыкновенно указаны их так называемые размерности, т. е. сведения к основным величинам длины, массы и времени (сантиметр-грамм-секундная система). В этом списке против сантиметра, секунды, грамма и кулона стоит пояснение: основные. Следовательно, «материальность» принципиально восходит к таким «нематериальным» сущностям как время и пространство, или электрический заряд. Только что мы называли время и пространство сущностями. Но уже выше было указано определение Минковского — «четырехмерный континуум». Время и пространство — только раздельно мыслимые неотъемлемые свойства чего-то общего. Точно так же заряд — еще не энергия: энергия выражается произведением заряда на электрический потенциал (в технике: вольт-амперы, дающие, правда, мощность — количество энергии в единицу времени: секунду). Значит, и заряд — основное понятие — тоже одно из свойств сущего. Также и масса обращается в свойство чего-то общего и неразрывно связанного, называемого нами «миром», в котором «материальность» является не самодовлеющим принципом, не причиной и единственным условием мира, а одним из свойств, не единственным и не обязательным.

Мы познакомились с частицами, составляющими атом. Эти частицы более или менее устойчивы. К этим, «постоянным», частицам надо добавить еще частицу лучистой энергии — квант или фотон. Последнее название связывает природу этой частицы со светом — видимым нами переносом энергии в виде т. н. электромагнитных колебаний. К этим колебаниям относятся, в порядке увеличения их частоты (или уменьшения длины волны) длинные, короткие и ультракороткие радиоволны, тепловые или инфракрасные лучи, световые волны от красных до фиолетовых, ультрафиолетовые, икс-лучи и гамма-лучи. Макс Планк показал в на-

чала столетия, что теоретические подсчеты в области лучистой энергии согласуются с экспериментальными данными, если принять, что лучистая энергия испускается и поглощается не любыми какими угодно количествами, а кратными некоторым определенным количествам, названных им элементарными количествами или квантами. Квант каждого вида лучистой энергии равен частоте колебаний этой энергии, помноженной на некоторую универсальную константу, названную впоследствии константой Планка и обозначаемую буквой h . Эта константа равна $6,62517 \cdot 10^{-27}$ эрг.сек. Интересна размерность этой константы: энергия, помноженная на время — точно протяженность энергии во времени. Такая величина носит название «действия».

За фотоном был признан статус частицы, когда выяснилось, что фотон принимает участие во взаимодействии других элементарных частиц. Фотон не имеет массы и движется (в пустоте) с одной и той же постоянной скоростью — скоростью света, которая является некоторой характерной константой для четырехмерного континуума, в котором мы находимся. Сталкиваясь, например, с электроном, фотон сразу и мгновенно исчезает, а электрон получает всю его энергию: его энергетический «уровень» повышается. По прошествии некоторого времени, по неизвестным нам причинам, электрон отдает фотон обратно, возвращаясь на низший уровень энергии. Фотон улетает, и если его колебания — в пределах видимого света, мы видим вспышку свечения. Невидимые фотоны проявляются для нас как обжигающая радиация атомной бомбы, ощущение тепла на коже, темное пятнышко на фотопленке или царапающий звук в громкоговорителе. Если представить себе фотон, сталкивающимся («взаимодействующим») с каким-нибудь атомом в смысле планетной модели Бора, то какой-то из электронов принимает этот толчок на себя и переходит на другую орбиту: мы говорим тогда о «возбужденном» состоянии электрона. Если толчок фотона приходится на один из самых внешних электронов, слабее всего связанных с ядром атома, то электрон может сорваться с орбиты, а неуравновешенный теперь электрически атом примет положительный заряд, обратится в положительный ион. В таком случае мы говорим об «ионизирующей радиации». Судить о нормальных орбитах и о возбужденных состояниях мы можем по частоте спектральных линий элементов: именно по этим данным и была построена модель Бора. Но модель Бора — не единственная мыслимая модель. Есть явления, в связи с энергетическими состояниями атома, которые не объясняются такой осязаемой моделью.

Выше было сказано, что по некоторым их свойствам безмассовые кванты или фотоны могут рассматриваться как частицы. С другой стороны, электроны — частицы, обладающие несомненной, хотя и малой массой, рассеиваются наподобие световых лучей и дают картины дифракции, сходные с дифракцией световых или икс-лучей. Эти явления послужили основой для выражения или описания движущегося электрона в виде волны. Французский физик де-Брой связал уравнением скорость частицы и частоту соответствующей этому движению волны. По этой причине на электрон установился следующий взгляд: и частица, и соответствующая ей волна — только два аспекта чего-то третьего, прямо нами не познаваемого.

Гейзенберг установил, применительно к орбитальной модели электрона, так называемый «принцип неопределенности», по которому наши экспериментальные и аналитически-математические средства принципиально позволяют нам в каждом отдельном случае определить или вычислить только одно из двух: местонахождение электрона или скорость его движения. Здесь уместно отметить «непознаваемость» электрона (или вообще элементарных частиц) для наших чувств. Электрон невозможно увидеть ни в какой микроскоп, и не потому, что мы не умеем построить пока такой микроскоп, а потому, что любая познаваемая зрением форма предполагает два крайних предела (в простейшем случае черточки — два ее конца), от которых исходят сигналы в виде двух разных по месту испускания фотонов. Электронный микроскоп увеличивает «разрешающую» (т. е. различающую концы) способность нашего глаза в сотни тысяч раз, но все же самый мелкий объект, различаемый в этом микроскопе, это — гигантские молекулы полимеров, во многие миллиарды миллиардов раз больше электрона. Но если бы мы и увеличили разрешающую силу такого микроскопа до нужных пределов, то все-таки мы бы увидели под ним то же самое, что мы видим на светящемся экране и без всякого микроскопа — только краткую вспышку света: один фотон. Фотон соизмерим с электроном: он отскакивает от электрона целиком. Нельзя получить «изображения» электрона при помощи фотонов, отскакивающих от него справа и слева, сверху и снизу. Если электрон и имеет геометрическую форму, то нам нечем ее ощупать. Узнать что-либо об электроне (или какой-нибудь другой элементарной частице) мы можем только из явления взаимодействия с чем-нибудь, хотя бы с фотоном. Но столкновение с фотоном уже изменяет состояние частицы: узнав что-нибудь одно, мы уже меняем в данной системе все другое. Другими словами, на-

ши единственные возможные средства слишком грубы, а отступать в «дурную бесконечность» легко только на словах. Для того, чтобы охватить нам теперь известные частицы, нужны были бы подчастицы на много порядков меньше. Но уже и эти существующие недоступны нашим чувствам, а их математически выводимые свойства выходят за пределы представляемого, как, например, понятие четности или странности, или замыкаются в заколдованный круг, как основные понятия массы, заряда, такие же фундаментальные, как протяжение или время. В этом и заключается, говоря популярным языком, принцип неопределенности. Модель Бора, понимаемая чисто пространственно, в виде «планетной» системы, включает в себе следующее противоречие: каждому энергетическому состоянию электрона соответствует, согласно этой модели, особое орбитальное состояние вполне определенной формы орбиты на определенном расстоянии от ядра. Взаимодействие с фотоном (без упругого рассеяния фотона) ведет к переводу электрона в «возбужденное» состояние на другой орбите. Но как электрон попадает на эту орбиту? Он, как спутник или ракета с Земли на Венеру или Марс, должен пройти по спирали от орбиты до орбиты, занимая последовательно точки каких-то промежуточных орбит, соответствующих дробным частям возбуждающего кванта. Но квант неделим: процесс должен произойти принципиально мгновенно: какое-то состояние исчезает, совершенно одновременно компенсируясь другим состоянием в другом месте (так, вообще говоря, и происходят взаимодействия всех частиц). Но такое «спиральное» путешествие электрона было бы обнаружено весьма чувствительным спектральным методом. Пока такого явления еще не обнаружили. Противоречие исчезает, если представить себе электрон не как обращающийся вокруг ядра шарик, что еще делается простоты ради для химических расчетов валентностей между атомами, а как некоторую стоячую волну «вероятности нахождения» с большей или меньшей плотностью вероятностей. При таком представлении мы избавляемся от опрарничений разновременности: все происходит в некотором диффузном пространстве одновременно, и «возбуждение» — это мгновенное изменение вероятностей нахождения, что логически возможно и не противоречит положениям квантовой теории. Квантовая же теория подтверждается пока всем запасом наших наблюдений.

Итак, осязаемая физическая материя состоит, минуя молекулы и атомы, из трех родов частиц: электронов, протонов и нейтронов, взаимодействуя квантами энергии — фотонами. (Мы имеем в виду электромагнитное взаимодействие). Но математические след-

ствия из теории частиц и их взаимодействий, созданной английским ученым Дираком, предсказывали наличие частиц, обратных по заряду: электрическому или (забегая здесь вперед) ядерному: должны были существовать положительный электрон, отрицательный протон и антинейтрон; антифотон теоретически должен был быть идентичен фотону. К 1956 году, действительно, такие частицы были обнаружены. Положительный электрон — позитрон — имеет спин и массу электрона, но несет равный и противоположный электрический заряд; то же можно сказать и об антипротоне, применительно к протону. Антинейтрон тоже электрически нейтрален, как и нейтрон, но его «ядерный заряд» противоположен. Образуется антинейтрон следующим образом: протон и антипротон должны аннигилировать (об этом см. ниже) при полном столкновении. Но иногда они, сталкиваясь, разлетаются. При этом их электрические заряды нейтрализуются, и из антипротона получается антинейтрон с противоположным спином.

Что такое ядерный заряд? Понятие заряда — фундаментально. Это понятие невозможно объяснить при помощи других, более простых понятий. Но можно установить количественную сторону явлений, возникающих по причине существования заряда, в частности, механических явлений как притяжение и отталкивание. По закону Кулона, одинаковые электрические заряды должны были бы отталкиваться в тесном пространстве ядра атома. Но на близких расстояниях, существующих между ядерными частицами — нуклонами, равных приблизительно размерам самих нуклонов, действуют особые ядерные силы притяжения, вызванные наличием ядерных зарядов. Эти силы значительно «сильнее» электростатических, и потому нуклоны ядра (до поры, до времени) держатся вместе. Энергия ядерных сил освобождается при естественных нуклеарных распадах радиоактивных веществ и при вызванных человеком «атомных взрывах». Сила последних дает читателю представление о величине внутриядерной энергии и ядерных сил.

Теория Дирака предсказывала и другое, а именно — «сотворение» и уничтожение электронов и позитронов, так называемые: «рождение пары» и «аннигиляцию». То и другое было совершенно экспериментально: два фотона при взаимодействии образовывали электрон и позитрон, а эти два — исчезали, переходя в два фотона. Другими словами, материя создавалась из того, что мы привыкли называть энергией, и переходила в нее обратно. Увеличение массы при возрастании скорости уже упоминалось выше: большой запас кинетической энергии проявляется как добавочная масса. Возникновение пары объясняется, по Дираку, следую-

щим образом: все места пространства, где могут существовать частицы (т. е. логически — всё пространство), заполнены невоспринимаемыми нами частицами. Мы их не воспринимаем, так как запас энергии этих частиц ниже некоторого уровня, подобно тому, как могут быть отрицательные температуры ниже определенного условного температурного уровня. Поэтому, по Дираку, эти частицы обладают «отрицательной» энергией. Поглощенный фотон сообщает как раз необходимое для проявления частицы количество энергии. Тогда нам кажется, что возник и улетел электрон. Но пустое место, где была частица, так называемая «дырка», обладает свойствами противоположными, т. е. это — античастица, в данном случае позитрон, на проявление которого потрачен второй квант. Здесь ничего не пропадает, и ничто не возникает из ничего: меняется лишь состояние. Аннигиляция — возврат в энергетическое состояние — происходит при взаимодействии материи и антиматерии. Наш мир состоит из материи, но не исключена возможность, что в других местах Вселенной миры состоят из антиматерии. Соприкосновение таких миров создаст взрыв астрономических величин. Останется только пространство-источник электромагнитных колебаний. Теперь, в связи с развитием радиоастрономии, действительно открыты такие участки Вселенной, как, например, Messier 81.

Но наше перечисление элементарных частиц еще далеко не закончено. Если фотоны — неделимые «кусочки», при помощи которых совершается электромагнитное взаимодействие, то такие же «кванты» должны существовать для ядерных взаимодействий. Японский физик Юкава предсказал теоретически возможность существования таких частиц, и сходные частицы были в самом деле обнаружены, сначала в космических лучах, а потом и лабораторно*). Их массы оказались по величине лежащими между массами нуклонов и электронов, что дало повод к названию их сначала мезотронами (греч.: мезос — средний), потом сокращенно — мезонами. Но если протоны и электроны совершенно устойчивы, и если нейтрон «живет» в среднем около 18 минут (вне атома), распадаясь потом на электрон и протон (см. ниже), то мезоны живут очень недолго: их время жизни порядка около 10^{-6} — 10^{-11} секунды. Мезоны обозначаются малыми греческими буквами и большой латинской К. Мюон (или мю-мезон) имеет массу 207 масс e (электрона), пион (или пи-мезон) — 270 e . Мюон имеет положительный или отрицательный элементарный электрический заряд, пионы встре-

*) мю-мезоны открыты Андерсоном в 1936 г., пионы — Пауеллом в 1947 г.

чаются положительные, отрицательные и нейтральные. Именно пионам приписывается роль квантов в ядерных процессах. По теперешним представлениям нуклоны «состоят» из пионного облака с некоторой, еще неустановленной частицей в середине. Положение Ленина о «неисчерпаемости» атома кажется здесь особенно неотразимым. Но положение о «частицах атома» еще далеко не исчерпывается сказанным. Есть еще другие частицы, и есть еще другие, еще пока не упомянутые случаи взаимодействия, которые ограничивают соблазнительный отход в дурную бесконечность.

Выше было сказано, что явным образом (т. е. поскольку это доступно непосредственным лабораторным наблюдениям) нейтрон распадается на протон и электрон. Сделаем подсчет масс: масса покоя электрона — 1838,6 масс электрона (м. э.), протона — 1836,1 м. э. Прибавив еще единицу на получающийся электрон, получаем дефицит в полторы массы электрона, гораздо больше, чем может быть вызвано ошибками опыта. Паули предположил, что избыток массы нейтрона уносится нейтральной частицей без массы или с массой столь малой, что она не может быть определена современными условиями опыта. Конечно, в этом случае масса уносится в виде энергии, по-видимому — кинетической. Ферми предложил назвать эту частицу без массы и без заряда нейтрино, т. е. — маленький нейтрон. Интересно, что эта частица должна иметь спин и представляет собой, так сказать, — вращающееся ничто. Для демонстрации приемов подсчета свойств элементарных частиц можно привести здесь баланс спинов при возникновении нейтрино:

$$\begin{aligned} \text{нейтрон} &= \text{протон} + \text{электрон} + \text{антинейтрино} \\ \text{спин } +1/2 &= +1/2 + (-1/2) + +1/2 \end{aligned}$$

Если не предположить возникновения еще одной частицы, балансирующей отрицательный спин возникающего электрона, то не будет соблюден закон сохранения спина: с одной стороны равенства — плюс половина (для нейтрона), с другой — нуль (для суммы спинов протона и электрона). В этом равенстве мы видим обозначение «антинейтрино». Почему? Ответ дает баланс «сущностей»:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{частица} & = & \text{частица} & + & \text{частица} & + & \text{античастица} \\ \text{нейтрон} & & \text{протон} & & \text{электрон} & & \text{антинейтрино} \end{array}$$

Если считать «частицу» за «плюс»-сущность, то «античастица» будет «минус»-сущность: $1 = 1 + 1 - 1$; в таком виде равенство соблюдается. Нейтрино (или антинейтрино) почти не взаимодействует с другими частицами: среднее нейтрино проходит по расчетам без

столкновения толщю свинца в 50 световых лет. (Световой год — расстояние, проходимое светом в один год). Нейтрино и антинейтрино возникают при взаимодействии нуклонов и при распаде плюс- и минус-мюона. В экономике нашей Вселенной эти частицы занимают значительное место: по подсчетам около 7% звездной энергии уходит в пространство в виде нейтрино и антинейтрино. Куда и как далеко уходит эта энергия и возвращается ли она обратно при дальнейших взаимодействиях — при настоящем уровне наших знаний эти вопросы остаются открытыми. В последнее время некоторые косвенные эксперименты установили реальность существования нейтрино и антинейтрино (в Лос-Аламосе Райнсом и Коуеном). Познакомившись с этой частицей, можно говорить о распаде мезонов: положительные и отрицательные пионы распадаются на соответственный мюон и нейтрино или антинейтрино; нейтральный пион — на два фотона; мюоны на соответственные электроны, нейтрино и антинейтрино. Последнее превращение может служить примером «несохранения массы»: 207 масс электрона = 1 масса электрона плюс нуль плюс нуль. Здесь масса мюона переходит в энергию образовавшихся трех частиц.

Перед тем как перейти к перечислению дальнейших известных теперь частиц, нужно сделать остановку, и, для облегчения внимания читателя, дать классификацию частиц, упомянутых выше. Частицы с малым весом: оба нейтрино, электроны (положительный и отрицательный) и мезоны называются лептонами, нуклоны — барионами, от греческих слов: лептос — малый, и бари — тяжелый. Частицы, превышающие весом нуклоны, называются гиперонами (от греч.: гипер — свыше). Гипероны были найдены сначала по фотографическим снимкам космических излучений, а впоследствии в излучениях ускорителей. Эти частицы принято обозначать большими греческими буквами. Свойства их приведены в таблице, даваемой ниже. Сейчас важно отметить только то, что свойство иметь свои анти-частицы отрицательной материи распространяется также и на гипероны. Гипероны нестойки, со временем жизни порядка 10^{-10} — 10^{-18} сек., и распадаются на барионы, лямбда-частицу и пионы (см. таблицу). В настоящее время их считают особым энергетическим состоянием нуклонов. Требуется замечания и разъяснения одно из их свойств, которое может показаться странным читателю, встречающемуся в первый раз с таким термином: эти частицы называются «странными частицами», и их странность выражается числами от плюс до минус два. Число странности — одно из так называемых квантовых чисел. Квантовыми числами называются небольшие целые числа, которые оп-

ределяют уровни состояний в мире квантовой механики. Странность странных частиц заключается в том, что среднее арифметическое электрических зарядов пар и троек (на научном языке: дуплетов и триплетов) таких частиц не совпадает с ожидаемым, так сказать, стандартным средним: для нуклонов это среднее — плюс половина, для пионов — нуль. Среднее зарядов как бы смещено на диаграмме, и это удвоенное смещение называли странностью. Сохранение странности — один из законов превращения элементарных частиц, вместе с сохранением заряда и спина. Пример сохранения спина был дан выше в обосновании существования нейтрино. В процессах превращения частиц есть своего рода симметрия или так называемая четность. Здесь невозможно остановиться подробнее на этом свойстве, — для этого потребовалась бы другая такая же статья. Во всяком случае, до недавнего времени наблюдения показывали, что в превращениях частиц, так называемых взаимодействиях, четность сохранялась. Здесь приходится ограничиться только указанием на то, что взаимодействия частиц происходят по трем путям или законам: по пути сильного взаимодействия, например, нуклонов с пионами, длящегося 10^{-23} сек., электромагнитного взаимодействия, в 137 раз более слабого, и слабого взаимодействия, примером которого может служить так называемый «бета-распад», т. е. процесс с выделением электрона. Время продолжительности слабого взаимодействия — 10^{-9} секунды, то есть оно в 10^{14} раз медленнее сильного взаимодействия. Эта цифра 10^{14} мало доступна представлению, но разницу в процессах легко себе представить, если изменить масштабы и предположить, что время продолжительности сильного взаимодействия равно одной секунде. Превратив 10^{14} секунд в года, получим приблизительно три с третьей миллиона лет — продолжительность хорошего геологического периода! Так вот, в процессах слабого взаимодействия не происходит сохранения четности, по крайней мере, в мире нашей материи. Предполагают (Ландау), что это не-сохранение компенсируется обратным не-сохранением в мире антиматерии.

Остается еще упомянуть про силу тяготения. Тяготение в мире элементарных частиц является «слабейшим» из взаимодействий. Оно приблизительно в 10^{40} раз слабее сильного взаимодействия. Но «слабое» тяготение проявляется в мире больших скопле-

ний материи на больших расстояниях. (См. в конце статьи таблицу элементарных частиц, взятую из статьи А. Салама.)

*

Материал настоящего сообщения пришлось по необходимости ограничить. Желавших более подробно ознакомиться с предметом автор отсылает к специальной литературе, в частности, к цитированным выше статьям*), содержащим систематическое изложение фактов, известных в настоящее время в науке. Но и тот неполный материал, который сообщен в настоящей статье, дает уже возможность сделать некоторые обобщения, и, если не ответить, то, по крайней мере, поставить некоторые вопросы общего характера.

Прежде всего, из описания частиц видно, что хотя все частицы «элементарны», некоторые из них «элементарнее» других. Определением элементарной частицы является положение, что ее внутренняя структура не может быть описана как простое соединение других частиц. Все же, нам известно, что некоторые частицы устойчивы в течение неопределенно долгого времени, как, например, фотоны, электроны, протоны и нейтрино; нейтроны устойчивы в ядре атомов. Ввиду этого есть основания считать другие частицы временными состояниями устойчивых частиц, как, например, гипероны, или инструментом взаимодействия, как пионы, или так называемые виртуальные фотоны, которые предполагаются находящимися в постоянном и чрезвычайно быстром взаимодействии с электронами по схеме: поглощение — испускание. Наконец, обобщение материи и энергии нашло свое прямое подтверждение в явлении аннигиляции материи с антиматерией. Наличие элементарных частиц без массы должно приучить нас к возможности представить себе безмассовую материю: масса становится одним из фундаментальных, но не обязательно присущих и временных признаков, или условий представления, как заряд, пространство и время. Непроницаемость материи в прежнем представлении о ней считалась признаком и условием самоочевидным. Но непроницаема ли материя в элементарных частицах? И если проницаема, то материя ли она?

*) Данные об элементарных частицах, сообщенные выше, взяты, главным образом, из следующих источников: A. Salam. *Elementary Particles. Contemporary Physics*, vol. 1, no. 5, 337, 1960. M. Gell-Mann and E. Rosenbaum. *Scientific American*, vol. 197, 72, July 1957. Isaac Asimov. *The Intelligent Man's Guide in Science*. Vol. 1. *The Physical Science*. Chapter 6. *The Particles*. pp. 223-266.

В понятии материализма времен от Бюхнера до Ленина материя считалась собранием очень маленьких твердых кусочков — атомов Демокрита. Если обнаруживалось, что кусочки делятся, то «атомами» автоматически считались последние неподделенные твердые кусочки: «атом неисчерпаем». При столкновении бесконечно-упругие, непроницаемые атомы отпалкиваются по закону столкновения упругих шаров: кроме обмена или изменения скоростей движения ничего не происходит. И, действительно, в мире элементарных частиц такие столкновения происходят. В научной терминологии это называется упругим рассеянием частиц на частицах. Но не всегда результат столкновения ограничивается упругим рассеянием: иногда столкнувшиеся частицы исчезают и дают начало новой или новым частицам. Теперь вполне законен вопрос: а как построена новая частица? Сохраняются ли в ней создавшие ее компоненты, как атомы в молекуле? Уже было упомянуто выше о представлении нуклона в виде мезонного облака с некоторым центром в середине. Но такая структура допускается только как виртуальное равновесие между целым и раздробленным, причем и целое, и раздробленное представляются как волновые функции. А всякую волну можно представить себе как сумму других волн. Некоторый объем пространства, в котором сосредоточены какие-то определенные волны, может быть проникаем для другой волны или системы волн («волнового пакета»), и этот другой волновой пакет может входить в систему первого, давая начало третьему волновому пакету. Такое представление удовлетворительно описывает в общем виде неупругие взаимодействия между элементарными частицами.

Но сразу же возникают два новых вопроса: что же «колеблется» в этих волновых пакетах, и материя ли вообще и то, что колеблется, и то, что получается в результате колебаний, т. е. элементарные частицы?

Есть еще одно соображение, делающее представление о заряженных элементарных частицах как о компактных телах маловероятным: представлению о компактной частице, несущей заряд, противоречит факт взаимоотталкивания одинаково заряженных структурных элементов: если бы, например, электрон был «твердым шариком», равномерно пронизанным своим зарядом, то он должен был бы расщепиться Кулоновыми силами отталкивания, весьма значительными, если принять во внимание подсчитанный мыслимый радиус электрона порядка 10^{-13} см и величину элементарного заряда. Поэтому заряд электрона представляется теперь как некоторое диффузное образование, постепенно сходящее на

нет по мере отдаления от центра электрона. Но это представление совпадает, в сущности, с волновой функцией электрона, понимаемой как некоторое динамическое изменение некоторой части пространства с убывающей степенью вероятности нахождения в последнем. Вспомним то, к чему мы пришли, говоря выше о проницаемости и массе частицы — и проницаемость, и масса, и заряд укладываются в представление о волновых функциях, которые представляют собой одновременную вероятность местного изменения свойств. Таким образом, элементарная частица представляется собранием нескольких местных изменений: заряда, вращения, магнитных свойств и массы.

Теперь припомним еще раз положение материализма: в мире нет ничего, кроме материи, находящейся в постоянном движении, — и спросим на этот раз: если для того, чтобы создать элементарную частицу материи, надо произвести какие-то изменения и привести что-то в движение (хотя бы волновое), то что же это «что-то»? Материалисты отвечают: «Поле, и это поле материально». Говорить так, значит распространять свойства следствия или вторичного явления на причину или первичное явление, что не является еще логически обязательным. Материя, как мы убедились на примере известных элементарных частиц, является одним из состояний чего-то, что, за неимением лучшего термина, мы называем «полем». Это состояние не исключительно, не единственно, не однородно по свойствам и, в простейших формах, распадается на целый ряд взаимно превращающихся состояний, что говорит против его первичности. В философских концепциях, создававшихся гораздо раньше накопления научных сведений, под «материей» понимается грубо агрегатное скопление этих известных нам теперь «состояний», воспринимаемое несовершенными органами чувств. Не надо пояснять, что такое представление, по меньшей мере, наивно. Материя как отвлеченной абстракции не существует. Есть устойчивый фотон, не обладающий ни массой, ни зарядом, есть нейтрон, обладающий значительной массой, но не зарядом, есть нейтрино, не обладающее ни тем, ни другим, ни третьим. Общее в этих частицах только то, что они являются состояниями, и тут, по свойству нашего языка и мышления, мы должны добавить: состояниями чего-то. Это что-то, как сказано выше, называется полем. В настоящее время Гейзенберг работает над так называемой нелинейной теорией поля, долженствующей стать универсальной теорией элементарных частиц. Нелинейной теория называется потому, что упомянутая выше волновая функция входит в уравнения в высших степенях: линейной называется первая сте-

пень, так как первая степень величины на координатах выражается прямой линией. В наших попытках понять природу частиц даже и такой ответ — «частицы образуются полем» — является шагом вперед. Далее надо ответить на вопросы: с какой энергией частицы образуются? и какими другими свойствами они будут обладать в каждом отдельном случае? На это могут дать ответ уравнения, если суметь их составить и решить. Но есть и другие вопросы: что является побудительной причиной возникновения частиц из поля? и что такое поле само по себе? До сих пор понятие поля определялось как пространство, в котором действуют силы; при этом подразумевалось — силы между материальными частицами. Но это определение не годится, если считать поле родоначальником материи (или состояний, коротко называемых «материей»), так как в этом определении материя предполагается уже существующей, и логический круг замыкается. При этом, как уже указывалось выше, наделять такое поле качеством непрерывной материальности — по меньшей мере, произвольно. Затем, понятие пространства сложнее, чем это кажется с первого взгляда. Опять-таки наши понятия складываются из несовершенных данных, исходящих от наших органов чувств. Для этих органов время и пространство — различные качественно расположения события.

Но исследованиями Эйнштейна и его предшественников установлено, что пространство и время суть своего рода взаимосвязанные свойства общего способа располагать события именно так называемого четырехмерного континуума, в котором неизменным является только соотношение $s^2 = r^2 - ct^2$, в котором s означает расстояние в этом континууме, r расстояние в трехмерном пространстве, t — время и c — скорость света — характерную константу континуума. Соотношение это показывает, что координаты пространства и времени не «жестки», а, как плохо скрепленная рама из гибких прутьев, гнутся и перекашиваются. Всякое изменение состояния уже вызывает деформацию окружающего мира, что, между прочим, уже учитывается в оценке расстояния для левушек пионов в лабораториях. Вышесказанное означает, что оценка и положения, и времени любого явления или состояния зависит от собственного состояния наблюдателя, например, — от его собственной скорости: это и является причиной упомянутого выше увеличения массы покоя при движении.

Суммируя вышесказанное и подводя итог нашим познаниям о мире, мы можем сказать, что нам известно существование материи и энергии и их взаимных переходов. Но это ограниченное знание

никак еще не дает возможности утверждать, что «в мире нет ничего, кроме» того, что мы знаем, и, притом, знаем еще далеко не так хорошо. Даже положение «материя состоит из элементарных частиц» еще не имеет обязательной обратимости: насколько мы видели, поведение и свойства элементарных частиц отличны от свойств их агрегатов: атомов, молекул и макроскопических скоплений, от кристаллитов до звезд. То, что мы считали главными отличительными признаками материи — масса, объем, непроницаемость, сохранение — оказываются признаками необязательными на пределе делимости материи. Даже признавая их особыми состояниями поля, мы не можем называть поле материальным еще и на том основании, что поле, т. е. все то, что не занято материей в четырехмерном (а, может быть, и в многомерном) континууме, нами не познается. Материя же познается нами из взаимодействий. Мы узнаем о чем-нибудь, происходящем в поле, по каким-нибудь изменениям предыдущего статуса кво: координаты точки меняются — значит, эта точка движется. Точка изменила свое движение: значит, она встретила препятствие. Пример — упругое рассеяние. Облучаемое тело поглощает радиацию; значит, энергетические уровни его частиц повысились. Таким образом, наше знание состоит из умозаключений, сделанных на основании наблюдаемых взаимодействий. Иногда мы не располагаем необходимым числом наблюдений, и тогда наши знания переходят на уровень догадок. Догматизация догадок — дело не знания, а веры. Именно такой верой представляются в свете современной физики утверждение материализма о «примате материи». Материя оказывается производным, а не первичным явлением. Как обстоит дело с другой стороной догадки (или веры) материализма о движении?

До сих пор мы говорили о наблюдаемых нами свойствах элементарных частиц. Если, действительно, эти частицы создаются полем, то они еще как бы несут некоторые свойства поля, и есть явление, промежуточное между материей и полем. Что такое, с этой точки зрения, движение частицы? По-видимому, это — взаимодействие с полем. Внешне для наблюдателя движение сводится к изменению координат. А где та неподвижная точка, от которой мы можем начать отсчет? Было два покоящихся тела — покоящихся относительно друг друга. Одно из них начало двигаться. Какое? Движением создается кинетическая энергия. Какое из этих двух тел получило прирост энергии, а, следовательно, и массы? Кинетическая энергия — мера движения не направленная. Но у движения есть и направленная, векторная мера движения —

момент. Значит, вопрос о движении осложняется еще и вопросом: куда стало двигаться тело? Пока это направление остается в пределах четырехмерного континуума, мы следим за этим движением. А если направление движения выйдет из этих пределов? Тогда это тело бесследно исчезнет для наблюдателя в этом четырехмерном континууме. В таком случае остается дефицит в подсчете материи-энергии до и после процесса. Но как раз так было «открыто» нейтрино.

Уже этот простой пример показывает, что природа движения сложна. Еще одна особенность движения — скорость. Всякая скорость представляется некоторой дробной частью скорости света: константы континуума. С этой скоростью движутся в пустоте фотоны. Эта скорость не может быть превзойдена телом, имеющим массу: сопротивление инерции возрастает до бесконечности при достижении этой скорости. Скорость по своей размерности связывает время и пространство. Значит, движение в каком-то направлении, с какой-то скоростью, связанное с простым массы из-за какого-то взаимодействия с полем, само по себе сложное, а не первичное явление.

Рассмотрим теперь вторую половину материалистического утверждения о движении материи.

По-видимому, процесс движения зависит от основных свойств поля — на это указывает его связь со временем и конечность скорости безмассовых частиц — фотонов. Пока наши сведения об этом процессе еще слишком недостаточны, чтобы идти дальше догадок в наших представлениях о природе движения материи. Но пишущему эти строки кажется, что упомянутая выше модель Дирака может несколько приблизить нас к пониманию самого процесса движения материальных частиц, и именно в том смысле, что того «движения материи», которое постулировал Ленин, вообще нет: элементарные частицы вообще не покидают своих «мест» в четырехмерном континууме.

Выше уже упоминалось «рождение пары», возможное потому, что где-то существующая частица на уровне отрицательной энергии получает прибавку энергии при особом стечении обстоятельств, становится «проявленным» электроном, и освободившееся в континууме место принимает вид антиматерии, т. е. позитрона — для данного случая. Так как рождение пары не ограничено никакими специальными условиями места, то естественно предположить, что такое явление может происходить в любом месте, и что всё пространство, или все уровни поля заполнены такими возможными непроявленными частицами. Но именно потому

трудно себе представить «продирание» проявленной частицы между непроявленными. Более вероятным представляется взаимодействие между соседними частицами и переход избытка энергии от одной к другой. В виде грубой аналогии можно указать на бегущую световую рекламу: лампочки зажигаются в известной последовательности, зрителю же кажется, что пробегает светящаяся надпись на экране. Напомним, что «бегущая» волна по воде тоже представляет собой смену положений соседних точек вверх и вниз, без смещения в сторону. Если «движение» материи происходит согласно высказанному выше предположению, то материя не пребывает в состоянии движения: перемещается что-то другое, причем, по-видимому, квантовым образом, т. е. в виде отдельных импульсов: движение материи является передачей статических состояний от одного участка континуума к другому. Выше было уже указано, что частицы, взаимодействуя, или распадаются, или слагаются, или переходят в другие частицы. Остается предположить, что поле содержит какие-то вакансии, какие-то «готовности» проявиться в том или ином виде, в зависимости от силы и вида неизвестного нам пока импульса. Очень возможно, что и этот импульс имеет вид и свойства волны. В таком случае опять-таки складываются волновые процессы, что гораздо понятнее и естественнее для нашего представления, чем, скажем, парадоксальное сосуществование электрона одновременно в виде материальной частицы и волны.

В сделанном нами предположении о природе частиц как производных поля и движения их как обмена каким-то импульсом остается открытым вопрос — что же то, что претерпевает волновые возмущения и переносит импульсы? Это что-то носило исторически сменявшие друг друга названия: пустота, мировой эфир, поле. Но эти названия нельзя считать определениями: это — различным образом выраженное незнание. Здесь мы свели мир материи-энергии к неизвестному нам полю. Но это отступление не является отступлением в «дурную бесконечность», потому что представляется весьма вероятным, что человеческое познание имеет свои законные пределы, и в этом вопросе мы подошли к этому пределу вплотную. Весьма законно предположение, что человеческое сознание, возникающее и действующее в мире материи-энергии и познающее их численно выраженные взаимодействия, не может ни представить себе, ни выразить в виде моделей чего-либо выходящего из этого своего ограниченного мира. Для представлений духовного порядка нами употребляются символы. Так

и выражение «поле» — только символ, а не определение сущности.

Что является причиной квантовой, т. е. прерывистой и неделимой сущности частиц? Не лежит ли эта причина в том, что «поле», или «пространство» по самой своей сущности подразделено на некоторые определенные участки, как канва на клетки, и все процессы идут от одной такой клетки к другой? Не существуют ли в пространстве линии спайности, как в кристалле?

Пространство, подобное кристаллу, в виде «моря, подобного кристаллу», упоминается в Апокалипсисе. Такое представление — результат интуиции. Но тут, рядом с этим интуитивным представлением, нелишне процитировать конец уже упомянутой выше статьи А. Салама, чтобы показать, что представление о «несплошном пространстве» уже обсуждается как возможное на самых верхах физической науки:

«Одна из последних попыток решить эту проблему принадлежит Гейзенбергу, который нашел необходимым ввести в физику новые и смелые идеи для того, чтобы осуществить намеченную им программу. Гейзенберг постулировал, что пространство и время не образуют непрерывного многообразия, но что существует фундаментальная длина, много меньше любой длины, которую когда-либо нам пришлось использовать, обладающая тем свойством, что на расстояниях, меньше этой длины, невозможны никакие, даже мысленные эксперименты».

Наши знания о мире еще недостаточны для категорических утверждений. Можно предвидеть, что будущее принесет, во-первых, какое-то фундаментальное объяснение существующих сейчас сведений в физике, и, во-вторых, поставит нас вплотную к пределам познания. Тогда закончится «отступление в дурную бесконечность».

Утверждение Ленина, типичное для наивного материализма — «В мире нет ничего, кроме движущейся материи» — основано на физической картине мира, неполной и неверной. Допустим, что не так давно многие факты были еще неизвестны. Но плохо то, что материализм намеренно закрывает глаза на продвижение науки вперед и основывает более чем осязательное практическое приложение выводов неполного знания к жизни человека. Поэтому указание на недостаточность научного обоснования материализма далеко нелишне, хотя бы оно было и не ново.

Выше было уже указано на то, что современное знание материи позволяет поставить вопрос о ее «материальности» именно в том смысле, в каком материальность понимается материализмом:

в смысле вечности, первоосновности и непреходимости. Возникает вопрос и о свойстве материи быть носительницей движения. Все эти свойства, как бы самоочевидные для макромира, т. е. для больших скоплений, воспринимаемых нашими чувствами, еще не столь очевидны для микромира элементарных частиц, по своей сути еще сохранивших часть нематериальных свойств породившей их среды и стоящих как бы посередине между материей и «полем».

Не ближе ли к истинному положению вещей следующая формулировка представления о мире:

Мир состоит из существований, или (что одно и то же) в мире существуют состояния, переходящие одно в другое, в континууме, часть которого доступна нашему представлению, как пространство и время.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ

Название	Обозначение	Масса покоя	Спин	Время распада, секунды	Продукты распада	Античастица
фотон, квант	γ	0	1	не распад.		идентична
нейтрино	ν	0	$1/2$	не распад.		антинейтрино
электрон	e^-	1	$1/2$	не распад.		позитрон
мюон (минус)	μ^-	207	$1/2$	10^{-6}	$e^- + \nu + \bar{\nu}$	мюон (плюс)
пион (плюс)	π^+	273	0	10^{-8}	$\pi^+ + \nu$	пион (минус)
пион (нуль)	π^0	264	0	10^{-16}	$\gamma + \gamma$	идентична
Ка (плюс)	K^+	966	0	10^{-8}	$^1) \mu^+ + \nu; ^2) 2 \pi; ^3) 3 \pi$	Ка (минус)
Ка (нуль)	K^0	966	0	10^{-10}	$^1) \pi^+ + \pi^-; ^2) 2 \pi^0$	идентична
протон	p^+	1836	$1/2$	не распад		антипротон
нейтрон	n	1839	$1/2$	10^3	$p^+ + e^- + \bar{\nu}$	антинейтрон
Ламбда	Λ^0	2180	$1/2$	10^{-10}	$^1) p^+ + \pi^-; ^2) n + \pi^0$	антиламбда
Сигма-плюс	Σ^+	2345	$1/2$	10^{-11}	$^1) p^+ + \pi^0; ^2) n + \pi^+$	антисигма-плюс
Сигма-нуль	Σ^0	2331	$1/2$	10^{-18}	$\Lambda^0 + \gamma$	антисигма-нуль
Сигма-минус	Σ^-	2331	$1/2$	10^{-10}	$n + \pi^-$	антисигма-минус
Кси-нуль	Ξ^0	2590	$1/2$	10^{-10}	$\Lambda^0 + \pi^0$	антикси-нуль
Кси-минус	Ξ^-	2590	$1/2$	10^{-10}	$\Lambda^0 + \pi^-$	антикси-минус

Философская автобиография

ВВЕДЕНИЕ К «ФИЛОСОФСКОЙ АВТОБИОГРАФИИ» КАРЛА ЯСПЕРСА

В своей автобиографии Карл Ясперс не намеревался ни раскрывать тайный смысл своей жизни, ни связывать эту жизнь с доктриной в качестве применения или иллюстрации доктринальных установок, ни описывать этапы своего духовного пути, независимого от жизненных обстоятельств. В этом повествовании каждое событие есть повод для «философского акта», каждая мысль содержит практическое обязательство — обет, который нужно будет выполнить.

Автор был врачом, человеком науки и лаборатории. Увлеченный наукой, он хотел видеть ее точной и неукоснительной, в полном уважении к ее специфическим условиям: рациональности, проверке на опыте, всеобщей убедительности ее результатов. Поэтому он отбрасывает притязание псевдонауки, претендующей на познание целостного бытия.

Всякая точная наука всегда ограничена: ее результаты действительны и имеют истинный смысл только в отношении определенного ряда объектов, в известной зависимости от той или иной исходной точки зрения и определенных методов. Если они становятся обязательными для всех, то именно в силу самой этой ограниченности.

Когда наука считается с требованиями своей собственной точности, она неизбежно признает, что область ее деятельности — это область объективности, т. е. такая, в которой неизбежен раскол между субъектом и объектом (Subjekt-Objekt Spaltung). В силу этого сознания она намеренно оставляет вне своего внимания все то, что находится по сю или ту сторону этого раскола, все, что не есть ни субъект, ни объект: «экзистенция» — вот центральный термин, обозначающий возникновение свободы, конкретно и исторически расположенной в сети фактов и должествующей решительно осуществиться, пробив эту сеть, и «трансцендентность»,

которая есть начало, живой источник этой экзистенции и ее истинная цель.

Трансцендентность никогда не может быть охвачена полностью, и она не есть будущее. По ту сторону раскола субъект — объект, она — не прямое присутствие, — дар. Вот откуда у Карла Ясперса решительный отказ от всякой эсхатологической перспективы, оправдывающей будущим райским блаженством или близким концом истории человеческие жертвы, приносимые в настоящем. Каждое человеческое существо, будучи потенциальной экзистенцией, исходящей из трансцендентности и к ней направленной, имеет абсолютную ценность, которую недопустимо подчинять как средство какой-либо цели. Права человека на свободу, на материальные и культурные условия существования — неотъемлемы. Таково у Ясперса обоснование всех политических императивов: политической демократии, социальной справедливости, господства правды и права как над индивидуумами, так и над государствами.

Врач, ученый, философ, профессор Ясперс никогда не искал в своей «философской вере» (ни религия, ни атеизм) убежища, в котором можно укрыться от всечеловеческой судьбы. Он выступал всякий раз, когда нужно было возвысить голос, когда человек подвергался угрозе. До прихода Гитлера к власти он разоблачал внутреннюю слабость, несостоятельность эпохи («Die geistige Situation der Zeit»). Гитлеровский режим лишил его кафедры и принудил к молчанию. Тотчас по окончании войны, он посвятил свой первый курс лекций исследованию коллективной ответственности немцев («Die Schuldfrage»).

Позже, когда угроза атомной войны повергла людей в беспрецедентное в истории смятение, он пытался ставить проблемы и альтернативы с предельной ясностью, принуждая людей совершать подлинный выбор («Die Atombombe und die Zukunft der Menschheit»).

Он искал ясности в глубине мысли. В трудных решениях он всегда опирался только на истину и стремился к повышенной прозорливости. Вот почему его повествование о своей жизни есть действительно «философская автобиография».

Жанна Эриш

ВСТУПЛЕНИЕ

Профессор Шильпп выразил желание получить очерк, раскрывающий, как жизнь толкнула меня на путь философствования, что я на этом пути искал, как я пришел ко всему написанному мной. Задача показалась мне приемлемой, по меньшей мере в ста-

рости. Ибо философия как духовное творчество в своих мотивах и поводах связана, конечно, со всем течением жизни человека.

Эта связь остается в силе и в том случае, когда жизнь, подобно моей, однообразна и скромна, лишена событий, представляющих общий интерес, или интересна лишь в той мере, в какой может быть интересна жизнь любого человека.

Хотя в реальной жизни нет ничего, что не имело бы отношения к философии, я ограничиваю свой очерк лишь тем, что имело значение для моих трудов, но и из этого я делаю известный отбор. Поэтому я говорю лишь о немногом из того пережитого, что повлияло на мои труды или нашло в них свое отражение. Я также не рассказываю о людях, которым я многим обязан, — их духовная сущность раскрывалась в нашей дружбе, — но говорю лишь о тех из них, которые своим мышлением как таковым непосредственно влияли на мои работы.

Я также не даю исчерпывающего изложения мыслей, положенных в основу моих трудов и уж, конечно, не обосновываю их по существу. Они лишь упоминаются частично и нигде не развиваются. Я их привожу как отклики на житейские обстоятельства, однако с целью сделать ощутимым и их вневременный смысл.

1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Я родился 23 февраля 1883 года в великом герцогстве Ольденбургском, вблизи побережья Немецкого моря. Мой отец (1850-1940) происходил из семьи торговцев и крестьян, уже поколениями живших в районе Иевера; он был юрист, окружной начальник, позже — директор банка. Выполнял он свои обязанности разумно, тщательно и с чувством долга. Но любимыми занятиями его были живопись и охота. Он меня воспитывал в духе рассудительности, добропорядочности и верности собственным примером и своими суждениями в решающие моменты жизни. Моя мать (1862-1941) происходила из крестьянского рода, с незапамятных времен обосновавшегося в Бутъядинггене. Она озарила наше детство и всю нашу дальнейшую жизнь бесконечной любовью, вселила в нас бодрость на всю жизнь своим неукротимым темпераментом, открылила нас своим преодолевающим все условности пониманием наших целей, обогатила своей жизненной мудростью.

В классической гимназии я вошел в конфликт с директором. Я отказывался слепо следовать распоряжениям, шедшим, как мне казалось, вразрез со здравым смыслом. Мой отец уже издавна приучил меня, что на все мои вопросы к нему я получал ответ,

и даже из преклонения перед традициями, имеющими обычно убеждающую силу, не делал бы ничего, в чем я сам не усматривал бы смысла.

Приученный так моим отцом, я отстаивал взгляд, что существует разница между системой преподавания и военной дисциплиной, неправомерно проникшей в школу. «Это — оппозиционный дух», — торжественно заявил мне однажды директор. Он свойствен, будто бы, моей семье и подлежит искоренению. Кульминационным пунктом всех столкновений был мой отказ вступить в одно из трех одобренных директором школьных объединений (подражание студенческим объединениям), с той мотивировкой, что эти объединения зиждятся на социальном происхождении и профессии родителей, а не основаны на личной дружбе. Мои соученики, после высказанного было вначале сочувствия мне, потом практически осудили мое поведение. Когда один мой товарищ предпринял вместе со мной недельную экскурсию в горы, объединение потребовало от него, под угрозой исключения, прервать со мной отношения. Отвечая на его вопрос, я посоветовал ему остаться в объединении, что он и сделал. Директор заявил мне, что преподаватели будут зорко следить за мной. Я остался в полном одиночестве. Мой отец пытался возместить мне потерянное. Он арендовал большой участок для охоты. В этой живописной местности я мог проводить свободное время, как мне заблагорассудится.

Легко указать на внешние даты моей последующей жизни: после окончания классической гимназии я, в продолжение трех семестров, изучал право, затем медицину, в 1908 году сдал государственный экзамен, а в 1909 стал доктором медицины. После этого я сделался внештатным ассистентом психиатрической клиники в Гейдельберге. В 1913 году я получил место приват-доцента по психологии на философском факультете. В 1921 году я стал там же ординарным профессором философии, предварительно отклонив приглашения в Грейфсвальд и Киль. В 1928 году я отклонил приглашение в Бонн. В 1937 году национал-социалистическое государство лишило меня кафедры. В 1945 году, с согласия американских властей, я вновь был призван к профессуре. В 1948 году я принял предложение занять кафедру в Базельском университете, где я преподаю и сейчас.

Следует хотя бы в общих чертах обрисовать историю моей внутренней жизни в пору моей юности. Семнадцати лет я прочел Спинозу. Он сделался моим философом. Но тогда я не думал еще избирать философию предметом изучения и делать ее

своей профессией. Я обратился к изучению права, намереваясь позже как адвокат участвовать в практической жизни. Но разочарованный абстракциями, прилагаемыми к общественному бытию, которого я вообще еще не знал, я занялся поэзией, искусством, театром, графологией, меняя непрестанно предмет увлечения, несчастливый своей разбросанностью, счастливый в отдельных постижениях великого, в первую очередь, искусства.

Недоволен был я и самим собой и состоянием общества с его фикциями общественности. Что-то было неблагоприятно — то ли с людским родом, то ли со мной самим, таково было основное ощущение. И все же: как прекрасен был другой мир — природа, искусство, поэзия, наука. И оставалось еще, господствуя над всем, изначальное доверие к жизни, внушенное любимыми родителями, взлелеянное их поощрением. Жизненный путь раскрывался передо мной как индивидуальное, частное дело.

Я наслаждался одиночеством среди девственной природы в Энгадине и на побережье Немецкого моря. Как радовало меня созерцание красот в Италии! Я был пленен путешествиями.

Но стоило мне лишь на миг поддаться одиночеству, как оно начинало причинять боль. Меня тянуло к людям. Но как быть? Жизнь должна найти свою основу, иначе разбросанность, в любых распрекрасных вещах, станет фатальной. Нужно идти четко намеченной жизненной дорогой, и, прежде всего, научные занятия должны иметь свою цель. Я стремился уяснить себе свое призвание; медицина раскрывала, так мне казалось, необъятное поле деятельности в естественных науках и в человеке — как предмете познания. Как врач я мог бы найти свое оправдание в обществе.

К этому решению я и пришел в 1902 году в Зильс-Мариа. В письме к родителям, в котором я испрашивал их согласия на мой переход с юриспруденции на медицину, я писал в свойственном мне тогда неуклюжем стиле: «Мой план заключается в следующем: после предписанного числа семестров я сдам государственный экзамен по медицине. Если я и тогда, как сейчас, буду уверен в моих способностях, я перейду к психиатрии и психологии. Потом я сперва стану врачом в психиатрической лечебнице. Наконец я, может быть, изберу академическую карьеру психолога, как, например, Крепелин в Гейдельберге, что я впрочем сейчас не могу обещать, не будучи уверен в необходимых для этого способностях... Лучше всего, скажем, так: я изучаю медицину, чтобы стать курортным врачом или специалистом, скажем, психиатром. Дальнейшее, думается, придет само собой. В конце концов, если я

не найду в себе смелости и не поверю в свои способности, когда передо мной откроется академическая дорога, то я отнюдь не буду чувствовать себя неудовлетворенным».

При избрании медицины самое важное было для меня познать действительность. Ради этого я не щадил усилий. Я был усерден в занятиях; и испытывал радость, расширяя познания. Путешествуя, я стремился по возможности обогатить свой кругозор, созерцая ландшафты, исторические города, произведения искусства.

Но при этом оставался нерешенным основной вопрос: как надо жить? Университетские занятия были чем-то временным. Они были нужны как подготовка к профессии. Но не в них жизнь. Не читая в то время философов, — мое время заполняли занятия по специальности, — я постоянно, хотя и не методично, философствовал. Лекции по философии в университете я вскоре оставил: в них не говорилось о том, что было для меня важным. К профессорам философии я испытывал антипатию; они мне казались претенциозными и самонадеянными. Лишь Теодор Липпис в Мюнхене произвел на меня как личность известное впечатление. Но то, о чем он читал, меня почти не интересовало, если не считать оптических обманов, познание которых он развивал с необычайной изобретательностью. Но это была лишь специальная отрасль в рамках психологии.

На все мои важнейшие решения влиял один основной фактор моей жизни. С детства я был органически болен (расширение бронхов и секундарный порок сердца). Бывая на охоте, я иногда садился и горько плакал, спрятавшись где-либо в лесу: физические силы мне изменяли. Лишь когда мне исполнилось 18 лет, Альберт Френкель в Баденвайлере поставил диагноз. До этого у меня часто повышалась температура из-за неправильного лечения моей болезни. Теперь я научился регулировать свой образ жизни соответственно требованиям болезни. Я прочел исследование Р. Вирхова, детально описавшего мою болезнь и поставившего прогноз: самое позднее, больные умирают на четвертом десятке лет от общего загноения. Я понял, к чему должен стремиться курс лечения. Постепенно я изучал методы лечения, частично изобретая их сам. Проведение их было бы нелепым, если бы я следовал нормальному образу жизни здоровых. Хочешь работать, взвешивай возможный вред; хочешь остаться в живых, соблюдай строжайшую дисциплину, избегая всего, что могло бы повредить. Под знаком дисциплины и воздержания и протекала жизнь. Частые приступы изнеможения, вследствие отравления организма, были неизбежны; нужно было постоянно навесты-

вать упущенное. Но болезнь и связанные с ней заботы не должны были превратиться в содержание жизни. Задачей было: почти машинально правильно лечить болезнь и работать, как если бы ее не существовало. Тяготы, проистекавшие из болезни, давали себя знать ежечасно и во всех отношениях. Я опускаю здесь подробное описание частностей, надеясь восполнить пропущенное в другом месте — в истории моей болезни.

Последствием же болезни было то, что мне были недоступны радости молодости. Долгие прогулки совершенно прекратились с тех пор, как я стал студентом. Верховая езда, плавание, танцы были мне противопоказаны. С другой стороны, болезнь освобождала от долга мужчины и празднаниа — отбывания военной службы и, тем самым, от опасности солдатской смерти на войне. «Нужно быть больным, чтобы дожидаться старости», гласит китайская поговорка. Поразительно, каккая тяга к здоровью развивается в состоянии неизлечимой болезни. Тем осознанней, благодатней, почти здоровей, чем нормальное здоровье, становится остаток здоровья.

Как следствие болезни установилась внутренняя настроенность, определявшая и самый способ работы. Жизнь должна была стать более сосредоточенной, чтобы ее можно было, принимая во внимание постоянные перерывы, наполнять смыслом. Обреченный на нерегулярное течение занятий, я приучился к схватыванию самого существенного, к внезапности озарений, к быстроте планирования. Вся надежда на успех держалась на упорном стремлении использовать каждый благоприятный момент и при всех условиях продолжать работу.

Другим следствием болезни было то, что публично я мог выступать лишь после предварительной тщательной подготовки и в течение короткого времени. Только в исключительно важных случаях я предпринимал поездки для прочтения докладов и для участия в открытых дискуссиях, — и всегда ценой нарушения моего относительного здоровья.

В конечном итоге, в отношениях с людьми я зависел от доброты тех, кто разрешал мне несоблюдение общественных норм, приходил ко мне домой, довольствуясь кратким временем встречи, от одного до двух часов. Часто меня не понимали. То, что было горькой необходимостью, истолковывалось как высокомерие и замкнутость.

Внутренние помехи и состояния, которые влекла за собой болезнь, почти не затемняли ясности мышления. Но моя жизнь текла как бы в сумерках из-за одиночества, несмотря на знакомство

со многими людьми, несмотря на то, что у меня был друг — Фриц цур Лойе. Часто подступала тихая тоска. Тогда я думал, что скоро все кончится. Но еще чаще меня вдохновляла чудесная надежда, что все же невозможное станет возможным.

Мой рано умерший друг Фриц цур Лойе, родом мой земляк, такого же склада, как и я, был в первые студенческие годы тесно со мной связан. Нас объединяли занятия. Мы совместно работали с микроскопом и занимались опытами. В наших отношениях царила трезвость. Откровенность, с которой он, без молчаливого сострадания, относился к моей болезни, была благотворной. Болезнь воспринималась им просто как факт, с которым надо было считаться при любом начинании: «Я сегодня иду на танцы в Мариашпринг. Ты не сможешь меня сопровождать, — это слишком утомительно...» Или перед ботанической экскурсией студентов: «Она продлится слишком долго, ты не выдержишь...» Так он обращался с необходимыми для меня ограничениями. Зато он потом коротко рассказывал мне о всем виденном и пережитом. Нас связывали и общие стремления. Вместе учились мы в Мюнхене, Берлине и Гёттингене, проходили курс графологии у Клагеса; посещали театр, играли в шахматы. Его радовала моя работоспособность, вопреки болезни. Его дружеская ирония расставляла всё по своим местам. В Гёттингене мы слушали физика Рикке, которого мы уважали, но не слишком высоко ценили его двухтомный учебник. «Что может Рикке, — сказал мне однажды цур Лойе, — то можешь и ты. Ты еще будешь писать учебники и станешь профессором».

Моя сдержанность в отношении людей порождала, соответственно моему складу, атмосферу холодка. Он проистекал и из того, что я, пройдя опыт разочарований, немногого ожидал от людей. Но эта сдержанность была для меня болезненной помехой; в моей душе было нечто иное.

Одиночество, тоска, самоуверенность — всё преобразилось, когда я, 24 лет от роду, в 1907 году встретился с Пертрудой Майер. Мне не забыть момента, когда я с ее братом впервые вошел в ее комнату. Она сидела за большим письменным столом, затем встала, всё еще спиной к вошедшим, медленно закрыла какую-то книгу и обернулась к нам. Я следил за каждым ее движением, которые, в спокойной ясности, в отсутствии принужденности и условности, казалось, произвольно отражали чистоту ее существа, благородство ее души. Вышло как-то само собой, что разговор вскоре перешел на главные вопросы жизни, как если бы мы дав-

но уже были знакомы. С первого же часа между нами воцарилось необъяснимое и неожиданное созвучие.

Но ее душевный склад коренным образом отличался от моего. Душа Гертруды омрачалась ударами судьбы; она не могла взять эту тяжесть в свою жизнь, которая должна была идти своим путем. Ее единственную сестру поразили таинственный и коварный душевный недуг, из-за чего она постоянно нуждалась в больничном уходе. Один духовный друг Гертруды, поэт Вальтер Кале, покончил с собой. Гертруда по-иному, чем я, страдавший лишь собственной болезнью, — была раздираема неразрешимыми вопросами. В ней я узрел истинность души, которая ничего от себя не скрывала. Она, в глубине своей души была бесконечно способна к страданию. На пути моего, несмотря ни на что, непринужденного жизнеутверждения появился дух, предостерегающий меня от всякого преждевременного успокоения. Отныне философия начала становиться для меня чем-то по-новому серьезным. Мы были в ней соединены, но не были еще у цели. Так остается и по сей день на нашем долгом совместном жизненном пути.

Сумрачность, сознание постоянной опасности принесли с собой неустрашимую серьезность. Но на этой почве выросло бесконечное счастье настоящего. Я познал глубинные радости любви, которые смогли наполнить смыслом каждый день, вплоть до сегодняшнего.

Гертруда происходит из благочестивого еврейского рода, с XVII столетия обосновавшегося в Марк-Бранденбурге. Когда мы встретились в 1907 году, она готовилась к сдаче экстерном испытаний на аттестат зрелости, чтобы потом продолжать курс наук в высшей школе. Ее целью была философия. Опыт сиделки при нервных и душевных больных не привлек ее к этой профессии. Ежедневно она занималась латынью и греческим. Когда мы в 1910 году поженились, меня с тестем и тещей объединили взаимная сердечная привязанность и глубокое доверие. Отец преодолел свое нерасположение к браку дочери с не-евреем; любовь дочери оправдала лучшие надежды матери.

В годы национал-социализма мы и наши близкие и друзья, которых мы от себя не отделяли, находились на краю катастрофы. Но мы смотрели вперед с никогда не гаснувшей окончательно надеждой. Избавленные от худшего, мы были все чудесным образом сохранены. Спасение и вместе с тем чувство виновности в связи с тем, что мы выжили, укрепило нас в стремлении праведно, — по мере наших сил, — жить и работать.

2. ПСИХОПАТОЛОГИЯ

С 1908 по 1915 год я работал в психиатрической клинике в Гейдельберге, сперва, непосредственно после государственных экзаменов, как медицинский практикант, затем, после полугодового перерыва (в это время я проходил курс в неврологическом отделении клиники внутренних болезней) как добровольный научный ассистент. Это — единственные в моей жизни годы, проведенные, — в смысле выполнения ежедневных практических задач, — в сообществе исследователей-ученых. Поразительные реальности, с которыми я столкнулся, были не только медицинско-го, но и социологического, юридического, терапевто-педагогического характера.

Заведующим клиникой был Франц Ниссл. Как гистолог мозга, он был превосходным исследователем; вместе с Альцграймером он открыл гистологически особое образование в мозговой коре паралитиков. Но наибольшее впечатление произвела на меня его самокритика. Хотя ему и были свойственны в работе смелые ожидания того, что может дать ему естествознание в исследовании душевнобольного, но он был внутренне честен и признавал все, что не совпадало с ними. Он поражался, но относился к себе еще строже, чем его критики; послушать его, так иногда даже исчезала зависимость между степенью старческого слабоумия и объемом аномального образования в коре мозга. Он исходил из принципа, господствовавшего со времен Гризингера: душевные болезни суть болезни мозга. Сделав на основании этого принципа важные открытия, он одновременно похоронил его всеобщее признание. Методически исследуя образования, он распознал границы их значения. Будучи заведующим клиникой и в то же время специалистом-гистологом, он не ощущал себя в клинической психиатрии «дома», но он доказал, что человек, если он действительно ученый, проводивший уже плодотворные научные исследования, — может во всех ее областях быстро схватить самое существенное. Его клинические лекции, вначале основывавшиеся исключительно на учебнике Крепелина, из года в год становились все более свободными и оригинальными. Хоть он и учился у своих ассистентов, но все же, быть может, всех нас превосходил поразительной силой своего исполненного человечности мирозерцания. Дискуссии его с ассистентами, непринужденные и развернутые, велись всегда в атмосфере полного равенства. Если даже дискуссия становилась страстной, она всегда оставалась в рамках приличия. Авторитет Ниссле был непоколебим благодаря его личности, а не

только должности. Этот ученый был бесконечно добр к больным и ассистентам, резок в обращении, вспыльчив по характеру, необычайно добросовестен и осторожен в действиях. От него веяло теплом и благожелательностью. Сам же он был бесконечно скромным, глубоко скорбящим человеком, пронизанным состраданием к страждущему человечеству.

В клинике, прутпируясь вокруг Ниссля, работал ряд избранных врачей. Если в их среду попадал, по ошибке, кто-либо неподходящий, нарушающий неписанный закон этого духовного сообщества, то спустя некоторое время он исчезал, и даже без проявленного по отношению к нему высокомерия. Тон задавали мой учитель Вильманнс, старший врач, затем, в первую очередь, Груле, своей критикой, всесторонностью и динамизмом приводивший все в движение, затем вдумчивый, бесконечно добросовестный Ветцель, человеколюбивый Гомбургер, Ранке — неутомимый гистолог мозга и еще очень молодой, открытый для всех научных возможностей Майер-Гросс. Ими-то и осуществлялось духовное сообщество врачей, ставшее возможным благодаря Нисслию. По инициативе Груле, встречи проводились систематически. Это были беседы, изложения болезней, совещания по имеющимся материалам в кругу всех врачей клиники. Затем устраивались вечерние научные сессии с участием Ниссля, на которых читались и обсуждались рефераты или новые работы. Наконец, бывали и частные вечера в узком кругу, без Ниссля, в комнате Груле, на которых в высшей степени свободно и страстно обсуждалось всё, касающееся науки, что лежало у кого-либо на сердце. Разговоры продолжались и во время дневной работы. Где бы ни встречались врачи, хотя бы на лестнице, они обменивались мыслями. Это была замечательная жизнь всестороннего самовыражения, объединяющего всех сознания причастности к прекрасному миру науки, дерзновения, свойственного большому знанию, но и радикальной критики, расшатывающей любую позицию. Кто хотел работать, должен был остерегаться потери своего времени и сил в разговорах. Вырос некий «дух дома», не принадлежавший никому в отдельности, но свойственный творчеству всех, хотя каждый и шел независимо своей дорогой. В этой клинике вновь воплотилась одна из лучших традиций немецкой научной жизни.

Мое положение в этом кругу было ненормальным. Я был только добровольный ассистент. Быть действительным ассистентом не позволяла мне болезнь. Я не жил в клинике, не принимал участия в общих трапезах врачей и опорчался этим. Но я мог сотрудничать по научной части, встретил со стороны шефа и врачей

благорасположение, присутствовал и соучаствовал в научных встречах всех родов, принимал участие в обходах больных.

Я сам мог выбирать случаи для более детального исследования. Вильманнс отвел мне особую комнату, где я проводил испытания умственного развития и входившие тогда в научную практику исследования с помощью тестов. Вооруженный новым аппаратом Реклингхаузена, впервые доставлявшим удобно и непрерывно данные минимума и максимума кровяного давления, и тем самым сделавшим возможными наблюдения при психических изменениях, я провел исследования кровяного давления; результаты их так и не были опубликованы. Время от времени я получал материалы из суда с целью дать заключение по делам, касающимся страховки от несчастных случаев. Однажды, по случаю болезни Гомбургера, я перенял на правах заместителя поликлинику. В студенческой больничной кассе я был зарегистрирован врачом по нервным и душевным болезням. Таким образом мне стал доступен весь опыт психиатра и без регулярной ежедневной практики ассистента. Недостаток моего положения превратился в преимущество. Я мог все видеть и исследовать, не ограничивая своего времени регулярными обязанностями. Кроме моих собственных исследований — я не пропускал ни одного пациента без того, чтобы чему-либо не научиться, чего-либо не отметить, — я наблюдал, как поступают другие, размышлял о моих и чужих врачебных мерах, осмысливал их, критиковал и стремился к методически безупречным мероприятиям и формулировкам.

Общим духовным достоянием клиники была психиатрия Крепелина с ее вариантами; она вела к взглядам и направлениям, на которые никто в отдельности не мог притязать как на свое личное достояние. Таким «общим достоянием» была, например, популярность обеих больших областей *Dementia praecox* (позже названная шизофренией) и маниакально-депрессивные заболевания. Идею единства болезни мы обсуждали, постоянно соотносывали с нею наши наблюдения, но результата, что же это собственно такое, мы не знали. Мы отличали биографические периоды в развитии личности, меняющейся вполне уяснимым образом в разные жизненные фазы, от процессов, в результате которых своего рода насильственный слом вызывает радикальное инобытие человека по причинам, считавшимися органическими, но в сути своей неизвестными.

Тогда, в 1910 году, в психиатрии еще господствовала повсюду соматическая медицина. Влияние Фрейда ограничивалось узким кругом. Психологические методы считались субъективными и

тщетными, ненаучными. Единственное исключение представляли введенные Крепелином на основе психологии Вундта психологические опыты, прежде всего касающиеся кривой работоспособности (усталость, восстановление сил), исследования воздействия на психику лекарств, алкоголя, чая и т. д. Но опыты не годились для исследования душевнобольных. Вскоре они сами себя исчерпали и никуда дальше не вели, покамест опыты с мескалином не принесли еще кое-чего нового.

В немецких психиатрических клиниках было распространено убеждение, что в научном исследовании и терапии царит застой. Строились большие заведения для душевнобольных, одно великолепней и гигиеничней другого. Но так как по существу изменить жизнь несчастных было невозможно, ограничивались административными мерами. Лучшее, что удавалось, заключалось в том, чтобы организовать жизнь по возможности наиболее естественно, например, с помощью успешной трудовой терапии, поскольку она, с точки зрения человечности и здравого смысла, была составным элементом общего жизненного распорядка больных. Перед лицом ничтожного знания и умения, умные, но духовно бесплодные психиатры отшпыривались на скепсисе и элегантно, в стиле великосветского превосходства, манере говорить; таким, например, был Гохе.

В нашей нислевской клинике тоже царила терапевтическая сдержанность. По сути говоря, в терапевтическом смысле мы были лишены надежды; нам оставалось человеколюбие, и мы по мере своих возможностей предотвращали несчастья, могущие возникнуть в силу состояния душевнобольных. Отношение к больным было гуманным без патетики, приветливым и толерантным. «Психиатрическая мягкость» как нечто само собою разумеющееся распространялась не только на больных, но и на все окружающее. Много внимания уделялось социологическим и юридическим вопросам. Бродяги детально исследовались Вильманнсом. Одно судебно-психиатрическое общество в Гейдельберге объединяло на докладах и дискуссиях юристов и врачей.

Вот такая картина предстала передо мной. Интересуясь любым взглядом, любым методом, я стремился воспринять всё, что было налицо. Необычайно обширная психиатрическая литература в течение более одного столетия оказалась на поверку в значительной своей части беспочвенными рассуждениями. Правда, можно было там открыть и перлы, когда какой-либо автор выражал свое действительное мнение ясно и отчетливо. Но часто об одних и тех же вещах говорилось в разных и, к тому же, неясных

выражениях. Разные школы обладали каждая своей собственной терминологией. Казалось, авторы говорили на разных языках; разноязычье простиралось до жаргонов отдельных клиник. Казалось, не существовало общей научной психиатрии, объединявшей всех ученых. При регулярных обходах больных и разговорах в кругу врачей мне иногда казалось, что всё всегда как бы начинается сначала, что вновь и вновь под пару скудных родовых понятий подводятся вновь встречающиеся определения, и что однажды сказанное снова забывается. Сколь часто я был удовлетворен уже постигнутым, столь же часто мне казалось, что нет никакого движения вперед. Я чувствовал, что живу в мире необозримого множества взглядов, которыми могу пользоваться в любом порядке по выбору, но каждый из которых был нестерпимо прост. «Психиатры должны научиться думать», выразился я как-то в кругу врачей. «Ясперса нужно высечь», дружески смеясь, заметил Ранке.

Духовный разброд, казалось мне, коренился в природе вещей. Предмет психиатрии — человек, и не только его тело, даже менее всего его тело, а его душа, его личность, он сам. Я был знаком не только с соматической догмой: душевные болезни суть болезни мозга (Гризингер), но и с положением: душевные болезни суть заболевания личности (Шюле). То, над чем мы работали, было областью и гуманитарных дисциплин. Они располагали теми же определениями, только пораздо более тонкими, развитыми, ясными. Однажды, когда мы исследовали выражения, сделанные в состоянии умопомрачения в параноидальной речи, я сказал Ниссену: «Мы должны поучиться у филологов». Я обратился к филологии и психологии: не могут ли они нам что-либо дать.

В такой обстановке застало меня в 1911 году предложение Вильманнса и издателя Фердинанда Шпрингера написать курс общей психопатологии. Я уже опубликовал к тому времени ряд работ о ностальгии и преступлениях, об испытании интеллигентности, об обманах чувств, о навязчивых идеях, о ходе болезней на примерах их истощающих историй. Эти работы, казалось, внушили названным выше людям известное ко мне доверие. Я ужаснулся предложению, но одновременно почувствовал подъем и прилив сил, по крайней мере я смогу привести в порядок факты и буду по мере сил и возможностей содействовать развитию методики; тем более, что меня окрылял дух клиники и ее общего достояния. Написать курс общей психопатологии в этом кругу было не столь уж трудно. Задача назрела. Мне было поручено ее выполнить.

Мои собственные исследования и размышления о том, что надлежит в психиатрии сказать и сделать, навели меня на тогда еще новую дорогу. Философы подтолкнули меня к двум существенным шагам.

Феноменологию Гуссерля, которую он в ее начальной фазе назвал описательной психологией, я перенял как метод и удержал, оставив в стороне ее дальнейшее развитие к созерцанию сущности (*Wesensschau*). Оказалось вполне возможным описать как явление в сознании внутреннее переживание больного. Не только обманы чувств, но также и состояния помрачения, виды самоосознания, ощущений оказалось возможным передать через самоописания больных столь отчетливо, что в других случаях можно было с уверенностью вновь распознать упомянутые явления. Феноменология стала методом исследования.

Дильтей противопоставлял теоретически разъясняющей психологии другую, «описывающую и расчленяющую». Эту задачу я перенял, назвал дисциплину «понимающей психологией» и работал уже давно употреблявшиеся, своеобразно примененные Фрейдом методы, с помощью которых, в отличие от непосредственно пережитых феноменов, можно было устанавливать генетическую взаимосвязь душевного, моментов чувств, мотивов. Для этого я стремился к методическому обоснованию и к конкретной классификации. Целое множество знакомых, но не классифицированных положений психологии могло теперь, казалось мне, вместе с описанием явлений, найти свое методологическое место.

Я не рассказываю ни о положениях психологии эффектов, которой (в отличие от феноменологии и «понимающей психологии») свойственны ясные понятия, ни о той грани, которая проводится между осмысленными в своей сути феноменами выражений и чуждыми смыслу сопровождающими телесными явлениями; ни о прочих методологических объяснениях фактически уже наличествующих опытных знаний. Я хотел бы указать лишь на одно. Повсюду я боролся с тем, что было рассуждениями без подлинного опытного знания, в особенности, с «теориями», игравшими столь большую роль в языке психиатрии. Я указывал на то, что психологические теории, хотя и были выдвинуты по аналогии с естественно-научными, но что они ни в одном случае не приняли характера естественно-научной теории. В них не использовалось прогрессирующее развитие знания того основного, что определяет собой все душевные явления. Опытные доказательство и опровержение, при постоянных поисках противного, не могли быть получены в одном и том же исследовании. В этом случае речь могла

идти, в сущности, лишь о метафорах, которые, правда, казались убедительными, но допускали различные истолкования, никогда не согласовывались, никогда не могли быть исчерпывающе проверены. Их же ошибочно принимали за основополагающую реальность. В каждой мысли, следовательно, в конце концов, и в этой теоретической мысли, я все же пытался найти моменты, которые могли иметь положительную ценность для науки. Так, в моей «Психопатологии» я дал систематику теорий, представив ее как средство описания с помощью символов того, что при других условиях останется за пределами знания. Моей задачей было обозреть возможно большее число направлений, не подпав под влияние ни одного из них. В те годы больше всего в ходу были теории Вернике и Фрейда. Обе забыты; взгляды Фрейда на нынешних психоаналитиков, как в своей значительной части устаревшие, почти не влияют.

Тогда еще надеялись, начиная каждый раз по-новому, прийти к таким методам, с помощью которых можно было бы понять человека как целое (в его конституции, характере, типе телосложения, в единстве заболевания). На каждом из этих путей, в известной мере оправдывавших затраченные усилия, искомое целое оказывалось на поверку целым внутри другого охватывающего его, не реализуемого как предмет, не сводимого к искомому целого: человеческого существа. Ибо человек как целое намного превосходит всякую доступную пониманию объективацию. Он незавершаем как сущность для себя и как объект познания — для исследователя. Он всегда остается открытым. Человек всегда больше того, что он о себе знает и может знать.

Согласовать все эти точки зрения и было теперь научным импульсом для создания общей систематизированной картины. В психопатологии нужно было с предельной ясностью установить, что мы знаем, как мы знаем, и чего мы не знаем. Основным критическим замыслом было уяснить, на каком пути можно обнаружить постижимую объективность. Уже давно в моей натуре было именно так ставить вопрос. Когда меня на первом экзамене по медицине (так называемый «физикум») спросили об устройстве спинного мозга, я ответил изложением методов исследования и того, чему конкретно содействовал каждый из них. Анатом (проф. Меркель в Гёттингене) был изумлен и похвалил меня, чему я изумился в свою очередь.

Систематика требовала, чтобы не оставалась в пренебрежении ни одна в основе самобытная методика, хотя бы с ее помощью и был достигнут минимум знаний. Каждый доступ к реальности

должен был оставаться открытым; это достигалось тем, что каждый такой доступ осознавался. Но осознавать и уяснять его надо было со всеми его предпосылками и границами возможностей.

Поэтому я заранее был настроен против тех направлений школьной медицины, которые что-то исключали, и присоединялся к тем, которые давали что-то реальное. Нужно было попытаться достичь в психопатологии максимальной научной искренности.

Принципом моей психопатологии было и остается: развивать познания и группировать их соответственно руководящим линиям тех методов, с помощью которых они были получены, познавать познание и тем самым освещать проблемы.

Но это одновременно означало: методологические исследования, сами по себе, безразличны до тех пор, пока методы не приводят к фактическим знаниям. Как гласит старая пословица, чтобы переплыть через реку, нужно прыгнуть в воду, а не говорить о плаванье. Потому я и поставил себе целью: в моей психопатологии не должно быть места никаким абстрактно-логическим рассуждениям. Они могут быть допущены лишь в том случае, если их смысл тут же подкрепляется наглядным материалом познания. Ценность каждого метода обуславливается его действительным содержанием, т. е. тем, что с его помощью выясняется в процессе наблюдения. Эмпирический замысел книги требовал, чтобы наглядность и конкретность обуславливали признание научности того или иного умозаключения в области психопатологии. Но, одновременно, не должна терять своей значимости и сама разнородность фактического материала.

Факты и воззрения не лежат в одной и той же плоскости. Больше того: в силу разнообразия путей, по каким мы к ним приходим, они предстают существенно различными. Поэтому читатель книги должен был не только ознакомиться с помещаемым материалом, но и научиться понимать, как и в каких границах этот материал может быть принят в качестве фактического.

Этот принцип методологической вдумчивости и дисциплины казался мне тем важнее, что предметом психиатрии является человек. Он отличается от всего остального в мире тем, что он как целое в столь же малой мере может стать объектом, как и весь мир в целом. Познать человека значит познать что-то в его облике, но не его самого. Каждое полное знание человека на проверку оказывается обманом, проистекающим от того, что какая-то одна точка зрения объявляется единственной, какой-то один метод возводится в универсальный.

Принцип, согласно которому правильность способа познания проверяется сознанием каждый раз *по-особому*, освобождает человека от его предполагаемого *тотального* сознания. Гуманность врача оберегается тем, что он никогда не упускает из вида бесконечности каждого отдельного человека. Только таким образом гуманный врач может сохранить необходимое благоговение перед каждым человеком, даже если он душевнобольной. Задача, предстоящая сознанию врача и испытателя: спасти человека и, при этом, человека, взятого в отдельности. Невозможно с помощью одних только научных средств «подвести итог» человеку. Каждый больной человек, как всякий человек вообще, неисчерпаем. Никогда точное знание не в состоянии проникнуть столь глубоко, чтобы перестала ощущаться личность в ее скрытой таинственности — хотя бы только как намек, как возможность, чудесным образом отражающаяся даже в остатках человеческого «я».

Так задуманная книга могла на первых порах поразить, но ей трудно было избежать недостатков. В последующих изданиях я уточнял и оттачивал структуру, стремился привлечь данные во все большем охвате. В течение десятилетий книга оставалась для меня важным делом. Позднее, полный новых замыслов и живя вдали от клиники, я не предпринимал собственных психопатологических исследований, исключая некоторых патографий (Стриндберга и Ван-Гога при сравнительном исследовании Сведенборга и Гёльдерлина в 1920 году и о болезни Ницше в соответствующей главе моей книги «Ницше», изд. в 1936 г.).

Моя работа в клинике в период создания книги с самого же начала натолкнулась на острую критику, как дружественную, так и враждебную. И та и другая способствовали ее разработке.

Самым жестоким критиком был Груле. Казалось, после моих докладов на встречах он не оставлял камня на камне от сказанного мной. Я бывал сильно взволнован. Его критика служила мне плодотворным импульсом. Так, на один из вечеров я явился с набросками небольшой работы о феноменологическом направлении психиатрических исследований, другими словами, — о моих опытах и планах. Груле, как казалось, разнес всё. Но только тогда я по-настоящему принялся за дело, с уверенностью, что нахожусь на правильном пути. В несколько дней я закончил работу, выразил в ней мои мысли в еще более ясной форме и вручил рукопись Груле, который теперь, к моему большому удивлению и радости, одобрил ее содержание.

Другая критика была враждебной. Один мой ровесник, ассистент, бросил упрек, который в самых различных формах делался

позже и моему философствованию. Я стремился на смену догматики бытия поставить критическое освещение всех исследовательских возможностей; но при этом теории теряли опору и превращались в простые символы-притчи. По этому поводу он сказал: «У вас нет никаких убеждений. Так нельзя заниматься исследованиями. Нет науки без наполняющей ее теории; только через теорию наука становится наукой. Вы релятивист. Вы разрушаете устойчивость точек зрения врачей. Вы опасный нигилист».

Зато критическое и требовательное отношение к моим работам Ниссля производило на меня глубокое, неизгладимое впечатление. Он был настолько удовлетворен моей диссертацией «Ностальгия и преступление», что дал мне лучший отзыв и пошел навстречу моему желанию работать в его клинике. Первый разговор, когда я выразил мое желание, был короток. На мою просьбу он ответил: «Охотно, чем же вы собираетесь заняться?» На что я: «Первые недели я хотел бы ориентироваться в библиотеке, что там есть». Он с удивлением посмотрел на меня и отрезал: «Ну, если вы хотите заниматься такой ерундой, что ж, извольте». Я был убит таким ответом, хотел было гневно отказаться вообще от работы в клинике, но потом подумал: достойный преклонения ученый! Я не должен быть в обиде, если он срысывает неудовольствие на молодом человеке — эта клиника единственная в своем роде, я не найду в Германии ни одной подобной — на карту ставится весь мой жизненный путь — я не смею быть гордым.

Так началась моя работа. Ниссля предоставил мне полную свободу, слушал мои доклады, как-то раз заметил ассистенту: «Жаль Ясперса. Такой интеллигентный человек, а занимается явными глупостями». Когда я однажды из-за своего болезненного состояния опоздал к обходу больных, он меня приветствовал словами: «Как вы бледны, господин Ясперс; вы слишком много занимаетесь философией; этого не выносят красные кровяные шарики».

Он уже знал меня на протяжении лет; уже появилась в печати моя работа о феноменологическом направлении в исследовании, когда он однажды пришел ко мне в поликлинику с вопросом, может ли он присутствовать на феноменологическом исследовании больного. Мне повезло: я мог кое-что вразумительно показать на начальной фазе шизофрении. Ниссля был весьма удовлетворен: оказывается, при помощи феноменологии можно кое-чего достичь. Когда же я спустя некоторое время получил корректурные листы моей «Психопатологии», я счел долгом вручить их ему,

— моему начальнику и человеку, которому я был обязан возможностью работы. Проходили дни, — я то и дело видел его с печатными листами в кармане его белого докторского халата. Мне он не сказал ни слова. Но от Ветцеля я услышал, что о книге он выразился: «Великолепно! Оставляет Крепелина далеко позади себя!» Примерно через три недели он попросил меня навестить его пополуночи в его квартире. Там он сказал мне: «Вашу книгу я нахожу хорошей. Вы, конечно, намереваетесь получить степень, чтобы занять кафедру? К сожалению, я помог в этом слишком многим; факультет больше не принимает. Вы должны ждать, пока кто-либо из них будет приглашен в другой университет или перейдет в одно из научных учреждений. Я уже запрашивал: Крепелин в Мюнхене и Альцгаймер в Бреслау готовы вам немедленно помочь. Вы можете выбирать». Я отвечал: «Гейдельберг мне столь важен, что я предпочитаю оставаться здесь и ждать. Но, может быть, я смог бы получить степень по психологии и занять кафедру на философском факультете. Создадим там как бы колонию; позже я бы мог вернуться в клинику». «Прекрасно», — заметил Ниссль и помог мне вместе с Максом Вебером и Кюльпе (Мюнхен) своим ученым заключением на философском факультете. Я получил ученую степень в 1913 году у Виндельбанда по психологии и занял кафедру.

Тогда я еще не осознавал, что последствием этого будет мой переход из медицинского в философский мир университета. Мою памятную записку родителям в Зильс-Мариа я уже успел забыть. Я преподавал теперь психологию, прустя, что должен это делать, не располагая клиникой. Я заботился о наглядности, используя многочисленные таблицы, производя простые опыты, но у меня не было психологического института.

То, что я в результате все же не вернулся к психиатрии, вынуждено было, как казалось на первый взгляд, внешним обстоятельством, моим состоянием здоровья. Когда во время Первой мировой войны тогдашний декан профессор Готтлиб спросил меня, принял ли бы я приглашение занять место Ниссля, перешедшего в научно-исследовательский институт в Мюнхене, я попросил дать мне некоторое время на размышление. Я совещался с женой, не откликнуться ли на приглашение при условии, что мне дадут квартиру в клинике, что во многом разгрузило бы мою практическую деятельность. Мы пришли к выводу, что это для меня физически невозможно. Я не мог принять на себя ответственности за должное ведение клиники. Тогда мне было очень тяжело отказываться. Сохранять и проявлять дальше в исследованиях и

врачебной деятельности дух единоустремленности в клинике казалось мне самой достойной задачей. Гораздо более достойной, чем быть опраниченным книгами и бумагами, случайными наблюдениями и редкими поездками профессора-преподавателя.

Интересно оглянуться назад. То, что тогда было вынуждено болезнью и сделано с неохотой, — окончательный выбор философского факультета, — было на самом деле переходом на предназначенную мне дорогу. С юности я философствовал. Медициной и психопатологией я занялся по философским мотивам. Страх перед величием задачи удерживал меня от того, чтобы именно философию сделать жизненной профессией.

Но даже и тогда я еще не намеревался это совершить. Моей целью было изложение психологии на философской кафедре, философской лишь по имени: на деле она была кафедрой психологии. Начинание, столь для меня болезненное из-за вынужденного отказа, было в действительности моим счастьем, открывшим мне область возможного для меня. Но это пришло в последующие годы моих занятий философией. Впоследствии я оставался верен трудам моей молодости. «Психопатология» никогда не стала мне безразличной.

Воспоминание о духовном сообществе нашей гейдельбергской клиники сопровождало меня всю жизнь. Позднейшие труды разрабатывались мною лично и проводились на собственный риск, правда, при совместном продумывании и одобрении моей жены, при ободрении моего друга Эрнста Майера, но вне связи с коллегами по профессии. Сравнивая их с гейдельбергскими врачами, я смог установить, насколько разобщено, искусственно и нереально сословие профессоров философии, даром, что его представители во множестве встречаются на конгрессах, печатаются в журналах, выпускают книги.

Перевод А. Неймирока

(Продолжение следует)

Современность и будущее

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Имя Карла Юнга не нуждается в рекомендациях. Как известно, после Фрейда и наряду с ним, он — один из создателей психоанализа. Но еще до Первой мировой войны Юнг разошелся с Фрейдом в понимании природы подсознания. Первая большая книга Юнга — «Символы и превращения «либидо»» уже явно противоречила основным установкам фрейдизма, хотя Юнг признает, что он слишком многим обязан своему предшественнику. Основная причина расхождений между двумя столпами психоанализа заключается не столько в технике психоаналитического врачевания, сколько в философских предпосылках психоанализа. Усвоив положение Фрейда о подсознании как основной силе психики, Юнг не разделял «сексуального материализма» Фрейда — его выдвигения на первый план «либидо», понимаемого в смысле изначально слепого стремления к наслаждению. По Юнгу, природа подсознания много богаче и сложнее, не исчерпываясь ни Эросом, ни стремлением к власти. Подсознание, по Юнгу, — жизненный порыв, корнящийся в инстинкте, но содержащий в себе потенции самораскрытия духовности. Юнг считает, помимо того, что наша личность не исчерпывается дуализмом сознания и подсознания, что именно наше «я», наша «самость» сообщает подсознанию то или иное направление. Этих направлений может быть, по Юнгу, в основном, два: психический регресс, обнажающий архаические слои личного и коллективного подсознания (в утверждении реальности которого одно из открытий Юнга), и направление «сублимации» подсознания, выражающееся в творческом и религиозно-моральном вдохновении. В этом «преображении» подсознания Юнг видит основное задание, стоящее перед человеческой личностью и особенно актуальное в наше время, когда

технически-социальный прогресс человечества сопровождается регрессом подсознания, обнажающим хаос, что может привести, в конечном итоге, к катастрофе. Говоря словами психолога, — «вступая в атомный век, мы в то же время падаем в каменный век».

Отсюда весь разоблачительный и пророческий пафос писаний Юнга. Это относится и к книге «Современность и будущее».

Юнг исходит из констатирования глубокого кризиса современности. «Мы живем в преддверии третьего тысячелетия, в эпоху, преследующую нас апокалипсическими образами всемирного разрушения».

По его мнению, границы Железного занавеса — не только политические границы, их «колючая проволока» проходит сейчас в душе каждого человека. Человечеству, достигшему неслыханного социально-технического прогресса, грозит теперь варваризация души — ее поглощение демонами коллективизма, стремящимися растворить в себе самое ценное — человеческую индивидуальность. Силы коммунизма, с их массовым гипнозом, — говорит Юнг, — грозят разрушением цивилизации, основанной на гуманизме. Но гуманизм Запада, — добавляет он, — нуждается в религиозном вдохновении, чтобы успешно противостоять демонам коллективизма, влекущим душу в первозданный хаос.

Книга Юнга, по существу, пророческая. Это — не только свидетельство глубокого психолога, но и голос живой мудрости, оценивающей современность и перспективы будущего «с точки зрения Вечности».

Сергей Левицкий

ЧТО УГРОЖАЕТ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Вопрос о том, что принесет нам будущее, всегда занимал человечество, но не всегда в одинаковой степени. В свете истории видно, что люди бросают в будущее взгляд, полный путливой надежды, и отдаются предчувствиям, утопическим и апокалипсическим видениям, главным образом, в периоды физических, политических, экономических и духовных затруднений. Достаточно вспомнить эпоху Августа, начало христианской эры, с ее хилиастическими ожиданиями, или изменения в христианском сознании на исходе первого тысячелетия после Рождества Христова. Мы живем и сейчас, можно сказать, в преддверии третьего тысячелетия, в эпоху, преследующую нас апокалипсическими образами

всемирного разрушения. Что означает разрыв, символизируемый железным занавесом и разделяющий человечество на две части? Что будет вообще с нашей культурой, с нашим человеческим бытием, если в самом деле начнут рваться водородные бомбы, или если духовный и нравственный мрак абсолютизированной государственности овладеет Европой?

У нас нет оснований легкомысленно пренебрегать этой угрозой. Повсюду в Западном мире уже действует опасное меньшинство, подкапывающее основы общества и держащее наготове факел мирового пожара, действует, опекаемое нашей гуманностью и нашим правосознанием, не встречая на пути распространения своих идей никаких препятствий, кроме здравого смысла некоторых разумных и духовно устойчивых слоев населения. Но не следует переоценивать мощностъ этих слоев. Она различна в разных странах и меняется в зависимости от национального характера. Она зависит от местных условий, от условий народного воспитания и образования, а равно от влияния разных помех политического и экономического порядка. Ее верхний предел, при оптимистической оценке опыта плебисцитов, достигает примерно 60% избирателей. Более пессимистическая оценка, однако, также не лишена оснований, ибо дар рассуждения и способность критически мыслить не являются неперенными свойствами человека, и даже там, где они имеются, они неустойчивы и подвержены колебаниям, как правило прямо пропорциональным объему политических групп.

Человеческая масса подавляет доступные отдельным лицам элементы усмотрения и понимания и, если правовое государство переживает приступ слабости, с неизбежностью видит в диктаторской или авторитарной тирании единственный путь спасения.

Разумная аргументация возможна и перспективна лишь до тех пор, пока эмоциональная напряженность ситуации не перешла определенного критического уровня. Стоит, однако, этой эмоциональной напряженности перешагнуть критический уровень, как возможности разумного влияния исчезают; на их место приходит лозунг и жимерические образы, иначе виды коллективной одержимости, которые, развиваясь, ведут к психической эпидемии. В такой обстановке на первый план выдвигаются те асоциальные элементы населения, которые при господстве здравого смысла были едва терпимы. Личности этого рода — отнюдь не редкие исключения, которые можно встретить лишь в тюрьмах и домах умалишенных. На каждый случай явного сумасшествия приходится, по моей оценке, по меньшей мере десять латентных

случаев, в которых заболевание хоть и не часто принимает открытые формы, но при кажущейся внешней нормальности выражается в бессознательно болезненных и извращенных взглядах и поведении. Врачебная статистика по понятным причинам не может отразить число таких латентных психозов, но даже если численность психопатов такого рода и не достигает десятикратного числа явно сумасшедших и преступников, то даже сравнительная незначительность процента, который они занимают в общем составе населения, не снимает опасности, которую они представляют. Их душевное состояние соответствует ведь коллективному возбуждению пруппы людей, охваченных эмоциональными предрассудками и фантастическими чаяниями. В такого рода среде они чувствуют себя на высоте, они к ней приспособлены. Они по собственному внутреннему опыту знают язык таких состояний и умеют говорить на нем. Их химерические идеи, несомые фантастическими чувствованиями, обращаются к коллективному безумию и находят в нем питательную среду; ведь они только выговаривают те самые мотивы и настроения, которые у нормального человека дремлют под покровом здравого смысла. В силу этого, несмотря даже на то, что они составляют лишь незначительный процент населения, они опасны как очаги заразы, опасны, главным образом, потому, что самопознание так называемого нормального человека в высшей степени ограничено.

«Самопознание» обычно смешивают со знанием о своем сознательном «я». Каждый, кто обладает сознанием собственного «я», думает, что, конечно, он себя знает. Наше сознательное «я» однако знает лишь свое собственное состояние, не отдавая себе отчета в элементах бессознательного, включенных в это же состояние. Человек определяет свое самопознание по элементам, которые обычно осознает в себе окружающая его общественная среда, а не по действительным психическим состояниям, по большей части, совершенно от него скрытым. В этом отношении душа ведет себя совершенно, как тело, в физиологии и анатомии которого профан также понимает очень мало. Хоть он и живет в нем и с ним, но многого в нем он не знает и нуждается в специальных научных знаниях, чтобы осознать хотя бы то, что в нем познаваемо, не говоря уже о непознаваемом, которое ведь тоже имеется.

То, что обычно именуется «самопознанием», есть поэтому лишь по большей части зависимое от социальных факторов ограниченное знание того, что происходит в человеческой душе. При этом, с одной стороны, мы снова и снова наталкиваемся на предубеждение, что «такое» «у нас», или «в нашей семье», или в на-

шем ближайшем окружении не случается; а, с другой стороны, также часто допускаем иллюзорные качества, предназначенные лишь для того, чтобы приккрыть подлинное положение дел.

Именно это широкое поле бессознательного, закрытого от критического контроля сознания, ничем не защищено в нас от всевозможных влияний и психических инфекций. Как от любой иной опасности, так и от душевной заразы мы можем успешно защищаться лишь тогда, когда знаем где, когда и какая опасность нам грозит. А так как в самопознании мы имеем дело с *индивидуальным* положением вещей, то как раз теория может здесь мало чему помочь. Ибо чем больше прав на всеобщность имеет та или иная теория, тем меньше она соответствует индивидуальному состоянию. Выведенное из опыта теоретическое обобщение по необходимости носит *статистический* характер, т. е. формулирует некое *идеальное среднее*, отбрасывающее лежащие вправо и влево исключения и заменяющее их абстрактной средней величиной. Эта средняя величина не обязана даже, как таковая, встречаться в практике, чтобы фигурировать в теории в качестве непреодолимой основополагающей реальности. Исключения же, как в одном, так и в другом направлении существующие в действительности, в конечном результате уравнивают друг друга и вообще не отражаются. Так, например, если в карьере с правилом взвесить достаточное число камешков и установить средний вес, скажем, в 145 грамм, то о действительном весе камешков в слое этим очень мало сказано. Тот, кто на основе этого факта подумал бы, что он сразу же сможет выхватить камешек весом в 145 грамм, может сильно ошибиться. Может даже случиться, что ему не удастся найти камешек весом ровно в 145 грамм даже после долгих поисков.

Статистический метод дает, правда, идеальное среднее ряда явлений, но не картину его эмпирической действительности. Он безукоризненно отражает один из аспектов реальности, но может порой исказить действительность до полной неузнаваемости. Это особенно верно в отношении построенных на статистике теоретических выводов. Подлинные факты ведь тоже имеют *индивидуальный* характер; несколько преувеличивая, можно сказать, что картина действительности складывается как бы из сплошных исключений из правила, и что подлинная реальность характеризуется главным образом *нерегулярностью*.

Об этом надо помнить, когда речь идет о теории, долженствующей служить путеводной нитью в деле самопознания. Для самопознания нет и не может быть теоретических предпосылок,

так как предмет самопознания индивидуален и в этом отношении исключителен и выпадает из ряда. Ведь не всеобщее и стандартное, а именно неповторимое характерно для индивидуальности. Индивидуальное нельзя понять в виде повторяющейся единицы, но лишь в виде неповторимого единства, которое в конечном счете не может быть ни с чем сравнено и узнано. Человека не только можно, но и нужно описывать как статистическую единицу, иначе о нем вообще ничего нельзя было бы сказать в обобщенной форме. В этом смысле вполне законно рассматривать его как сравнимую единицу. Отсюда — общая психология, с ее абстрактным образом человека вообще, лишенного индивидуальных черт. Именно эти индивидуальные черты, однако, важнее всего для *понимания* данного человека. Вот почему, если мы ставим себе задачу понять именно данного отдельного человека, мы должны отбросить всё наше научное познание о среднем человеке и отказаться от всякой теории, расчистить, таким образом, поле для беспредпосылочной постановки вопросов. К задаче *понимания* можно подойти только «*vacua et libera mente*» (с пустым и свободным духом), в то время как *знание людей* опирается на все возможные виды знания о человеке вообще.

Идет ли дело о понимании определенного лица или о *самопонимании*, мы должны оставить все теоретические предпосылки и приготовиться вполне сознательно выйти также и за пределы научного познания. Перед лицом всеобщего почтения к науке и, больше того, приняв во внимание факт, что наука единственный духовный авторитет для современного человека, понимание отдельной личности требует своего рода «*crimen laesae maiestatis*» (преступления против величества), в форме отказа от научного знания. Этот отказ — немалая жертва; установленное на научную методологию сознание не так-то просто отказывается от ответственности. Если желающий не только научно определить, но и по-человечески понять своего пациента психолог — полноценный врач, ему прозит столкновение между этими двумя противоположными и исключаящими друг друга установками — *знанием*, с одной, и *пониманием*, с другой стороны, причем конфликт между ними разрешим не простым или-или, но лишь с помощью параллелизма в мышлении; и одно делать, и другого не оставлять.

В свете сознания, что принципиально ценное в знании составляет как раз ненужное для понимания, складывающееся здесь суждение прозит превратиться в парадокс. Достаточно представить себе, что ведь для научного определения индивидуум не больше как единица, которая, бесконечно повторяясь, свободно

может быть обозначена абстрактным знаком, в то время как, с другой стороны, благороднейший и единственно реальный объект понимания есть именно единственная в своем роде единичная человеческая личность, стоящая вне всех закономерностей и правил, которыми так интересуется наука. Для врача это противоречие — проблема, большая, чем для кого-либо другого. С одной стороны, он вооружен статистической правдой, привитой ему его естественно-научным воспитанием, с другой стороны, ведь, он должен лечить больного, который, особенно в случае душевного заболевания, требует *индивидуального понимания*. Чем схематичнее ведется лечение, тем больше оно вызывает недовольство больного и ставит под вопрос возможность выздоровления. Психотерапевт вынужден поэтому волей-неволей считаться с индивидуальностью пациента и соотносить с ней методику лечения. Соответственно этому, во всей медицине действительно теперь правило, согласно которому задача врача — лечить данного больного, а не абстрактную болезнь, которой кто-либо мог бы заболеть.

То, что я здесь стараюсь объяснить на примере медицины, лишь частный случай общей проблемы воспитания и образования. Принципы естественно-научного образования основываются, главным образом, на статистических истинах и абстрактных понятиях, развивают, следовательно, нереалистическое, рациональное миропонимание, в котором индивидуальный случай и не играет роли. Личность однако в противоположность несуществующему «идеальному» или «нормальному» человеку, к которому относятся все научные определения, и есть *конкретный* человек, именно в его иррациональной данности и представляющий собой подлинную реальность. К этому нужно прибавить, что как раз естественные науки стремятся представить результаты своих исследований так, словно бы они появились без участия человека; иными словами, неизбежное соучастие в них человеческого духа остается невидимым (исключение составляет современная физика, с ее признанием, что наблюдаемое не остается независимым от наблюдателя). Естественные науки, в противоположность гуманитарным, рисуют нам в этом смысле картину мира, из которого реальная человеческая душа как бы исключается; под влиянием естественно-научного мышления не только человеческая душа, но и каждый отдельный человек, и даже каждое отдельное событие лишаются индивидуальных признаков и подвергаются нивелировке, сводящей картину действительности к идее арифметического

среднего. Нельзя недооценивать психологического значения статистического изображения мира: оно вытесняет индивидуальность во имя анонимных единиц, складывающихся в виде количественных групп. В связи с этим, на месте конкретных живых существ появляются названия организаций, а претворившись в абстрактное понятие государства как принципиальной основы политической действительности. Таким образом, нравственная ответственность личности неизбежно заменяется государственными соображениями. На место нравственной и духовной самостоятельности человека приходит социальное обеспечение и повышение жизненного уровня. Цель и смысл отдельной человеческой жизни (а она и есть ведь единственно *живая жизнь*!) лежит уже не в ее индивидуальном развитии, но в навязанных человеку извне государственных соображениях, в проведении в жизнь абстрактных понятий, стремящихся охватить и привязать к себе всё живое. Личность все больше лишается возможности принимать решения нравственного порядка и самой направлять свою жизнь, вместо этого она рассматривается как общественная единица, которой соответственно управляют, которую кормят, одевают, обучают, селят в соответствующих помещениях и даже забавляют, принимая при этом за идеальную мерку вкусы и самочувствие масс. Управители, в свою очередь, составляют такие же общественные единицы, как и управляемые, и отличаются от последних только тем, что являются специализированными носителями государственной доктрины. Доктрина же эта не требует от них никакой силы суждения; они должны быть только специалистами, не пригодными к чему-либо вне своей специальности. Государственные соображения — вот решающий фактор в вопросе, чем надо заниматься и что следует изучать.

Всесильное, казалось бы, государственное учение определяет в свою очередь и во имя государственных интересов верховными органами управления, объединяющими всю власть в своих руках. Кто в силу выбора или произвола попал в эти органы, уже не чувствует над собой никакой принудительной силы; он сам представляет государственные интересы и в пределах имеющихся возможностей может решать вопросы по собственному усмотрению. Он может сказать как Людовик XIV: «l'état c'est moi» («государство — это я»). Он становится, таким образом, единственной или одной из тех немногих личностей, которые могли бы проявить свою индивидуальность, если бы они вообще были способны различать между собой и государственной доктриной. Вероятнее же всего — они рабы своих собственных фикций. Такая односторонность од-

нако всегда психологически компенсируется бессознательными субверсивными стремлениями. Рабство и мятеж коррелятивно связаны, и их нельзя отделить друг от друга. Ревнивое оберегание своей власти и преувеличенная недоверчивость пронизывают весь государственный организм сверху и донизу. Кроме того, массы, компенсируя свою хаотическую бесформенность, автоматически вызывают себе вождя, который неизбежно становится жертвой, если можно так выразиться, инфляции сознания своего «я». История дает этому многочисленные примеры.

Развитие этого типа становится неизбежным с того самого момента, когда отдельный человек теряет масштаб и растворяется в массе. Одним из главнейших двигателей в деле превращения людей в массу, не говоря уже о крупных людских скоплениях, в которых отдельный человек исчезает, выступает естественно-научный рационализм, лишаящий индивидуальную жизнь ее основы, а, следовательно, и ее достоинства, ибо рассматриваемый лишь как общественная единица человек теряет индивидуальность и становится лишь абстрактной величиной, статистическим номером в составе организации. За ним остается лишь значение легко заменимой и бесконечно малой величины. Глядя со стороны глазами рационалиста, оно так и есть, и с этой точки зрения просто смехотворно говорить о ценности или смысле отдельной личности; трудно даже себе представить, как могло случиться, что отдельной человеческой жизни приписывали какое-то достоинство, когда совершенно ясно, что его нет и быть не может.

С этой точки зрения, отдельная личность, действительно, имеет ничтожное значение, и каждый, кому хотелось бы утверждать противоположное, не может не видеть слабости своей аргументации. Что он воспринимает себя, членов своей семьи и друзей в своем окружении как нечто важное, обнаруживает для него только странную субъективность его восприятия. Ведь что значат эти немногие в сравнении с 10 000 или 100 000 или даже с 1 000 000? Это напоминает мне довод одного моего философствующего друга, с которым мы были вместе в многотысячной толпе. Он вдруг обратился ко мне со словами: «Вот, собственно, убедительнейшее доказательство против веры в бессмертие души: *они* все хотят быть бессмертными!»

Чем больше масса, тем незначительней отдельный человек. Когда же личность, охваченная подавляющим ее чувством своей ничтожности и малости, теряет смысл своей жизни, который ведь не исчерпывается понятиями социальной обеспеченности и повышенного материального уровня, она вступает на путь поработе-

ния государством и, не догадываясь и не желая этого, сама помогает прокладывать этот путь. Тот, кто ориентируется на внешний мир и на большие числа, не оставляет в себе ничего, что мог бы он оборонять от свидетельства собственных чувств и собственного рассудка. Именно это происходит сейчас в мире: люди зачарованы статистическими истинами и опомными цифрами и каждый день убеждаются в ничтожестве и бессилии отдельной личности, если она не выражает волю и не представляет никакой массовой организации. И наоборот, каждый, кто замечен на мировой арене, чей голос слышен далеко, кажется неkritически мыслящей толпе главой массового движения, властителем душ и становится объектом почитания или борьбы именно по этой причине. Поскольку, как правило, главную роль играет здесь массовое внушение, остается неясным, является ли свидетельство отдельного человека его собственным, из личной ответственности рожденным делом, или же он действует как некий мегафон коллективной настроенности.

При таких обстоятельствах слишком понятно, откуда распространяется боязнь собственного суждения и почему, следовательно, ответственность коллективизируется, т. е. снимается с отдельного лица и перекладывается на коллектив. Личность, таким образом, всё больше и больше превращается в функцию общества, которое в свою очередь принимает на себя роль главного жизнедеятеля, хотя, по сути дела, оно представляет собой лишь отвлеченную идею, государство. Общество и государство ипостазиируются, т. е. превращаются в самоценность, причем особенно государство превращается как бы в живую личность, от которой все ожидают блага, в то время как оно представляет собой лишь маску для лиц, умеющих пользоваться государственной властью. Таким образом, первоначальный замысел правового государства перерождается, скатываясь к формам примитивного общества, к коммунизму примитивного племени, подчиняющегося самодержавию царька или олигархии.

РЕЛИГИОЗНОЕ НАЧАЛО КАК КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МАССУ

Все социально-политические течения, стремящиеся избавиться фикцию исключительности государственной власти, т. е. производла орудующих государством заправил, от всяких спасительных ограничений, всегда ищут способы направить на собственную мельницу воду, питающую религию. Чтобы поставить личность

целиком на службу государству, ее надо освободить от всяких иных связей, от всякой иной зависимости. А религиозная вера означает зависимость и подчинение иррациональным факторам, возникающим не прямо из социальных или физических условий, но главным образом из душевной настроенности человека.

То или иное отношение к внешним условиям жизни возможно лишь тогда, когда оно опирается на нечто, лежащее вне этой жизни. Религия дает или обещает дать это нечто, а вместе с тем — возможность суждения и свободного решения. Это нечто составляет заповедник, защищенный от опровержения и неизбежного принуждения внешних обстоятельств, которым не может противостоять человек, не знающий под собой другой опоры, кроме уличной мостовой. Если существует только статистическая действительность, то она одна и должна быть единственным авторитетом. Тогда существует только одна система условий, и поскольку не существует никакой иной ей противоположной, собственное суждение и свободное решение не только излишни, но и невозможны. В этом случае личность по необходимости ограничена своей статистической функцией, функцией единичного гражданина в государстве или как там еще можно назвать абстрактный принцип, положенный в основу такого порядка.

Религия учит о другом авторитете, противостоящем авторитетам мира сего. Она развивает учение о богообусловленности личности и предъявляет к ней столь же высокие требования, как и внешний мир. Может случиться даже, что, подчинившись абсолютности этого требования, человек станет чужд миру точно так же, как и в том случае, когда он теряет себя, растворившись в духе коллективизма. В первом случае в своем отношении к требованиям религии он может потерять собственное суждение и свободу решения точно так же, как и в последнем. К этой цели совершенно очевидно стремятся религии, если только они не заключают компромисса с государством. В этом последнем случае — согласно общепринятому словоупотреблению — я предпочитаю употреблять термин «вероисповедание», а не «вера». «Вероисповедание» означает определенное коллективное убеждение, в то время как слово «вера» выражает отношение к определенным метафизическим, что значит потусторонним, явлениям. Вероисповедание обращено, главным образом, на окружающий мир и составляет часть мира сего, в то время как цель и смысл религий состоит в отношении личности к Божеству (христианство, иудаизм, ислам) или к пути спасения (буддизм). Из этого основного положения вытекает каждый данный нравственный идеал, без индивидуаль-

ной ответственности человека перед Богом, сводящейся лишь к моральной условности.

Вероисповедания как формы компромисса с земной действительностью пошли соответственно по пути кодификации своих взглядов, учений и ритуалов, и чем дальше, тем больше экстравертировались, в результате чего их религиозная сущность, их жизненная направленность на потустороннюю основу бытия и их соотносительность к этой основе отодвинулись на задний план. Значение и ценность личной религиозности измеряются с конфессиональной точки зрения мерками традиционного учения, а где это труднее (как в протестантизме), то, по меньшей мере, говорится о пизтизме, сектантстве, духовной извращенности и тому подобном, как только кто-либо вздумает сослаться непосредственно на волю Божью. Вероисповедание совпадает с признанной государством церковью или, по меньшей мере, выражается в открытой общественной организации, к которой в силу привычки принадлежат не только верующие, но и массы людей, которых не назовешь иначе как религиозно-равнодушными. Тут разницу между вероисповеданием и верой можно, кажется, схватить рукой.

Принадлежность к тому или иному вероисповеданию не всегда поэтому является выражением веры, но сплошь да рядом выражением общественных отношений, а следовательно, и не участвует в образовании индивидуальности. Последняя зависит целиком от отношения личности к некоему внемирному началу, причем критерием этого отношения служит не формальное вероисповедание, но психологически основополагающий факт, что жизнь личности в самом деле определяется не только моим «я» и его мнениями и не только общественной средой, но в такой же степени и трансцендентным авторитетом. Не основы морали, как бы ни были они благородны и свободолобивы, и не вероисповедание, каким бы ортодоксальным оно ни казалось, определяют самостоятельность и свободу личности, но только и исключительно эмпирическое сознание, т. е. недвусмысленный опыт личной и только личной соотносительности человека к определенному потустороннему авторитету, уравнивающему «мир сей и разум мира сего».

Эта формулировка не понравится ни тому, кто чувствует себя частицей массы, ни тому, кто исповедует коллективную веру. Для первого интересы государства составляют руководящий принцип мышления и действия; он подготовлен к тому, чтобы служить государству и признавать за личностью право на существование лишь постольку, поскольку оно необходимо в государственном

плане. Последний, напротив, хоть и признает за государством моральные и эмпирические права, придерживается убеждения, что не только отдельный человек, но и стоящее над ним государство подчинены Божьей власти и что, в случае сомнений, последнее слово остается за Божеством, а не за государством. Поскольку я не могу претендовать на суждения метафизического характера, я не берусь решать вопрос, стоит ли наш «мир», наш человеческий внешний мир, а за ним и природа вообще, в противоречии к Богу или нет. Я хочу только указать на факт, что психологическое противоречие этих двух областей опыта не только засвидетельствовано в Новом Завете, но проявляется и сегодня в отрицательном отношении диктаторских государств к религии и к церкви и в их симпатии к атеизму и материализму.

Как отдельный человек, будучи существом общественным, не может постоянно жить без связей с обществом, индивидуальная личность не может найти подлинного оправдания своего бытия и своей духовной и нравственной самостоятельности вне понятия о потустороннем, способном релятивизировать чрезмерное влияние внешних факторов. Личность, не укорененная в Боге, не может на основе только своего собственного суждения противостоять материальной и моральной мощи внешнего мира. Человек нуждается для этого в очевидности собственного внутреннего трансцендентного опыта, который только и может удерживать его от неизбежного вне этого опыта превращения в несамостоятельную частицу массы. Только рассудочное или только этическое усмотрение того оглушения и нравственной беспризорности, которым охватывается людская масса, означают лишь отрицательное познание и влекут за собой лишь колебания на пути к атомизации личности. Они — результат только умственной деятельности, и им не хватает силы религиозного убеждения. Государственная диктатура имеет по отношению к разуму отдельного гражданина то преимущество, что вместе с личностью она поглощает и мощь ее веры. Государство становится на место Бога. Вот почему, если смотреть с этой стороны, социалистические диктатуры представляют собой как бы религии, а рабствование перед государством становится на место служения Божеству. Такое переключение и извращение роли религии не может, конечно, проходить, не вызывая тайных сомнений; во избежание конфликта со всеобщим стремлением превратиться в массу, эти сомнения, идеалы тотчас же подавляются. И, как это всегда бывает, из этого рождается сверхкомпенсация — *фанатизм*, который со своей стороны становится мощным рычагом подавления и уничтожения всякого рода инакомыслия.

щих. Свободное мнение удушается, а нравственная самостоятельность грубо попирается, причем цель оправдывает любые средства, даже презреннейшие. Государственный интерес становится на место вероисповедания, вождь или руководитель превращается в полубога, стоящего по ту сторону добра и зла, а верующий в него рассматривается как герой, мученик, апостол, миссионер. Признается лишь одна правда и исключается всякая другая. Она неприкосновенна и по ту сторону всякой критики. Кто же думает иначе, обладает еще какой-то мыслью, тот — еретик, которому по хорошо известным образцам угрожает печальная судьба. Только тот, кто держит в руках государственную власть, может правильно разъяснять государственное учение и делать из него то, что ему угодно.

Когда процесс превращения человеческой личности в частицу массы, в общественную единицу за номером таким-то, а государственной власти — в высшую руководящую идею подходит к концу, в него, с логической необходимостью, втягивается и религиозная жизнь. Религиозная вера как заботливое созерцание и учёт определенных невидимых и неподконтрольных рассудку факторов принадлежит к разряду свойственных душе *инстинктивных* реакций, проявление которых можно проследить сквозь всю историю человеческого духа. Она совершенно очевидно служит задаче сохранения душевного равновесия, ибо человек от природы одарен стихийным пониманием того факта, что его сознательная деятельность в любой момент может быть нарушена в результате вмешательства недоступных его контролю внешних или внутренних влияний. Человек с самых древних времен поэтому заботился о том, чтобы каждое, сколько-нибудь значительное решение было обеспечено соответствующими действиями религиозного характера. Невидимым силам приносятся для этого жертвы, произносятся священные слова и производятся ритуальные действия. Везде и всегда существовали *«rites d'entrée et de sortie»* (входные и выходные обряды), на которые, обзывая их магией и суеверием, нападают психологически безграмотные просветители. Магия нацелена в первую очередь именно на психологический эффект, значение которого нельзя недооценивать. Производя «магическое» действие, человек приобретает чувство уверенности, способствующее проведению в жизнь принятого решения. Решение нуждается в такой гарантии, так как над ним всегда тяготеет известная односторонность, и оно с основанием воспринимается поэтому как не вполне обеспеченное. Даже диктатуры вынуждены сопровождать свои действия не только угрозами, но и шумными

торжествами. Маршевая музыка, знамена, полотнища с лозунгами, парады и колоссальные митинги по существу ничем не отличаются от молебствий, стрельбы и огней для изгнания бесов. Гипнотизирующие демонстрации могущества государственной власти, однако, способны вызвать лишь чувство уверенности в коллективе, но, в противоположность религиозным представлениям, не дают человеку никакой защиты от внутренних демонов, вынуждая его еще крепче держаться за государственную власть, т. е., в сущности, за свою растворенность в массе, и сдавать, таким образом, вслед за общественным положением, и свои душевные ценности. Как и церковные системы, государство требует энтузиазма, самопожертвования и любви, но если религиозная жизнь предполагает и стимулирует страх Божий, то диктатура государства заботится лишь о необходимом терроре.

Направляя свои удары, главным образом, на утверждаемую традицией чудодейственную силу обрядов, воинствующий просветитель бьет в действительности совершенно мимо цели. Основной эффект, *психологическое воздействие* остается здесь незамеченным, хотя обе стороны стремятся воспользоваться именно им, правда, для противоположных целей. Аналогичное положение складывается и в области представлений о конечных целях: цель религиозного действия, — освобождение от зла, примирение с Богом и напрада в потустороннем мире, — превращаются в потусторонние обещания освобождения от заботы о хлебе насущном, справедливого распределения материальных благ, всеобщего благосостояния в будущем и сокращения рабочего времени. Что исполнение этих обещаний пока что так же невидимо, как и рай, лишь подтверждает аналогию и подчеркивает факт массового перехода от стремления к потусторонней цели человеческого существования к исповеданию вполне потусторонней веры, которая восхваляется с той же религиозной исключительностью и страстностью, как это делают вероисповедания противоположного направления.

Чтобы не впасть в излишние повторения, я не буду перечислять еще раз все параллельные проявления веры потустороннего и потустороннего характера и ограничусь указанием лишь на факт: естественное, с древнейших времен существующее свойство души, а именно — свойство верить, не может быть устранено путем рационалистического просветительства. Можно, конечно, показать путем критики логическое несовершенство религиозных учений, можно посмеяться над ними, но нанести удар этими методами сущности религиозной жизни, составляющей основу всех

вероисповеданий, невозможно. Религиозная вера, т. е. добросовестный учет иррациональных факторов души и личной судьбы человека, возвращается — в искаженнейшем и вреднейшем виде — в обоготворении государства и диктатуры: *naturam expellas furca tamen usque recurret* («гони природу в дверь, она влетит в окно», дословно: «если ты выгонишь природу вилами для навоза, она все равно вернется»). Вожди и диктаторы, правильно понимая положение вещей и в надежде прикрыть слишком уж очевидный параллелизм к обоготворению цезаря, стремятся спрятать свой деспотизм за фикцией государственных интересов, от чего однако существо дела ничуть не меняется.

Как я уже белло указывал выше, тоталитарное государство не только лишает человека его прав, но, хуже того, лишает его и основ его душевной самостоятельности, отнимая у него метафизическую основу его бытия. Нравственное решение отдельного человека теряет свое значение, и остается лишь слепое движение одуроченных масс; л о ж ь превращается в принцип политической деятельности. Государство и здесь идет до конца; это ясно видно хотя бы из наличия многомиллионной массы государственных рабов.

Обе стороны, тоталитарное государство и конфессионально оформленная религиозность, особенно подчеркивают идею общности. Эта идея составляет собственно идеал «коммунизма» и внушается народу с такой навязчивостью, что ведет к прямо противоположным последствиям, к разделяющему людей взаимному недоверию. С другой стороны, с неменьшей силой выставляется ц е р к о в ь как идеальная община, а где, как не в протестантизме, церковь конституционно слаба, болезненно переживаемый недостаток общности компенсируется надеждами или верой в некую «коллективность переживания». Легко усмотреть, что такая коллективность представляет собой необходимое условие для организации масс, а, следовательно, своего рода палку о двух концах. Как сложение нулей никогда не может дать единицы, так ценность коллектива соответствует лишь среднему духовному и нравственному уровню входящих в него лиц. От коллектива нельзя ожидать поэтому ничего, что превосходило бы возможности его среднего уровня, и ни в коем случае нельзя ожидать действительного и фундаментального изменения человека ни в хорошем, ни в дурном смысле. Этого можно ожидать лишь в результате личного общения человека с человеком, но никак не от массовых крещений, будь то коммунистических или христианских, но не касающихся внутреннего существа личности. Насколько, в сущности,

поверхностно влияние массовой пропаганды, показывает и современное развитие. Идеал коллективизма подводит свой баланс, не спросивши хозяина, он просто не учитывает отдельного человека, а человек этот, в конце концов, представит ему свой счет.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Карл Густав Юнг родился в Швейцарии (Кесвил) 26 июля 1875 года. Он — психолог и психиатр, один из основателей школы психоанализа. До 1944 года работал главным врачом в университетской клинике, на психиатрическом отделении, в Цюрихе. С 1944 года — в Базеле. Умер 6 июня 1961 года.

Труды, написанные К. Г. Юнгом:

- Символы и превращения «либидо» (1912/1952).
- Психологические типы (1920/1950).
- Отношение «я» и бессознательного (1928/1950).
- Психология и религия (1939/1947).
- Психология и алхимия (1944/1952).
- Психология переноса (1946).
- О психической энергетике и существе снов (1948).
- Символика духа (1948).
- Вечность. Мистерии. Соединения (1951).
- Ответ Иову (1952).
- О корнях сознания (1953).
- Современность и будущее (1957) и другие.

Последним его произведением было «Человек и его мифы», над которым он работал в 1961 году, то есть в год своей смерти.

Р е д.

Библиография

Литературное завещание

Заботливой рукой собрано написанное Николаем Оцутом за 1926-1958 гг. Н. Оцуп — поэт, литературный критик, редактор литературного альманаха «Числа», наконец, теоретик нового направления в литературе — персонализма. Николай Оцуп умер в 1958 году, и сегодня собранное в этих двух книгах читается как завещание автора, которое он раскрывал на протяжении своего творческого пути.

Оцупу принадлежит определение «серебряный век» русской литературы, период конца XIX и начало XX века. Это понятие укрепилось и осталось жить не только среди литераторов, но и в среде читателей, и стало, таким образом, достоянием культуры.

Три очерка «М. А. Шолохов», «Персонализм как явление литературы» и «Свобода творчества» — теоретическое обоснование персонализма — были впервые опубликованы в «Гранях» (№№ 30, 32 и 38).

Перед нами портреты Тютчева, Гумилева, Блока, Пастернака, Маяковского и др., литературные изыскания в творчестве Лермонтова и французского поэта Виньи и, наконец, вся книга венчается очерком «Апокалипсис», где Оцуп, раскрывая свои литературные основы, говорит: «в каком-то смысле у человечества нет лучшего комментария к Апокалипсису, чем Комедия (Данте), которую народ называл не случайно божественной».

И дальше привожу конец этого очерка, который весьма характерен для нас и нашего времени: «У самого Иоанна Богослова и у близкого ему во многом Данте за либеллю мира прешнего стоит сияние рая вечного. Другими словами, Апокалипсис — торжество человека внутреннего над внешним, добра над злом. Но радоваться истреблению земли, всей или огромной ее части, Иоанн Богослов не мог. Оттого и звучит Откровение так прозно и горестно.

«Человек — это звучит гордо», — сказал Горький. Как он, кстати, был бы счастлив, если бы дожил до «Спутника». Но фраза Горького должна бы быть сегодня дополнена фразами Апокалипсиса. И тогда «человек» зазвучит менее гордо. Зазнавшаяся тварь, оторванная от Творца и упоенная властью над какой-то жалкой частью творения, человек может быть призван к порядку катастрофой, которую сам же готовит. Но тогда уже поздно было бы разбираться в том, какой из вождей — соучастник преступления. Рус-

ский коммунизм и благодушное бессилие Запада оказались бы лишь орудием кары!»

Эта углубленность автора позволяет ему находить новые мерки для своих портретов творцов, которые представляются нам в том внутренне озаренном виде, когда они, в момент своего творчества, как бы открыты нам. Это теплое отношение к творящим позволяет ему даже таких, казалось бы, своих противников, как Шолохов и Маяковский, видеть в их творческом озарении объективно, не предвзято. Это чувство в авторе очерков подкупает, и нам, читающим, позволяет пересмотреть зачастую наши характеристики, которые у нас сложились по тем или иным причинам.

Оценка и творческий портрет Тютчева В. Соловьевым, внедрившиеся с 1895 года в российские умы, под пером Оцуца освобождаются от философской предвзятости властителя дум начала XX века. Эта реставрация благородна и производится предельно осторожно и любовно, не вынося при этом резкого осуждения Соловьеву, а как бы благодаря его за внимание и открытия для работы над образом.

«Пленительная это фигура, одна из самых пленительных в богатой замечательными людьми русской поэзии», так вводит нас Оцуц в свою диссертацию в Сорбонне о Гумилеве. И мы видим во весь рост поэта и человека. Личное знакомство автора с поэтом еще полнее передает внутренний облик ровно 40 лет назад закончившего свою жизнь в застенках власти Гумилева.

Раскрытие образов Есенина и Блока подается Оцуцом в плане совести, которая у обоих поэтов, столь разных, сыграла однако судьбоносную роль, не позволив им идти дальше своим творческим путем при данных жизненных условиях, которые они не сумели преодолеть волевым напряжением.

Но внутреннему облику Блока дается и иное раскрытие: «грешный, падший, отчаявшийся, он все же нес ответственность за свое время»; для Оцуца Блок — жертва и мученик, и он хотел бы найти ему место в жизни вечной не только потому, что Блок был поэтом.

Многое можно было бы сказать об этих книгах, где знание и понимание автора передается читателю сполна, будь это портреты современников, очерки или статьи теоретического характера. Это издание передает не только знание русской литературы, незримый облик самого автора, но и его любовь к литературе отечественной, непосредственно связанной с мировой и даже укорененной в ней в процессе свободного общения. В этом заключается большое обаяние предвозвестника персонализма. Он призывает не замыкаться в своих внутренних проблемах, а раскрывать проблемы общечеловеческие, идя путем творчества Иоанна Богослова, Данте, Пушкина, Блока, Пастернака, обращаясь к проблемам Зла (например, очерк «Сатана и Демон», в котором раскрывается творчество Лермонтова и Виньи).

Эти сообщающиеся сосуды литературы и нашей истории были раньше открыты всем ветрам. Пушкин говорил: «давай мне мысль, какую хочешь», чего не мог уже сказать Маяковский и на что не может еще отважиться современная русская литература. Свобода нужна не только в практической области жизни, но — главное — в теоретической своей предпосылке; лишенная подобной свободы литература наша находится в трагическом положении.

Мы сознательно остановились на первой книге, чтобы раскрыть направление, которое преподносит нам Оцуц.

Вторая книга не менее интересна; и значение ее тем велико, что он, сосредотачивая внимание на своих современниках, делает их и нашими сов-

ременниками, своим теплом и любовью перебрасывая мост из десятилетий в десятилетия.

Оканчивая чтение этих книг, вновь к ним возвращаешься, чтобы вспомнить мнение, оценку, факт. И всё это звучит и живет, переживаясь, в своих поисках истины и творческого озарения. Нам представляется, что книги будут читаться и перечитываться. А это — самое главное для автора и тех, кто подарил их читателям современным и будущим. Персонализм в литературе несомненно послужит базой для новых литературных течений и создаст таким образом основу будущему.

Г. Шишкин

«Еврейская повесть»

Юлий Борисович Марголин — известный писатель и журналист. Сам себя он считает еврейским литератором, пишущим по-русски, «писателем среди журналистов и журналистом среди писателей».

Юлий Борисович Марголин родился в Екатеринославе в 1900 г. До выезда в Палестину в 1936 г. был гражданином Польши. Докторскую диссертацию защитил в Берлинском университете.

Первая печатная его работа «Заметки о Пушкине» вышла в Праге в 1928 г. В книге «Идея сионизма», изданной в Польше в 1937 г., он предупреждал об опасности грядущего уничтожения евреев фашизмом.

В 1939 году приехал в Польшу навестить родителей и стал вскоре пленником чекистов. Только в 1946 году освобождается он из «большой зоны». О пережитом в эти годы знаем мы по превосходной книге его «В стране зе-ка».

Ю. Марголин — один из тех деятелей культуры, которые сделали многое для защиты Свободы от коммунистической апрессии.

Выход «Еврейской повести» был приурочен к шестидесятилетию Ю. Марголина. Фабула основана на жизнеописании И. Эпштейна — одного из руководителей израильской боевой организации радикал-сионистов — партии Владимира Жаботинского.

Ю. Марголин видит в Эпштейне символ «мятежа против еврейского рассеяния и бездомности», поэтому «Еврейская повесть» — не только некролог, но и документ, освещающий трагедию еврейской судьбы в современную эпоху массовых аффектов (в первую очередь — ненависти).

Книга эта подтверждает основные идеи Жаботинского, сформулированные Марголиным так:

«Не ждите, пока вас перережут, уходите из стран, где вас ненавидят, на свою историческую родину. «Освободите родину... Родину не покупают за деньги» и не завоевывают одним только мирным трудом. Платить за неё приходится кровью. В этих идеях суть программы радикал-сионизма и credo Эпштейна.

«Еврейская повесть» была задумана как памятник всему освободитель-

Ю. Марголин. «Еврейская повесть», издательство Мааян, Тель-Авив, 1960 г., 216 стр.

ному радикал-сионистскому движению, памятник тому гибельному времени, которое вместило в себе катаклизм одних и отчаянную борьбу других за национальное и физическое существование.

В Эпштейне автор увидел «трагедию всего его поколения, типичную еврейскую повесть».

Написана была эта повесть спустя десять лет после безвременной гибели Эпштейна, для издания на иврите. Однако на иврите эта книга не появилась, ибо автор — взыскательный и честный художник — не выполнил «социального заказа». Ю. Марголин воссоздал образ И. Эпштейна без меланхолии и мелодекламации, вопреки пожеланиям заказчиков.

Политические противники партии Жаботинского, в которую входил И. Эпштейн, — из коалиции правящего сейчас в Израиле левосионистского большинства — объявили «Еврейскую повесть» «фракционной пропагандой», «алиткой», а партия Эпштейна отвергла в этой повести её художественную правду — изображение Эпштейна как «плоти от плоти серой массы», как одного из восемнадцати тысяч безымянных, заплативших своей жизнью за свободу Израиля (4,5% тогдашней численности еврейского населения Палестины).

Книга, написанная талантливым и знающим автором, читается с интересом.

В те годы, когда Ю. Марголин брёл пешими этапами по проселкам Карелии и «доходил» на котласской пересылке «Севжелддорлага», Эпштейн квартировал в семье Ю. Марголина, в Тель-Авиве, и мужал под благотворным воздействием этой семьи, внесшей заметный вклад в освободительную борьбу народа; поэтому в воссоздании образа Эпштейна существенно помогла добрая помощница автора — Ева Ефимовна Марголина.

А. Марков

«По самой грани . . . »

Вышел в свет второй сборник стихов Бориса Нарциссова «Голоса».

Поэтический мир создателя этих стихов сложен и глубок. Интуиция его потрясает, а порой и ужасает. В главном, его поэзию можно определить как рыцарь в миры иные, как трагическую борьбу поэта с самоочевидностями, которую так мучительно изводили Достоевский и Лев Шестов.

А стихи, — позабытые крылья, —
Не умеют набрать высоты.
И ты видишь: напрасны усилия
Воспарить от земной маяты.

Эти строки относятся к Александру Блоку, но очень характерны для творчества Нарциссова. Угадыванье, а зачастую и провиденье мира высших

Борис Нарциссов, «Голоса». Вторая книга стихов. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1961 г., 46 стр.

реальностей определяют его творчество. И сам поэт «скользит по самой грани Того, что — есть, того, что нет».

К подобным стихотворениям следует в первую очередь отнести «Синий свет», который привожу целиком:

Закрой глаза. Засни. И в этом
Тяжелом сне смотри в эфир:
Ты видишь мертвую планету,
Пустой, давно застывший мир.

Навеки черное молчанье.
В молчанье прозно стыннут льды.
В кристаллах льда на острых гранях
Дробится синий свет звезды.

Ты в мире радостном, как птица,
Взлетаешь в солнечном тепле.
Так, вот, пойми: твой свет дробится
Звездой в ледяном стекле.

Родственные стихии поэта — ветер и море: «Ветер тьмою себя оперил. Истопленный, холодный, как плетчер, Бил отромными взмахами крыл». И — «Над зимним морем ветер нас оплакал...» Но ветер этот, как и зимнее море, не совсем обычны: они имеют свое продолжение в миры иные, запредельные: «С Берега смерти упорно Тянет холодный норд-ост».

То же море и тот же ветер — «в ропоте вечного горя...»

В своем мучительном порыве преодолеть законы земли, этого опрощенного мира, поэт не может не подойти вплотную к той заветной двери, которая распахивается перед каждым из нас в назначенный час и ведет к познанию последней человеческой тайны: смерти.

Отношение к смерти логически вытекает из мироощущения автора: «Я устал. Это значит, что скоро Будет страшный и радостный миг». Радостный потому, что «...в предчувствии вечной свободы От земной и бескрылой души Слышу: бурные, мощные воды Из глубин набегают в тиши».

В каком-то смысле, идя по стопам Константина Случевского («Запробные песни»), Нарциссов пытается заглянуть за завесу, отделяющую наш мир от потустороннего, вступить в него и передать свои ощущения. В стихотворении «Возвратившийся» автором стихийно переживаются новые ощущения умершего человека: это — восприятие родной земли, дома как чужих, где человек больше «не жилец», тяга в дальний путь, отсутствие неотъемлемого человеческого чувства — удивления, приспособление к новому физическому состоянию бестелесности и, самое основное, — обрыв и остановка потока времени. Времени больше нет. И не просто нет, а оно остановилось: «А всё то же, как было: восьмое апреля...» — «Но сейчас ведь сентябрь!» — «То для них, не для нас...»

Пройдя путь собственного, личного перехода в миры иные, побывав в своей творческой фантазии там, поэт в состоянии увидеть, как с птичьего (или ангельского) полета, и «Последний день» нашей планеты Земли, описать «Последнюю главу» и «То, что осталось» — «Мертвый город в черных кавернах, — Тех, что выел последний взрыв».

Стены, киплящие «муравьиною силой», в предчувствии окончательной

либели этого мира, и время, которое становилось «Ощутимо тоньше и тоньше», готовое вот-вот оборваться и повиснуть ключьями мертвой паутины — потрясающе и правдивы некой вышней и редкостной для нашего мира правдой.

«Последний день» без всякой натяжки можно причислить к стихотворным шедеврам последних лет: так предельно просто, буднично и вместе с тем беспредельно страшно фиксирует оно последний день нашего бытия:

И вдруг, внезапно, около одиннадцати,
Всё перестало существовать:
Ничего и пусто. А души вынутые
Зеленели слабо в пустоте естества.

В этом сборнике есть и другие стихотворения: зарисовки природы, любовная лирика. Очень своеобразно и хорошо «Шествие прозы». Из цикла «Наброски» превосходно стихотворение «Апрель» — молодое, полное запахов весны, таинственного и смутного ожидания счастья, одиноких ночных гулких шагов влюбленного юноши.

Особо стоят в сборнике стихотворения «Паучья пещера» и «Усталость»: пауки и вампиры, как и домовые, — представители особого мира поэта, в котором он чувствует себя довольно уверенно, во всяком случае, настолько уверенно, что берет на себя смелость приоткрывать этот мир непосвященным, простым смертным.

Всего в короткой рецензии не охватишь. Сборник вмещает в себе тридцать девять стихотворений (часть из них была уже в свое время опубликована на страницах «Грани»»). Каждое из них своеобразно отражает восприятие мира автором, являясь в то же время необходимой составной частью органического целого. И в этой целостности в разнообразии — огромное достоинство поэта.

Н. Тарасова

Политическая хроника

(январь—июнь 1961 г.)

1.1. — «Советскому народу» — новогоднее поздравление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР.

— Телеграмма правительства Лаоса в ООН с протестом против советских воздушных поставок оружия коммунистическим повстанцам.

2.1. — Нота правительства Лаоса в ООН с протестом против вооруженной интервенции со стороны Северного Вьетнама.

3.1. — США порвали дипломатические отношения с Кубой.

5.1. — Нигерия порвала дипломатические отношения с Францией.

6.1. — Доклад Хрущева об итогах Совещания представителей коммунистических и рабочих партий на общем собрании партийных организаций Высшей партийной школы, Академии общественных наук и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

— Подписание советско-индонезийского соглашения.

— Открылось Учредительное собрание Турции.

7.1. — Нота советского правительства правительству Нидерландов о размещении американского атомного оружия на территории Нидерландов.

8.1. — Плебисцит во Франции и в Алжире об алжирской политике де Голля.

10.1. — Открытие Пленума ЦК КПСС.

12.1. — Последнее послание президента Эйзенхауэра Конгрессу США о положении страны.

13.1. — Палата депутатов бельгийского парламента утвердила закон о режиме экономии, вызвавший забастовочное движение в стране.

14.1. — Нота протеста советского правительства правительству США по поводу действий американских военных кораблей в Карибском море.

15.1. — Французское правительство опубликовало закон о самоуправлении и организации самоуправления алжирского населения.

16.1. — Устное представление советского правительства правительству США об использовании американских военных самолетов в Лаосе.

17.1. — Прощальное обращение президента Эйзенхауэра к Конгрессу и народу США по телевидению.

18.1. — Закончился Пленум ЦК КПСС.

19.1. — В Белграде объявлено о решении выпустить из тюрьмы Милована Джиласа.

20.1. — В полдень по вашингтонскому времени новый, 34-й по счету, президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди вступил на свой пост.

21.1. — Опубликована речь Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 17 января.
— Окончилась забастовка в Бельгии, длившаяся 33 дня.

22.1. — Группа португальцев — противников режима Салазара — захватила у Малых Английских островов португальский пассажирский пароход «Санта Мария».

25.1. — Опубликован доклад Хрущева об итогах Совещания представителей коммунистических и рабочих партий.

26.1. — Опубликованы данные об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1960 г.

— Опубликовано Сообщение Министерства иностранных дел СССР об освобождении двух американских летчиков — членов экипажа самолета военно-воздушных сил США «РВ-47».

— Восстановлены дипломатические отношения между Англией и ОАР.

31.1. — Новый президент Бразилии Жанио Куадрос вступил на свой пост.

— Поль-Анри Спаак подал в отставку с поста генерального секретаря НАТО.

1.2. — Опубликована речь Хрущева на пленуме ЦК КП Украины 28 января.

2.2. — У порта Ресифе бразильские власти взяли под контроль португальский лайнер «Санта Мария», захваченный 22.1. противниками режима Салазара во главе с капитаном Галвао.

3.2. — Заявление советского правительства правительству Турции по поводу строительства стартовых площадок для запуска ракет среднего радиуса действия.

4.2. — Пароход «Санта Мария» передан португальским властям.

5.2. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства районов Северного Кавказа в Ростове-на-Дону 1 февраля.

6.2. — Опубликовано заявление советского правительства правительству Италии по поводу предоставления вооруженным силам Западной Германии военных баз на итальянской территории.

9.2. — Брежнев отбыл в Гвидио.

— Протест советского правительства правительству Франции по поводу нападения французского военного самолета на советский гражданский самолет, на борту которого находились Брежнев и сопровождающие его лица.

— Президент Республики Конго, Касавубу, назначил временное правительство во главе с Жозефом Илеро.

10.2. — Закончился 28-й шахматный чемпионат СССР. Новым чемпионом страны стал Тигран Петросян.

— Опубликовано сообщение правительства провинции Катанга (Конго) о бегстве из-под стражи бывшего премьер-министра Конго Лумумбы.

12.2. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства республик Закавказья 7 февраля в Тбилиси.

13.2. — Правительство провинции Катанга (Конго) сообщило о гибели 12 февраля бывшего премьер-министра Конго Патриса Лумумбы, министра по делам молодежи и спорта Мюриса Мпозо и зам. председателя сената Жозефа Окито, убитых во время бегства из места заключения.

15.2. — Заявление советского правительства в связи с убийством Патриса Лумумбы.

19.2. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства областей Центральной черноземной зоны в Воронеже 11 февраля.

21.2. — Опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о реорганизации министерства сельского хозяйства СССР.

— Опубликованы постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, а также указ Президиума Верховного совета СССР об образовании Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» Совета министров СССР.

— Брежнев вернулся из Африки, посетив Гвинею, Гану и Марокко.

24.2. — ЦК КП Франции вывел из состава политбюро Марселя Сервена и Лорана Казанова.

25.2. — Указы Президиума Верховного совета СССР: об образовании Государственного комитета заготовок Совета министров СССР; о назначении зам. пред. Совета министров СССР Игнатова Н. Г. Председателем Гос. комитета заготовок.

— Бельгия разорвала дипломатические отношения с ОАР.

26.2. — Опубликованы постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР: о перестройке и улучшении организации государственных закупок сельскохозяйственных продуктов; об улучшении организации сбыта излишков сельскохозяйственных продуктов колхозников и колхозов.

— Скончался король Марокко Мохаммед V. На престол вступил его сын Хасан II.

1.3. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР в Москве 23 февраля.

2.3. — В Париже закончился судебный процесс участников восстания против де Голля в Алжире в январе 1960 г.

3.3. — Речь Хрущева в Свердловске по поводу награждения Свердловской области орденом Ленина.

4.3. — Опубликована «Памятная записка правительства Советского Союза правительству ФРГ» от 17 февраля.

— Речь Хрущева в Кургане по случаю награждения Курганской области орденом Ленина.

6.3. — Британская королева Елизавета и ее супруг, принц Филипп, возвратились в Лондон из поездки в Индию, Пакистан, Непал и Иран.

7.3. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства областей и автономных республик Урала в городе Свердловске 2 марта.

12.3. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства областей, краев и автономных республик Сибири в городе Новосибирске 8 марта.

— В Тананариве (Мадагаскар) закончилась конференция политических деятелей Конго.

13.3. — На приеме послов латиноамериканских стран в Вашингтоне президент США Кеннеди изложил 10 пунктов своего плана помощи США народам Латинской Америки.

15.3. — Начался матч-реванш на первенство мира по шахматам между М. Талем и М. Ботвинником.

19.3. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства Целинного края 14 марта.

20.3. — Город Акмолинск переименован в Целиноград.

21.3. — В Женеве возобновились работы Конференции по прекращению атомных испытаний.

— В Майами (Флорида, США) кубинскими эмигрантами образован «Революционный совет» Кубы под председательством Хосе Кардона.

— Началось пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

23.3. — Отмена цензуры на сообщения иностранных корреспондентов из СССР.

26.3. — Опубликована речь Хрущева на совещании передовиков сельского хозяйства Казахской ССР в Алма-Ате 21 марта.

— Парламентские выборы в Бельгии.

28.3. — В Москве открылась сессия Политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора.

30.3. — В газете «Правда Украины» опубликовано сообщение о прорыве плотины близ Киева 13 марта.

1.4. — Памятная записка советского правительства правительству Великобритании по Лаосу.

5.4. — СССР снял с повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН вопрос об инциденте с американским самолетом «У-2», сбитым над территорией СССР.

— Создан Законодательный Совет голландской Новой Гвинеи.

6.4. — Заявление Министерства иностранных дел СССР по поводу назначения генерала Фёрч генеральным инспектором бундесвера ГФР.

— Капитан советской плавучей базы для подводных лодок ввел судно в территориальные воды у острова Голланд и попросил у шведских властей для себя политического убежища.

9.4. — Президентом Южного Вьетнама вновь избран Нго Динь Дьем.

10.4. — Состоялось торжественное открытие Законодательного Совета австралийской Новой Гвинеи.

11.4. — В Иерусалиме начался судебный процесс по делу Адольфа Эйхмана, бывшего руководителя центрального «реферата» по еврейскому вопросу в гитлеровской Германии.

12.4. — Опубликовано решение ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по улучшению координации научно-исследовательских работ в стране и деятельности Академии наук СССР.

— Космический корабль «Восток» с человеком на борту (Юрий Алексеевич Гагарин), совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на землю.

14.4. — Учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».

17.4. — Вооруженные отряды кубинских эмигрантов высадились на Кубе.

18.4. — Обмен посланиями между Хрущевым и Кеннеди по поводу событий на Кубе.

— Заявление правительства СССР в связи с вооруженным вторжением на Кубу.

— Новым генеральным секретарем НАТО назначен Дирк Сликкер (Голландия).

20.4. — Радио Гавана передало правительственное сообщение о разгроме оппозиционных сил, высадившихся на Кубе.

— Итальянский президент Гронки вернулся в Рим из двухнедельной поездки в Южную Америку, где он посетил Перу, Аргентину и Уругвай.

22.4. — XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН закончила свою работу.

— В Алжире произошел путч военных против центрального правительства Франции.

23.4. — Опубликовано послание Хрущева к Кеннеди от 22 апреля и письмо Кеннеди Хрущеву от 18 апреля.

24.4. — Англия и СССР обратились к обеим сторонам, ведущим гражданскую войну в Лаосе, с посланием о прекращении огня; к правительству Индии — о созыве Международной комиссии по наблюдению и контролю в Лаосе; к странам-участницам Международного совещания по урегулированию лаосского вопроса — о созыве совещания.

25.4. — В Сахаре взорвана четвертая французская атомная бомба.

26.4. — Капитуляция мятежных французских военных в Алжире.

27.4. — Сьерра-Леоне, бывшая английская колония в Африке, получила независимость.

3.5. — В Лаосе прекращены военные действия.

5.5. — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями».

— С мыса Канаверал (Флорида, США) запущена ракета с человеком на борту (Алан Шепард).

7.5. — Опубликовано речь Хрущева на торжественном заседании в Ереване, посвященном 40-летию установления советской власти и создания компартии Армении, 6 мая.

8.5. — Президент Французской республики генерал де Голль выступил с речью по радио и телевидению.

12.5. — М. Ботвинник выиграл матч-реванш на первенство мира по шахматам против М. Таля со счетом 13:8.

13.5. — Опубликовано речь Хрущева на торжественном заседании в Тбилиси, посвященном 40-летию установления советской власти и образования коммунистической партии Грузии, 12 мая.

14.5. — Нота СССР Нидерландам по поводу облетов и обстрела советского судна нидерландскими военными самолетами.

16.5. — Военные круги захватили власть в Южной Корее.

— В Женеве открылось международное совещание по Лаосу.

18.5. — ТАСС сообщил о гибели, в результате авиационной катастрофы, пяти крупных военных.

19.5. — Академик М. В. Келдыш избран президентом Академии наук СССР.

20.5. — В Эвиане (Франция) начались переговоры между представителями французского правительства и «Временного правительства Алжирской республики».

— Создано новое правительство Южной Кореи во главе с генералом Чан До Ен.

22.5. — В Таиланде арестовано 5 советских граждан, обвиняющихся в шпионаже.

— Протест Министерства иностранных дел СССР против налета на посольство СССР в Аргентине.

24.5. — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов».

27.5. — Заявление советского правительства о положении в Анголе.

— Закончилась конференция политических деятелей Конго в Конго-Бразавиле.

— Хрущев выехал в Вену для встречи с президентом США Кеннеди.

29.5. — В Париже начался суд над участниками военного мятежа в Алжире генералами Шаллем и Зеллером.

30.5. — Убит генерал Трухильо, диктатор Доминиканской Республики.

31.5. — Президент США Кеннеди прибыл с визитом в Париж.

— Южно-Африканский Союз вышел из британского Содружества и преобразован в Южно-Африканскую Республику.

1.6. — Рафаэль Трухильо младший, сын убитого диктатора, назначен главнокомандующим вооруженными силами Доминиканской Республики.

3.6. — Нота протеста МИД СССР против нападения на помещение отдела печати посольства СССР в Аргентине 31 мая.

4.6. — Заявление о встрече Хрущева и Кеннеди 3-4 июня.

5.6. — Хрущев возвратился из Вены в Москву.

— Коммюнике о переговорах Кеннеди с Макмилланом в Лондоне 4-5 июня.

6.6. — Президент США Кеннеди выступил по радио и телевидению перед американским народом с отчетом о встречах с де Голлем, Хрущевым и Макмилланом.

8.6. — Заявление Министерства иностранных дел СССР посольствам Франции, Великобритании, США и ФРГ по поводу заседаний комитетов будущего в Западном Берлине.

9.6. — Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вопросу о положении в Анголе.

10.6. — Опубликовано сообщение о результатах пребывания в СССР экономической миссии Нигерии 6-9 июня.

11.6. — Опубликовано сообщение «О памятных записках, врученных Н. С. Хрущевым президенту США Кеннеди».

12.6. — Совместное советско-индонезийское коммюнике.

— Открылось Всесоюзное совещание научных работников.

13.6. — Прерваны переговоры между французским правительством и алжирскими повстанцами в Эвиане.

14.6. — Распущен парламент Израиля.

15.6. — Выступление Хрущева по радио и телевидению.

— Китайско-индонезийское коммюнике о пребывании в Китае президента и премьер-министра Индонезии Сукарно 13-15.6.

16.6. — В Пекине опубликовано коммюнике о визите в КНР северно-вьетнамского премьер-министра Фам Ван Донга 10-16.6.

17.6. — Сообщение о постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров».

— Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Хрущева орденом Ленина и третьей золотой медалью «Серп и Молот».

19.6. — Состоялся пленум ЦК КПСС.

20.6. — Кувейт, б. английский протекторат, получил независимость.

22.6. — Представители всех трех политических группировок Лаоса заключили в Цюрихе соглашение об образовании коалиционного временного правительства.

— Глава делегации США в ООН Стивенсон вернулся в Вашингтон из поездки по странам Южной Америки.

23.6. — Закончился государственный визит президента ГФР Любке во Францию.

— Вступил в силу договор 12 государств о мирном исследовании Антарктики.

24.6. — Речь Хрущева на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном сорокалетию Казахской ССР и ком. партии Казахстана.

— В Страсбурге закончилась конференция Европейского экономического сообщества с ассоциированными африканскими странами.

25.6. — Ирак заявил о своих притязаниях на Кувейт.

28.6. — Речь Хрущева на митинге, посвященном советско-вьетнамской дружбе.

— Закончилась конференция Европейской ассоциации свободной торговли.

29.6. — США запустили три спутника одной ракетой.

— Премьер-министр Финляндии Сукселяйнен подал в отставку.

30.6. — Бундестаг ГФР третьего созыва закончил свою деятельность, одобрив заявление председателя бундестага Герстенмайера по германскому и берлинскому вопросам.

От редакции:

В целях улучшения и расширения работы над журналом ГРАНИ, редакция, с благодарностью заручившись согласием трех долголетних и верных сотрудников и друзей, — **Бориса Анатольевича Нарциссова, Владимира Дмитриевича Самарина и Бориса Андреевича Филиппова**, — вводит их в состав редакционной коллегии журнала ГРАНИ.

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Е. Р. Романов**

Заместитель главного редактора **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:

А. Н. Артемов, Б. А. Нарциссов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, В. Д. Самарин, Б. А. Филиппов.

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grany c/o Possev-Verlag, Frankfurt/M., Schließfach 2786

Условия подписки на «Грани»: Цена отдельного номера 6 НМ

Подписка на четыре номера — 20 НМ.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

О Б Р А Щ Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине, что русское издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, *предоставляет эту возможность.*

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы в журнале «Г р а н и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными книгами.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, *подписанные псевдонимами.*

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно перепечатывать присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малейшую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «П о с е в» гарантирует, что *ни одна рукопись не попадет в чужие руки.*

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «П о с е в», включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и

печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

4. Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят процентов поступают в фонд издательства «Посев» для расширения печатной базы и покрытия расходов по бесплатному распространению в СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя защиту интересов авторов.

7. Непринятые издательством «Посев» или другими зарубежными издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в перепечатанном виде до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем установлении авторского права рекомендуется прилагать к рукописи «вещественный пароль». Например: половину узорно разрезанной открытки, копию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», который совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, и легко утвердит свое авторство и свои права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежному, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение особой осторожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Frankfurt/Main
Merianstrasse 24a

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне
Мерианштрассе 24а

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ.

Представители издательства «Посев» есть во всех европейских странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и др. Представители издательства «Посев» часто встречаются моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев» и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. ПО ПОЧТЕ.

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной или рискованной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственной задачей — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Цена 6 марок (6 DM)
